

Еврей
умному
не
помеха

ЕВРЕЙ
УМНОМУ
НЕ
ПОМЕХА

Еврей
умному
не
помеха

**СИН
ТАК
СИС**



ЕВРЕЙ
УМНОМУ
НЕ ПОМЕХА

Еврей
умному
не помеха

Еврей
умному
не помеха

Еврей
умному
не помеха

Еврей
умному
не помеха

Еврей
умному
не помеха

еврей умному не помеха

Еврей
умному
не
помеха

Еврей
умному
не помеха

ЕВРЕЙ
УМНОМУ
НЕ
ПОМЕХА

26

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

26

ПАРИЖ

1989

Журнал редактирует :

М. РОЗАНОВА

The League of Supporters: Л. Баткин, Л. Богораз,
Т. Венцлова, Ю. Вишневская, И. Голомшток,
А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская, П. Литвинов,
М. Окутюрье, В. Турчин, А. Френдли, Е. Эткинд

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

© SYNTAXIS 1989

Адрес редакции :

8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

Илья Константиновский

ВАРШАВСКИЙ СЕЙДЕР

- В Варшаве есть синагога?
- Да, проше пана...
- А как туда пройти?
- Одну минутку, проше пана...

Портье отошел к стоящему позади его конторки большому канцелярскому столу, за которым сидел другой служащий отеля — старик в тонких очках и черных сатиновых нарукавниках, и что-то зашептал ему на ухо. "Жидовска синагога?" — возбужденным шопотом переспросил старик, и, наклонившись над столом, стал водить карандашом по бумаге, очевидно, показывая дорогу. Вернувшись к своему месту, портье услужливо разложил передо мной план Варшавы, напечатанный на обороте туристского проспекта, и объяснил: от гостиницы "Бри-столь", где мы находимся, нужно пройти по Краковскому Предместью до костела Св. Креста, потом свернуть направо, по Свентокристка, затем снова направо, до площади, на которой тоже стоит большой костел, — синагога в глубине площади, наискосок от костела.

И вот я поспешно шел по Краковскому Предместью уже облитою серо-свинцовыми сумерками, рассеянно глядя на старые дома с классическими колоннами и лепными фасадами, которые вовсе не были старыми, а лишь тщательно сработанными архитектурными подделками и реставрациями действительно старых зданий, сожженных во время войны, на Коперника в чугунном плаще, восседающего на перекрестке нескольких улиц с железной небесной сферой в руках, и на другие статуи,

дворцы и соборы старой Варшавы, зажатые со всех сторон жилыми блоками новейшей конструкции — прямоугольными и плоскими, без всяких орнаментов и украшений. Вечер уже переходил в ночь, зажглись уличные фонари, и от их зеленоватого сияния просторная Свентокристка, слишком просторная для редких автомобилей и одиноких прохожих, казалось пустынной и мрачноватой. Пронзительно холодный ветер продувал насквозь этот широкий каменный коридор и сильно бил мне в лицо, но я все ускорял шаги, все боялся опоздать. И в то же время меня мучили сомнения: куда я спешу? Зачем мне разыскивать варшавскую синагогу? Я не был в синагоге уже много лет, что я там увижу? Разве в синагоге получу я ответ на мучительные вопросы, преследующие меня с тех пор, как я приехал в Варшаву и даже несколько раньше, когда я еще только мчался в полупустом вагоне скорого поезда по печальным предвсенним полям восточной Польши?

...Это началось пять дней назад. Я имею в виду свой последний приезд в Варшаву, потому что я бывал здесь и раньше. Случалось, что и тогда я испытывал недоумение, а нередко и тоску. Помню, как дивился я упорной договоренности варшавских строителей начисто отрицать бомбы и пожары последней войны, превративших в развалины и кирпичную пыль две трети их родного города. Из щебенки и пепла снова возникли Краковское Предместье, Замковая площадь, Старое място, Старый рынок — все в точности как было. И барочные дома со всеми нишами, порталами, чугунными украшениями, черепичными крышами и беспорядочным скоплением мансард на разных уровнях, все, что нарастало постепенно в течение веков, восставили в один прием. И Нови Свят — милая, уютная улица с ампирными домами стала снова такой же, как на старых фотографиях, сделанных в те идиллические времена, когда на ней торговали, пили кофе с пирожными и никого не расстреливали. О расстрелах, однако, не забыли, места казней четко обозначили мемориальными досками, под которыми расставили горшочки с живыми цветами, ладанки, свечи; цветы были всегда свежесполиты, в праздничные и поминальные дни свечи мерцали белыми огоньками.

Щемяще грустны были эти уголки памяти, разбросанные по всей Варшаве. В особенности же печален был такой уголок в районе Муранов, где в середине просторного квадрата, еще только начинающего застраиваться стандартными пятиэтажными домами, на гранитном постаменте стояла четырехугольная доска с барельефом, изображающим группу людей в растерзанных одеждах, с оружием в руках и устремленными в даль черными чугунными лицами, на которых застыло выражение решимости принять смерть в бою — памятник борцам гетто. Издали казалось, что он весь обсыпан пеплом, тем самым пеплом,

что устилал некогда все окрестные улицы и развалины уже давно сторевших и сравненных с землей домов. Никаких других следов гетто, кроме зияющей архитектурной пустоты, здесь не оставалось. У памятника всегда околачивались мальчишки — коллекционеры марок и значков, поджидающие автобусы туристского бюро "Орбис", те привозили сюда зарубежных экскурсантов. Дети тараторили и смеялись, а интуристы, выслушав торопливые объяснения гидов и, конечно, уже не представляя себе ни того, что здесь когда-то произошло, ни того, что они стоят на могилах — под асфальтом могилы, в которых все еще гниют останки домов вместе с костями их обитателей, — деловито фотографировали памятник, вычеркивали его из списка достопримечательностей, подлежащих осмотру, и уезжали.

Мои печальные мысли быстро рассеивались, как только я входил в общение с жителями Варшавы. Все они производили впечатление обходительных и неунывающих людей, отрицающих прошлое еще более упорно, чем местные архитекторы и строители. И варшавская жизнь, не лишенная забот и трудностей, казалась мне приятной и возбуждающей, с ее частыми театральными премьерами, новыми кинофильмами, новыми кафе и забегаловками и всегда изящными, хотя и дешевенькими, нарядами на молодых красавицах Нового Свята и Маршалковской. Мои варшавские знакомые считали своей обязанностью не давать скучать приезжим. И каждый раз, когда я сюда возвращался, я знал заранее, что меня ожидают веселье и беззаботные дни, что я буду сидеть в варшавских кафе и ресторанах, в доме *под Крокодилом*, в доме *под Негром* и наслаждаться тем, что я сижу там, ходить в театры и кино и наслаждаться постановками и кинофильмами, которые не увидишь в Москве, засиживаться допоздна в квартирах друзей и наслаждаться счастливым сознанием, что и здесь, в чужом городе, есть немало людей, думающих так, как думаю я, интересующихся тем же, что интересует и меня.

В этот раз все было иначе!

Уже за несколько недель до поездки, я понял, что в Польше что-то случилось и началась полоса какой-то другой, неведомой мне жизни. По радио передавали о студенческих волнениях, об арестах каких-то новых внутренних врагов. А в поезде, как только я пересек польскую границу, поступил новый сигнал, повергший меня в уныние и тяжелое раздумье.

В Бресте бушевала небывалая для конца апреля снежная буря, и наш поезд проскочил по содрогающемуся от обледенения мосту через Буг в сплошной мгле, в которой потонули привычные приметы польского пейзажа: остроконечные башни деревенских костелов, кресты на дорожных перекрестках, чаклые рощи, одинокие тощие березки. Снегопад вскоре прекратился, на полях остались только яркие блестящие полосы свежего снега, и хотя я понимал, что это уже последний снег, по-

сле которого вскоре наступит весна, что-то печальное и тревожное чудилось мне в польском пейзаже. Такое впечатление, вероятно, возникло у меня лишь потому, что я был весь во власти мрачных мыслей, вызванных корреспонденцией из Варшавы, напечатанной в парижской газете "Юманите", которую я приобрел в киоске Брестского вокзала. Она называлась: "Операция по общественому оздоровлению Польши" и была полна туманных намеков на заговор каких-то не названных реакционеров, организаторов студенческих демонстраций в связи с запрещением постановки драмы Мицкевича "Дзяды", за спиной которых будто бы стояли польские евреи — сионисты.

"Во всяком случае, — говорилось в "Юманите", — мартовские события многое прояснили и позволили правительству принять меры. Так была освобождена от работы группа некомпетентных лиц из Комитета атомной промышленности... Надо сказать, что не может быть и речи об антисемитизме, — Гомулка сказал, что партия против антисемитизма". И так далее, в том же туманном стиле: "Гомулка сказал" и "Клишко сказал", и "сами еврейские деятели сказали..."

Боже мой, — подумал я, — что все это может означать? Реакционный заговор, студенческие демонстрации, пьеса Мицкевича "Деды", Комитет атомной промышленности и евреи... При чем здесь евреи? Какие евреи? Ведь Гитлер все же кое-чего добился: он сделал Польшу почти "свободной от евреев"?

Я снова перечитал статью, испытывая тяжелое чувство, как человек, который нечаянно приняв снотворное, старается потом изо всех сил не поддаваться медленно охватывающему его сну; насильственный сон неотвратимо пробуждает тягостные, ненужные воспоминания, полузабытые кошмары.

Конечно, информация из "Юманите" была слишком скудной. Но она пробудила во мне другое знание, то, которое я копил всю жизнь. Туманные упоминания о евреях сразу же напомнили мне словесные клише, причинившие мне в свое время немало мук и горестей, смешение слова еврей с самыми разными и порой исключаящими друг друга понятиями: еврейское франкмасонство, еврейская плутократия, еврейский коммунизм, иудейский гагал, заговор еврейских врачей-космополитов... За свою личную жизнь, а может быть, еще с рождения, по наследству, я приобрел немало сведений о том, как при любом общественном бедствии сразу же возникает разговор о евреях, причем нелепость и абсурдность предположения о их участии во всех делах на свете никого никогда не смущал...

Все, что я видел в окне вагона, потеряло для меня всякий интерес. Не желая воскрешать мрачные воспоминания, но уже не сумев вытеснить из своих мыслей тягостные ассоциации, вызванные статьей парижского корреспондента в Варшаве, я стал думать о смысле и значении понятия еврей.

Кого имеют в виду, когда говорят об евреях? Кто еврей?

Люди, родившиеся евреями, совсем не одинаково чувствительны к своему происхождению. В детстве я жил среди евреев, что весь свой век провели под знаком еврейства. Фанатично преданные еврейским традициям, усердно исполняя обряды еврейской религии. Но уже тогда встречал я евреев, не соблюдавших никаких обрядов и имевших весьма смутное представление о еврейской вере. Позднее встречал я крещеных евреев, евреев-баптистов, евреев-теософов, не говоря уже о евреях безбожниках и противниках всякой религий — среди моих друзей и знакомых их было больше всего. И я знал евреев, которые не только не чувствовали себя евреями, но стыдились своего происхождения и даже были готовы участвовать в гонениях против евреев. Их тоже следует считать частью "мирового еврейства", о котором я столько слышал и читал?

Но все же каких евреев имеет в виду автор корреспонденции из "Юманите"? Ведь в Польшу почти не осталось евреев. Помню тех, страшных, полубезумных людей с желтыми пухлыми лицами, уцелевших в подвалах, ямах и чердаках, которых я встречал в польских городах сразу же после изгнания гитлеровцев. Я узнавал их даже в толпе, они были похожи на тени, на тоскливые мрачные тени из кошмарного сна, напоминающие о еще более кошмарной недавней действительности. Много ли их было по всей Польше? Несколько сот человек? Вместе с польскими евреями, которые вернулись из польской армии, из партизанских отрядов, из эвакуации, их было очень, очень мало среди миллионов поляков. Какой смысл могут иметь разговоры об этой горстке людей?

Я был крайне подавлен этими, хоть и общими, но все же тяжелыми мыслями. Отложив газету, я смотрел на бегущие за окнами вагона телеграфные столбы, на белые пятна еще не растаявшего снега, на железнодорожные полустанки с кирпичными строениями и мокрыми платформами, на которых стояли люди в мокрых плащах и конфедератках. Мрачные мысли вскоре рассеялись, но осталась печаль. Слово еврей часто вызывает во мне печаль.

А потом прошла и она...

Варшава встретила меня весенним солнцем, шумной уличной сутолокой и удивительным количеством пестрых афиш и плакатов, в которых было что-то изысканное, чужестранное. По дороге в гостиницу я не узнал ни одной улицы. Но из окна своего узкого номера на пятом этаже отеля "Бристоль" я увидел знакомый изгиб Вислы, а за рекой беспорядочное скопление одноэтажных домиков старого варшавского предместья Прага, к которым прибавилось теперь довольно много новых жилых блоков — высоких, прямоугольных башен, беспорядочно разбросанных то здесь, то там.

Переодевшись, я спустился вниз и вышел на улицу.

Был предвечерний час, солнце, склоняясь к западу, золотило верхушки костелов, колонну Сигизмунда на Замковой площади и черепичные крыши старого города. С Вислы дул холодный восточный ветер, но мужчины уже щеголяли в весенних плащах, а девушки в легких курточках и юбочках мини, обнажающих до самых бедер их высокие стройные ноги.

По-видимому, был канун католического праздника, потому что у входа в костелы Краковского Предместья царило большое оживление. Три молодых патера или диакона, все трое без шляп, в новых сутанах, из-под которых виднелись начищенные до блеска модные туфли, вышли из маленького "Фиата", подкатившего к среднему с отелем костелу, и, заперев машину, деловитой походкой направились к месту службы, минув выстроившуюся у входа длинную очередь, втягивающуюся медленно в тяжелую дверь, обитую старым железом, в таинственном церковном сумраке, освещенном огоньками свечей и лампад.

Множество подобных очередей видел я в тот вечер у входа в варшавские костелы, особенно много их было в Старом городе, где уличная толпа,двигающаяся по каменным переулкам, похожим на глубокие ущелья, заворачивала в двери каждой встречной церкви, в то время как навстречу ей, из храма, вытекал точно такой же поток. Повинуясь уличному движению, я тоже встал в очередь, и она отнесла меня в глубь готического собора с толстыми каменными колоннами и таинственными закоулками, в которых чернели какие-то статуи на высоких каменных цоколях. Впереди, у алтаря, сновала целая толпа священников и их помощников — совсем еще юных мальчиков; — совершая коленопреклонения и еще какие-то непонятные движения, в быстром и энергичном темпе, под звуки латинских восклицаний и песнопений. Очередь, занесшая меня в костел, двигалась в другом направлении и вскоре отнесла меня к просторной нише, в глубине которой, на высоком белоснежном ложе, темнела человеческая фигура, закрытая по грудь белым покрывалом. Стены ниши были затянуты белой и черной материей, а с потолка свисали две нестроганные балки напоминающие крест... Я понял: Христа сняли с этого абстракционистского креста и вот он теперь лежит мертвый под белоснежным покрывалом, на символическом смертном ложе. Все это очень напоминало театральный макет, даже скорбная фигура женщины, которая стояла на коленях перед нишей в неподвижно горестной позе, тоже казалось не живой, а искусным муляжем.

В двух соседних костелах, куда привел меня людской поток, я снова увидел огороженные уголки, образующие как бы сцену или эстраду, оформленную по-разному на одну и ту же тему. В одном месте Христос лежал в черном гробу, на фоне черной мраморной стены, окруженной многочисленными гор-

шочками с белыми орхидеями; в другом — мертвого сына божьего осеняло красно-белое знамя с старинным гербом богобоязненного и храброго войска польского.

А когда, возвращаясь в отель, я зашел в еще один костел и увидел *гроб господен*, над которым висело белое полотнище с изображением весов и цифрой 30, я окончательно понял: в варшавских костелах накануне пасхи происходит смотр художественных экспозиций, настоящее соревнование в изображении религиозных символов с легким политическим оттенком, вариации на пасхальные темы: воскрешение Христа, вера и неверие, предательство и прощение... Как почти на всякой выставке, здесь тоже существовала плата, но взымалась она на добровольных началах уже при выходе, когда зрители, еще находясь под свежим впечатлением увиденного, проходили мимо жестяной копилки с красивой каллиграфической надписью: "На гроб пана Иезуса!"

Итак, день моего приезда в Варшаву совпал с кануном католической пасхи, в городе царило бодрое, приподнятое настроение, у всех встречных были радостно-озабоченные лица, как у людей, сознающих, что они наконец дождались праздника, а заодно и запоздалой в нынешнем году весны. Я заразился этим настроением и тоже обрадовался наступающему празднику, хотя и не имел к нему никакого отношения. Но я подумал, что католическая пасха сулит мне возможность познакомиться с неизвестными мне прежде обычаями и по-новому увидеть варшавскую жизнь.

Я так и подумал: *увидеть...* А что собственно это значит? Тогда я и не задумывался, например, над таким вопросом: может ли даже самый наблюдательный глаз увидеть то внутреннее, ту, так сказать, сокровенность, которая есть в каждой вещи? Видеть! Это же не просто фиксировать и запротоколировать. Видеть начинаешь тогда, когда выходишь из роли стороннего наблюдателя, когда соучаствуешь в деле. Между тем, мы всегда готовы с бездумной легкостью сказать: я это видел!

В тот же вечер я встретил в холле отеля московского журналиста, приехавшего в Варшаву раньше меня и уже собиравшегося уезжать. Это был очень доброжелательный молодой человек, считавший своим долгом посвятить меня во все полезные тайны местной жизни: где можно дешево и прилично пообедать, что надо покупать в главном универсаме ЦЕДЕТ, который москвич ласково называл "цедешкой", как попасть в студенческий кабачок с сатирическим обозрением. Заговорив о студентах, московский журналист вдруг понизил голос до шопота:

— Между прочим, один мой знакомый студент, мировой мужик, предупредил меня, что здесь отлично поставлена служба наблюдений. Так что должен и вас предупредить: не ведите откровенных разговоров, особенно о том, что у них тут происходит...

— А что тут происходит?

— Вы не знаете? В марте бастовали университет. Кое-кого из реакционеров снимали даже на самом вершине. История с "Дзьядами" не простая. Говорят, будут антиссионистские процессы...

Боже мой, подумал я, опять этот туманный язык, эти нелепые словосочетания, за которыми чувствуется что-то другое, не предназначенное для всеобщего обозрения. И я спросил своего юного собеседника: знает ли он, что такое сионизм? Какое отношение могут иметь сионисты к исторической пьесе национального поэта Польши? И что это за реакционеры, которых снимали "на самом вершине"? Почему вдруг оказалось, что в социалистической Польше "наверху" сидят реакционеры?

Мой собеседник развел руками и чистосердечно признался, что он не задумывался над такими вопросами.

— Тут все очень сложно и запутано, — сказал он. — Могут дать вам только один совет: смотрите, слушайте, но будьте осторожны в своих высказываниях. В общем, вы сами увидите...

"Смотрите, слушайте, но будьте осторожны в своих высказываниях".

..."А в своих мыслях?" — спросил я самого себя уже на другое утро, выходя из квартиры, куда я на правах приезжего пришел с визитом без предварительного звонка по телефону, так как затерял номер телефона, но, к счастью, помнил адрес и даже внешний вид дома, где не раз бывал в свои предыдущие приезды; дом был семизэтажный, с большими окнами, просторными лоджиями и элегантной чугунной решеткой, отделяющей его от улицы, точнее — от переулочка, застроенного домами повышенного типа, в нескольких шагах от одной из самых красивых и зеленых варшавских магистралей — Алеи Уяздовской.

На мой звонок дверь открыл старик в теплом халате, из-под которого виднелся растегнутый ворот ночной сорочки... Я помнил мужа той совсем еще не старой женщины, которая жила в этой квартире, я видел его в последний раз два или три года назад, в Москве; он казался мне тогда человеком средних лет с начинающими седеть курчавыми волосами, с хмурым, но еще не старым лицом. Теперь в дверях стоял старик с пергаментной кожей, с мешками под глазами, небритый, усталый. Я подумал, что, должно быть, все же перепутал адрес. Но старик узнал меня и пригласил войти.

Я заговорил поспешно, торопливо:

— Извините, я потерял ваш номер телефона. Пани Янина дома?

Старик, которого его жена звала Якуб, отрицательно покачал головой и молча провел меня в комнату, имевшую вид кабинета с большим письменным столом, массивными креслами и застекленными книжными полками по стенам. Однако на

столе не было чернильного прибора, календаря или какого-нибудь другого предмета, который указывал бы на то, что за этим столом еще кто-то работает. Да и все остальное, что я видел в кабинете, производило впечатление запущенности: пыль здесь не вытирали, комнату давно не проветривали. Неужели я нахожусь в той самой квартире, в которой я бывал в свои предыдущие приезды в Варшаву? Больше всего меня поразила стоящая здесь тишина...

У женщины, которую я пришел навестить, было три сына. Я помнил их подростками, когда они приезжали с матерью к нам на юг, провести лето в одном из крымских домов отдыха. Потом я видел их дома, в Варшаве — в этих комнатах даже воздух кипел от их вездесущего присутствия. Теперь в воздухе, пахнувшем пылью, стояла пугающая тишина.

Пригласив меня сесть, старик с скорбным лицом тоже опустился в кресло, запахнув халат и слегка вытянув свои тонкие ноги, обутые в теплые матерчатые туфли. Он смотрел на меня, но я почему-то был убежден, что видит он то же самое, что мысленно вижу я: беззаботных мальчиков, гонящихся друг за другом по комнатам, и их милую, всегда улыбающуюся мать, которая не уступала сыновьям в бодрости и веселье...

Что же здесь произошло? Где славные мальчики, жившие в этой квартире? Где их молодая, счастливая мать?

Старик все еще безмолвно сидел в своем кресле, может быть, ему хотелось спать, а я тем временем вспомнил беззаботные, солнечные дни в восточном Крыму, маленький, уютный дом отдыха, стоявший на самом берегу скалистой бухты с узким, каменистым пляжем, где я впервые увидел Янину и ее мальчиков — младшему было тогда лет восемь, а его старшим братьям-близнецам, кажется, двенадцать или около того.

Янину нельзя было назвать красивой: среднего роста, уже довольно полная, с грубыми чертами лица, на котором выделялся большой нос с горбинкой, с карими глазами, лишенными глубины, но способными чудно улыбаться, что придавало всему лицу какую-то особенную прелесть, заменявшую все недостающие ему приметы женской красоты. Эта чудная улыбка Янины могла быть нежной, ласковой или мечтательной, но чаще всего она была веселой, полной такого искреннего веселья, что мгновенно заражала всех окружающих.

Несмотря на то, что Янина не очень-то хорошо говорила по-русски, она чуть ли не в первый же день перезнакомилась со всеми отдыхающими из нашего дома, всех пленила ее улыбка, ее остроумие, ее любовь к шуткам и смеху. Довольно быстро мы узнали, что у себя в Варшаве, она пишет фельетоны, сатирические стихи и номера для эстрады, что несколько объясняло ее страсть ко всему смешному.

Никогда не забуду, как она стояла на морском берегу в коротеньком купальном халате, обнажающем ее крепкие за-

горелые ноги и уговаривала своих мальчиков выйти из воды, а они изо всех сил старались оттянуть эту горестную необходимость, хотя уже посинели от долгого купанья. Это было похоже не на разговор матери со своими расшалившимися детьми, а на юмористическую сценку, на диалог, искрящийся весельем и остроумием, насыщенный смешными примерами и назидательными анекдотами, которые так и сыпались из уст Янины, что не только мы — случайные свидетели, но и сдавшиеся в конце концов мальчики, вылезая из воды, захлебывались от смеха. Глядя на эту сцену, я ни секунды не сомневался, что Янина не только веселая, но и счастливая женщина, чья жизнь наверно всегда текла гармонично и вполне благополучно.

Уже через несколько дней я понял, как жестоко ошибался. В природной веселости Янины я, впрочем, не ошибался, — это была черта ее характера, ее натура. Но, разумеется, я не мог предположить, что эта удивительно веселая и как будто совершенно беззаботная женщина успела испытать в ранней молодости все самое ужасное, что только может выпасть на долю отдельного человека.

С того памятного лета в Крыму прошло несколько лет. Время от времени Янина приезжала в Москву, а два или три раза я побывал у нее в Варшаве. И каждый раз она встречала меня с той же милой простотой и веселостью, которые были новыми знакомы по Крыму, с новыми шутками, новыми анекдотами и смешными историями, которые приводили меня в восхищение и приносили чувство успокоения и радости.

А теперь я сидел в ее опустевшей квартире и смотрел на одинокого и печального старика, который, как мне казалось, не меньше меня был подавлен отсутствием смеха, юности и веселья в этих комнатах и тоже вспоминал звучавшие здесь раньше голоса. Наконец он поднял голову и сказал:

— Янина в Закопане.

Я спросил:

— Она скоро вернется?

Он посмотрел на меня с каким-то непонятным удивлением:

— Не думаю... Ей лучше теперь жить подальше от Варшавы.

— А где мальчики?

— Янек с нею, в Закопане. Юрек в Лодзи, у родственников, а Мачек уже в Швеции.

— В туристской поездке?

Он опять внимательно на меня посмотрел и сказал:

— Нет. Нам удалось отправить его к друзьям.

Я плохо понял, о чем он говорит, хотя он довольно прилично владел русским языком. Я чувствовал, что дело здесь не в словах — мне мешает незнание каких-то важных вещей, придающих особый смысл его словам. Не зная, как выйти из это-

го положения, я продолжал сидеть как бы в оцепенении и ждать пока все разъяснится само собой.

В сущности, я никогда не понимал, почему Янина вышла замуж за этого человека. Даже когда он еще и не казался мне стариком, между ними была большая разница: она — статная, красивая, живая; он — маленький, сухой, молчаливый, даже мрачноватый... Однажды она вскользь рассказала мне о своей первой встрече со своим будущим мужем, которая произошла сразу же после окончания войны — он занимал тогда высокое положение в организации, разыскивающей фашистов и военных преступников. Может, это и повлияло на ее выбор? В другой раз она упомянула о том, что Якуб бывший подпольщик, просидевший долгие годы в тюрьмах буржуазной Польши и посвятивший свою жизнь революции. Потом я узнал, что его политическая карьера кончилась или, во всяком случае, сильно затормозилась. Это произошло после XX съезда КПСС, когда не только в Москве, но и во всех социалистических странах говорили на собраниях и писали в газетах, что нужно исправить ошибки, допущенные, как принято было тогда говорить, в период *культы личности*.

Муж Янины потерял свое место в одном из ключевых министерств, но получил другую, хотя уже не столь важную должность, в другом министерстве. Тогда люди, занимавшие важные посты, обычно говорили: "Если мы и совершали ошибки, то только потому, что выполняли приказы вышестоящих инстанций". Или: "Мы ошибались вместе с партией". Может быть, Якуб как раз и принадлежит к этому роду людей? Может быть, теперь он сам сожалеет о прошлом? Это вполне могло бы объяснить его подавленное состояние. Однако все это не имеет никакого отношения к Янине. Что случилось с нею? Что он имел в виду, когда сказал, что лучше ей теперь жить подальше от Варшавы?

Я спросил:

— Вы не собираетесь в Закопане?

Он печально покачал головой:

— Нет.

— Вы не можете оставить службу?

— Какую службу? Я уже третий год на пенсии. После мартовских событий мне пришлось уйти и с последней работы, где я получал только символическую плату, как пенсионер.

Я не выдержал и задал вопрос, который мне хотелось задать с самого начала:

— О каких событиях вы говорите? Что собственно здесь произошло?

— Студенческие беспорядки, потом брожение и чистка в партии...

— Вы же на пенсии.

— Какая разница? Все равно виноваты евреи.

— Я воскликнул:

— Евреи?

Он повторил:

— Да, евреи. Или сионисты. Впрочем, это ведь одно и то же.

Я смотрел на него, все еще не совсем ясно понимая, о чем он говорит. Разумеется, я и раньше знал, что он еврей. Достаточно было взглянуть на его курчавые волосы, на темно-карие печальные глаза... Я вдруг почувствовал страх. Слово еврей прозвучало как сигнал, включивший темный механизм страха. Я не знал этого человека и все же я знал его и чувствовал, как его тоска, его страх невольно передаются и мне. Это была телепатия? Это был условный рефлекс? Теперь уже можно было признаться самому себе, что в поезде, по дороге в Варшаву, прочитав о том, что евреи имеют какое-то отношение к последним польским событиям, я тоже испытал тайный страх. Всякое упоминание о евреях уже давно возбуждает во мне совсем особые чувства, не поддающиеся словесному определению, сложное смешение разнородных чувств, среди которых есть и страх. Это потому, что я сам еврей?

Было время, когда я не придавал значение своему еврейскому происхождению. Я хорошо помню, как строго у нас в доме соблюдали все еврейские обряды. Но я рано потерял веру в Бога, и вместе с нею и ощущение своей принадлежности к еврейству. Я никогда, ни при каких обстоятельствах не отрицал своего происхождения, не стыдился, но и не гордился им — оно меня попросту мало интересовало. С юных лет я верил, что я свободен от национальных чувств и желал оставаться свободным. И наедине с самим собой или в обществе людей, придерживающихся одинаковых со мной взглядов, я чувствовал себя свободным. Тот, кто хотел уязвить во мне еврея, попадал мимо цели. Даже брошенное мне вдогонку слово жид не заставляло биться мое сердце сильнее. Я искренно возмущался несправедливостью, содеянной по отношению к любому народу, и верил, что причины антисемитизма надо искать в несправедливом социальном устройстве: создайте общество без капиталистической эксплуатации и это положит конец антисемитизму. Эти мысли были логичными и разумными, а все разумное имело для меня огромную притягательную силу. Кто способен в юном возрасте понять, что как раз разумное может оказаться злом?

И вот, разумные и стройные построения заслонили передо мной реальность. Я, например, никогда не задавал себе вопроса: откуда особая ненависть к евреям? Отчего такое множество людей, способно наносить удары даже по тем евреям, которые своей бедностью и беззащитностью, казалось, должны бы-

ли бы вызывать к себе жалость и сочувствие? Разумные мысли о социальных корнях антисемитизма заглушили в моей душе и предчувствие надвигающейся роковой беды. Сигналов, предупреждающих о том, что фашизм во всех его видах может стать неоправдываемой катастрофой прежде всего для евреев, было сколько угодно. Но я их не понял...

Когда и как вернулись ко мне ощущение своей принадлежности к еврейству и интерес к евреям? Увы, это пришло не раньше, чем разразилась беда. Адольфа Гитлера, "окончательное решение еврейского вопроса", непостижимую жестокость, с которой было убито во время войны шесть миллионов евреев только за то, что они евреи, уже нельзя было объяснить разумными теориями. Эти события вошли в меня — разве такое можно забыть?

После войны случалось мне бывать в тех, совсем особых музеях, которые возникли на месте лагерей уничтожения — в Освенциме, Маутхаузене, Бухенвальде. И во время этих посещений меня всегда мучил один вопрос, который не затрагивают ни объяснения гидов, ни справочники и документы о судебных процессах над военными преступниками. Я даже никогда не слышал, чтобы такой вопрос обсуждался. Но меня он томит до сих пор: почему ни одна из армий, воевавших против Гитлера, не нарушила ни на один день планомерную работу ужасных фабрик смерти? Разве это было невозможно? Сотни и тысячи тонн бомб падали каждую ночь на немецкие фабрики и заводы, на мосты и склады, на железнодорожные станции, используемые Германией. Но ни одна бомба не была сброшена на подъездные пути к Освенциму, на крематории Тремблинки. Почему? Конечно, в Освенцим везли не солдат, не боеприпасы, не оружие и даже не сырье для военной промышленности, а только людей, предназначенных для уничтожения. Спасать людей нецелесообразно с военной точки зрения? Ведь даже летом и осенью сорок четвертого, когда фронт приблизился к Освенциму, сюда все еще шли десятки, сотни эшелонов с венгерскими евреями и крематории работали день и ночь, сжигая по двадцать тысяч человек в сутки. Разве нельзя было воздушным налетом или парашютным десантом разрушить эту адскую фабрику? Разве неизвестно было, что происходит в Освенциме? Почему никто даже не попытался помешать им убивать?

Среди убитых оказались и евреи моего родного городка — все, кто не успел оттуда уехать, бежать, уйти пешком: товарищи, с которыми я делил радости детства, наши соседи, участники первых жизненных событий, сохранившихся в моей памяти, и самые близкие существа среди всех прочих, те, что дали мне жизнь. С тех пор как я осознал весь ужас случившегося, я несу бремя неслыханной тоски, к которой примешивается чувство смутной вины, раскаяния, бессилия. И вероятно буду нести его до конца своих дней...

После войны в моей жизни тоже не было ничего еврейского. Но я теперь уже знал и чувствовал, что все происходящее с евреями, где бы это ни происходило, даже то незримое и неуловимое, о чем я ничего не знаю, о чем никогда не думаю, имеет все же отношение и ко мне, определяет и мою судьбу. Я понял, что забывать о своем еврейском происхождении не только слабость, трусость и бегство, но и душевная подлость. А иногда — это еще и глупость. Евреи, прикидывающиеся неевреями, стали вызывать во мне тошноту и страх — от таких людей можно было всего ожидать...

Старик, который неподвижно сидел в кресле, вдруг поднял голову и спросил:

— Вы читали наши газеты?

— Нет. Я плохо знаю польский язык.

Он поспешно встал и вышел в коридор, но сразу же вернулся, держа в руке пачку сложенных как попало газетных листов.

— Сегодняшние, — сказал он и стал поспешно листать газеты, показывая мне отдельные заголовки: — Смотрите! Вот: "От Герцеля до Даяна"... "Сионизм и космополитизм"... "Альянс врагов: сын бывшего сенатора-эндека и сионисты"... Видите? Это, оказывается, главная проблема Польши: сионизм и Израиль, Герцель и Моше Даян, Шарм Эль Шейх и Суэцкий канал... А вот какие выводы делаются у нас из израильско-арабского конфликта. Слушайте: "Партийные организации Лодзи, производя политическую оценку поведения своих членов, приняли решение об исключении некоторых лиц из польской объединенной рабочей партии. Так, например, парторганизация мебельной фабрики номер один, приняла такое решение по отношению к заместителю директора фабрики — Тадеушу Рабиновичу. Первичная парторганизация объединения трикотажной промышленности исключила из своих рядов директора объединения Леона Израилевича. В Вроцлаве среди исключенных — директор школы Леон Гинзбург, замдиректора мукомольного завода Ицхак Мильштейн". Понятно? Замдиректора мукомольного завода в Вроцлаве несет ответственность за закрытие Суэцкого канала... Такие заметки печатаются в наших газетах день за днем, они, так сказать, дают направление, показывают другим партийным организациям, что от них требуется в настоящий момент. Всех исключенных из партии, конечно, сразу же снимают с работы, а после этого...

Он неожиданно замолчал и, отложив газеты, запахнул теснее полы своего халата. Ему было холодно? Может быть, он почувствовал озноб? Вдруг он снова заговорил:

— Знаменитую речь Гомулки на варшавском партийном активе вы читали? Из-за нее мне и пришлось уйти с последней работы. Я занимался там бухгалтерией, не моя специальность, но ведь нельзя жить, ничего не делая. Так вот, после варшавско-

го партактива, который передавался и по телевидению, мой начальник спросил: "Как тебе нравится речь первого?" Я ответил: "Мне она не нравится, совсем не нравится". "Почему?" "А потому, что мне не нравится быть гражданином второго сорта. Гомулка перечислил три категории евреев: хороших, не очень хороших и совсем плохих. Я ведь не за это боролся. Десять лет я просидел в тюрьмах старой Польши. Вся моя молодость прошла в тюрьме, а что ты делал в это время, товарищ начальник? Ты же одного со мной возраста. Тебе преподнесли все готовое. Почему же я должен быть ниже тебя? Мне это не нравится — можешь сообщить куда следует". Он не сообщил. Но все равно мне пришлось вскоре самому написать заявление: прошу освободить от работы по собственному желанию. Многие так поступают. Они не хотят, но уходят. Иначе их объявляют сионистами и увольняют, а это еще хуже. Уже раздаются голоса: надо посмотреть, в каких квартирах живут евреи! Отобрать квартиры, уплотнить, переселить, о, на это найдется много желающих. У старых членов партии отбирают пенсии. Когда их исключают из партии, они теряют стаж и, тем самым, право на повышенную пенсию. И у меня приличная, очень даже приличная пенсия, но не за партийный стаж, она рассчитана с высокой зарплаты, которую я получал в министерстве. Это называется — прагматическая пенсия, ее отобрать нельзя...

Но глаза его выражали другое, его глаза ясно говорили, что он не верит в свои собственные слова: все может случиться, все могут отобрать!

Я спросил:

— А какие неприятности у Янины?

Он ответил:

— Такие же, как и у всех. Она работала для эстрады, но и в актерском мире все перемешалось. На одного известного актера пришел в партком донос, что он скрытый еврей. Его вызвали и спросили: ты можешь доказать, что это неправда? Он уехал в родное село и привез справку из костела, где крестили его родителей и дедов. В другом месте кто-то предложил подвергнуть сотрудников-мужчин телесному осмотру, чтобы выяснить наконец, кто еврей, и покончить с неопределенностью. Многих поляков эти факты не удивляют, в старой Польше процветал антисемитизм. Но никогда не думал я, что антисемиты могут появиться вновь и опять подать свой голос, после того, как Гитлер уничтожил почти всех польских евреев, а заодно и огромное количество поляков. Вы думали? Вы предполагали, что после банкротства нацизма о евреях снова заговорят в нацистском стиле именно там, где люди больше всего пострадали от нацизма?

— Не знаю, — сказал я.

...Разве я не знал?

...Свентокристка, кажется, кончилась. Это уже другая улица, но тоже однообразная, кирпичная, безлюдная. Где-то поблизости должна быть площадь, о которой говорил портье: в середине большой костел, а наискосок от него — синагога... Застану ли я еще кого-нибудь? Пасхальная служба кончается рано, все спешат разойтись по домам, на *сейдер*. Торжественный пасхальный ужин называется *сейдер*. Судя по календарю, который я видел в туристском бюро, сегодня начало еврейской пасхи. Сегодня первая пасхальная ночь, следовательно сегодня *первый сейдер*. Сколько лет я не видел этот ритуал? Обычно, я даже не знаю заранее, когда наступит еврейская пасха; лишь догадываюсь об этом по косвенным приметам: она всегда наступает на несколько дней раньше, чем католическая и православная пасха. Среди моих московских друзей-евреев нет ни одного человека, ни одной семьи, в которой соблюдали бы еврейские традиции. Многие даже не знают, что такое *сейдер*. Но я-то знаю. Я ничего не забыл...

Уходя из квартиры Янины, я увидел на стенах коридора фотографии автомобилей. Они вероятно были вырезаны из заграничного иллюстрированного журнала: длинные роскошные автомобили, окрашенные в яркие цвета. И я снова вспомнил мальчиков, выросших в этой квартире: они повесили эти фотографии?

Провожавший меня к выходу старик тоже взглянул на фотографии и сказал:

— С нашими сыновьями еще будет проблема! Они ведь ничего не знают о евреях — теперь узнают. Их насильно загоняют в национализм. Однажды наш младший пришел из школы ужасно расстроенный — его обозвали "жидеком". Я спросил: "Кто-нибудь слышал?" "Да, Мариша слышала, но ведь она полька". Я закричал: "Что ты болтаешь? А ты кто?" Но он был прав: разделение уже произошло, о нем знают и дети, хотя объяснить трудно. У меня нет ответа на вопросы моих сыновей. Я не нахожу никакого ответа. Я начинаю думать, что антисемитизм — таинственное и необъяснимое явление: он всегда один и тот же, несмотря на то, что вызывающие его причины — разные. Я еще мог бы объяснить моим сыновьям причины антисемитизма в буржуазной Польше. Но ведь старые причины как будто исчезли. А главное — в Польше почти не осталось евреев, двадцать-тридцать тысяч человек, не больше. Да и это не считают себя евреями. Что же мне сказать своим мальчикам? Мы не евреи, в Польше уже нет настоящих евреев, но есть юдофобия? Юдофобия без евреев? Дети спросят: почему? По какой причине люди становятся юдофобами? Что я отвечу? Еще не изжитые предрассудки прошлого? Дети спросят: а почему сам Гомулка, товарищ Веслав, вдруг заговорил о евреях? Ведь у него было в жизни столько партийных товарищей евреев, говорят, что и его жена еврейка. Почему же и он думает, что евреям прису-

щи какие-то зловредные черты и что их следует делить на категории? Что мне ответить мальчикам? Рассказать им о Марксе, который был еврейского происхождения, да еще из семьи с предками раввинами? И все же он не любил евреев. Впрочем, для него были плохи не евреи, а капитализм и, поскольку евреи сыграли известную роль в развитии денежного капитала, Маркс не жаловал евреев. Согласно такой концепции считалось, что еврей и торгаш — синонимы, и что капиталисты-христиане тоже принадлежат к "еврейству". Следовательно, как только будет создано общество без торгашей, не станет и евреев. Но дети скажут: так ведь у нас в Польше уже создано социалистическое общество, в котором нет ни банкиров, ни торгашей, евреи занимаются тем же, что и все, почему же снова заговорили о евреях? Что мне ответить? Я много думал, но ответа не нахожу. Я не нашел ответа. Раньше я думал, что не существует особого еврейского вопроса, те, кто его ставят, — антисемиты. Теперь я понял, что те, кто отрицает существование еврейского вопроса, тоже антисемиты. Что же мне сказать моим мальчикам? Тут какой-то странный парадокс. Иногда мне приходят в голову такие мысли: может быть, антисемитизм не из-за евреев? Может быть, евреи со всеми их достоинствами и недостатками вовсе к этому не причастны, их выдвигают, о них вспоминают каждый раз, когда в мире назревает очередной кризис, когда идет острая социальная борьба. С марксистской точки зрения, это не совсем правильное объяснение. Но ведь и то, что писал сам Маркс об евреях, тоже уже ничего не объясняет. Что же делать? Где взять правильное объяснение? Никогда не думал я, что в конце жизни меня будут мучать подобные вопросы...

Его печальные глаза блуждали по коридору, по фотографиям автомобилей, по книжным полкам, одна из которых, ближайшая к нам, была вся заполнена русскими изданиями. Взглянув на корешки, я увидел "Счастье" Павленко, "Далеко от Москвы" Ажаева, "Кавалер золотой звезды" Бабаевского, "Избранное" Грибачева, Арк. Васильева... Я подумал: в этих книгах искал он ответа на свои сомнения? И дальше: он покупал те книги, которые часто упоминались в газетах и по радио. Он всю жизнь пил воду из одного колодца и только теперь почувствовал, что она не утоляет жажду. Что же ему делать? Можно сойти с ума от невозможности постичь главную ошибку своей жизни. Или он все еще считает, что никакой ошибки не было? Но как ему объяснить самому себе то, что с ним произошло?

Выйдя из квартиры Янины, я тихо шел по варшавским улицам. Всюду былолюдно и шумно, из открытых дверей кафе и закусочных пахло ароматным кофе и слышалось сердитое шипение кофеварок "Экспрессо", а из дверей костелов, как и накануне вечером, пахло тлеющим воском и доносились метал-

лические звуки органа и гнусавое бормотание церковных песнопений. Как и накануне, прохожие толпами заворачивали в двери каждого встречного храма, где шло непрерывное богослужение. Войдя вместе с другими в такую дверь, я услышал сильный, хорошо натренированный голос, гремящий под каменными сводами, — я пришел к проповеди. Проповедник в шелковой белой рясе с красными полосами был совсем еще молодой человек, в очках, с коротко остриженными волосами, но в его голосе чувствовалась твердость навыков, воспитанных веками католицизма, уверенность, что он изрекает неизблемые, еще никем не опровергнутые истины... В другом костеле царила тишина, несколько старух и стариков стояли на коленях, смиренно склонив головы и чего-то ждали. Раздался звон колокольчика и они все встали, у алтаря снова захлопотали патеры в черных, белых и алых рясах, и я снова услышал звонкие голоса, повторявшие слова старух, не меняющихся веками молитв... Все это немножко напоминало театрализованное представление, но вместе с тем митинг, организаторы которого твердо знали, чего они хотят; их не терзали сомнения, и они не думали о том, что происходит за стенами костела — что бы там ни происходило, они будут усердно исполнять свои ритуальные обязанности, произносить торжественные латинские слова, совершать положенное число коленопреклонений; они совершали их наверно и тогда, когда за стенами костела убивали, искренно полагая, что ничего другого они не могут и не должны делать, они ведь не несут ответственности за мирские дела; надев рясу, они отмежевались от греховного мира, их главная обязанность — блюсти церковный ритуал. Для веры, ставшей организацией, самое важное ритуал; впрочем, и для любой идеи, ставшей учреждением, важнее всего ритуал; видит Бог — оба ритуала — церковный и антицерковный тщательно соблюдаются в этом городе...

Я опять вдыхал весенний воздух Варшавы. Город готовился к празднику, всюду была толчея и давка; город уже вступил в праздник — жесты, взгляды, говор и смех прохожих говорили о празднике, но я не мог забыть старика, который, сидя в своей опустевшей квартире, тщетно ищет ответа на вопросы, предложенные ему под конец его деятельной и логически непогрешимой, неожиданно сваливающейся под откос жизни; всюду мне чудилась маска его бескровного, призрачного лица.

Я шел по праздничной Варшаве, и при ослепительном свете весеннего утра мне казалось, что над людными улицами плывут невидимые призраки и закидывают на город незримые сети...

И вот я разыскал незнакомую улицу и дом, где не бывал в свои предыдущие приезды в Варшаву, и, еще раз сверившись с адресом из своей записной книжки, робко нажал черную

пластмассовую кнопку под табличкой с знакомой фамилией, прикрепленной к входной двери. Вместо обычного непрерывного звонка я услышал мелодичные звуки, напоминающие игру на клавесине, производимые звонком нового типа, который уже начинает входить в моду и в Москве, так как он обладает по меньшей мере двумя преимуществами: устраняет тот пронзительный гудок, что невольно заставляет вздрагивать даже людей с безупречной совестью и, вместе с тем, внушает гостю некоторое представление о хозяевах квартиры, утонченных интеллигентах, любящих покой, уют и музыку. Дверь там, в Варшаве, открыл мужчина средних лет, с красивыми и тонкими чертами лица, на котором выделялись густые брови и нежные мечтательные глаза. Я, впрочем, знал, что они не отражают основную черту характера этого решительного и смелого человека, бывшего подпольщика и воина, прошедшего школу гражданской войны в Испании, а позднее, в годы второй мировой войны, дослужившегося до очень высокого звания в польском добровольческом корпусе, который вместе с советскими войсками штурмовал Берлин.

Не высказав ни малейшего удивления, что человек, с которым он когда-то познакомился в Москве, неожиданно-негаданно появился на пороге его варшавской квартиры — возможно, что он никогда в жизни не позволял себе открыто высказывать удивление или растерянность, — Рафаил радушно пригласил меня войти. И я прошел в сопровождении хозяина в небольшую, со вкусом обставленную комнату, где на письменном столе красного дерева стояли старинные бронзовые часы под стеклянным колпаком, а над диваном и столиками Бидермайер висели картины в стиле поп-арт, негритянские маски и тотемы. Даже телефон на столе был старинный — прелестное изделие из дерева, меди и резины, с эбонитовой трубкой, напоминающей миниатюрную граммофонную трубу. Не успел я сесть в кресло, обитое красным сафьяном, как за дверью раздался смех, и в комнату влетела девочка лет шестнадцати, в узких голубых брючках, а за ней мальчик-подросток, очень худой и долговязый, с веснушчатым лицом и черными блестящими глазами.

Увидев чужого человека, девочка мгновенно приняла скромный и послушный вид и сказала:

— Здравствуйте!

Я с удовольствием пожал ее тонкую, нежную руку. И она, и ее брат как-то очень хорошо подходили к уютной, изысканно обставленной квартире и производили впечатление вполне счастливых и довольных своей частью детей. Но я знал, что их отец еврей, и, как только дети вышли, я торопливо спросил:

— Как выживаете, Рафаил? Что у вас нового?

— Все хорошо, — ответил он бодро и поспешно, пожалуй, даже слишком поспешно. — У нас все хорошо. А у вас?

Я подумал: старик, у которого я был утром, преувели-

чивал? Что ж, в его положении это вполне возможно. Он придает слишком большое значение своей личной судьбе, а она сложилась неудачно. Такие люди, как он, склонны объяснять свои политические неудачи причинами, не имеющими отношения к их собственному поведению. Они хватаются за любое объяснение, как утопающий за соломинку. Якуб ухватился за свое еврейское происхождение и склонен видеть в нем причину всех своих бед. Но вот Рафаил тоже еврей. Значит, все-таки не в этом дело. Прошлое хозяина этой квартиры и теперь не подвергается сомнению; в одно и то же время совершались разные дела...

Мы пили кофе, который принесла девочка в голубых брючках, у нее были густые брови, как у отца, но еще более длинные ресницы и совсем другие — пестрые и веселые; улыбающийся и повидимому совершенно довольный жизнью Рафаил спросил, не соглашусь ли я поехать за город, в лес, его жена как раз отправилась в гараж за машиной, пока мы выпьем кофе и спустимся вниз, она наверно уже вернется.

Я сразу же согласился. Все, что я видел, подействовало на меня умиротворяюще. Мне нравилась квартира, старинная мебель, украшения и безделушки, свидетельствующие о вкусе хозяев. Мне нравились дети Рафаила. Мне понравилась и его жена — она встретила нас на улице у своего чистенького, сверкающего красной эмалью автомобиля иностранной марки. Мне нравились теперь и варшавские улицы, по которым мы мчались за город, перегоняя другие автомобили, тоже набитые людьми. Так что, когда мы остановились на какой-то проселочной дороге, чтобы подождать другую машину, в которой должны были приехать друзья Рафаила — он договорился по телефону еще до моего прихода — и я вдруг услышал его голос, строгий и многозначительный, совсем не такой, каким он был дома: "Ну вот, здесь мы сможем поговорить!", я все еще ничего не подозревал, пока он не добавил с горькой усмешкой: "Дома теперь лучше молчать".

Прежде чем я успел опомниться, он обрушил на меня целый каскад новых подробностей о тех самых событиях, о которых уже рассказал мне утром муж Янины. Рафаил, в отличие от Якуба, не терялся в предположениях, он называл вещи своими именами, он возмущался и обвинял. Он говорил, что антисемитская кампания польских газет напоминает разглагольствование о заговорах иудейской плутократии, которыми была в свое время заполнена немецкая нацистская печать. Об этом постоянно болтали Гитлер и Геббельс. Эти заговоры разоблачал Штрайхер. Ими воспользовались для уничтожения миллионов евреев, а также для оккупации десятка европейских стран, в том числе и Польши. Правда, с тех пор изменились некоторые слова: вместо *кагала* и *иудейского коммунизма*, облюбованных Геббельсом, теперь в ходу: *империализм* и *неоколониализм*.

лизм. Но никто не задает простейшего вопроса: какое отношение имеет неокOLONиализм к горстке уцелевших польских евреев? Никто не вспоминает о здравом смысле: Моше Даян угрожает Польше? Впрочем, и этот Даян тоже хорош. Кому нужна его политика силы? Отчего Израиль лишь повторяет слишком известные формы национального государства? Одной из самых характерных черт евреев был их протестующий дух, их участие в революции. Здесь в Польше, в России, да и во многих других местах евреи играли значительную роль в революции. Зачем же теперь обособляться и заниматься только собой? Это и эгоизм и вместе с тем очень опасно, ведь наше время принадлежит революции. Что может дать евреям Израиль, эта запоздалая попытка сбиться в кучу? Он может лишь стать причиной для новых форм антисемитизма. В век космических полетов и социализма не лучше ли евреям быть со всеми, не называться как раньше и окончательно разойтись?

Я слушал эти рассуждения с сложным и тяжким чувством. Мне понадобилось время, чтобы понять его до конца. В его возмущении сионизмом и государством Израиль была своя логика. Тот, кто внутренне отрешился от еврейства, ощущая враждебность окружающего мира, готов обвинить в этом самих евреев. Я знал, что это старый, очень старый ход мысли — государство Израиль для него лишь новый предлог. Я встречал евреев, одержимых чувством самообвинения и даже ненависти к своему народу, еще задолго до того, как возникло еврейское государство. Когда человек сам не осознает себя евреем, но другие ему постоянно об этом напоминают, это затрагивает "ахиллесову пятю" его души. У психоаналитиков такой комплекс, кажется, называется *вердренгунг*. Все это тоже продукт антисемитизма. Антисемитизм породил и такое парадоксальное явление: ненависть к евреям со стороны самих евреев. В довоенной Германии были евреи, которые верили, что в антисемитизме Гитлера повинны их соплеменники: еврей-коммунисты, советские евреи. Рафаил склонен искать причины новой вспышки антисемитизма в Польше в существовании Израиля. В начале сорок восьмого года, когда Израиль еще не было на карте, в Москве начались аресты евреев. В чем была причина? На это обычно отвечают: "Тогда причина была в Сталине, в его жестокости, в его безумье". Может быть, и так. Но позволительно спросить: почему столь разные причины приводят к одному результату?

Рафаил был полон ярости. Но он был беспомощен, как и Якуб. Он тоже, в сущности, только задавал вопросы, но не находил на них никакого ответа. Ответа у него не было, как и у мужа Янины. Слушая его, я вдруг обнаружил в нем сходство с Якубом. На мускулистом, решительном лице этого еще не старого человека, я обнаружил знакомые тени страха, я видел их утром на высохшем лице старика, кутающегося в свой халат,

в холодной и опустевшей квартире, которую он боялся потерять под конец жизни. Я подумал: Рафаила мучают мысли о прошлом? Может, и он замешан в какие-то дела, которые теперь уже и официально принято считать ошибочными?

Он продолжал говорить, и я вскоре понял, что к тому прошлому, которое угнетает Якуба, он, Рафаил, непричастен. Правда, и он занимал в прошлом высокое положение, но ни в чем не может себя упрекнуть. Он был равнодушен к привилегиям власти. Он усердно, достойно и правильно исполнял свои обязанности, считая что власть — это бремя, накладывающее на него большую ответственность. Он не думал о себе, а только о переделке жизни и создании лучшего общества. Но когда ему напомнили о том, о чем он никогда прежде не думал и что считал самым несущественным и случайным фактом своей столь богатой биографии — еврейском происхождении, — это сразу спутало все его привычные представления. Этим напоминанием у него отняли веру в правоту и разумность всего того, что он делал в течение всей своей жизни. Способный раньше на самые смелые действия во имя будущего, он потерял энергию, волю, весь облик. Он жил теперь как во сне. Сверкающая заграничная автомашина, старинная мебель и все то, что я видел у него на квартире, все это были лишь обломки уже потерпевшего крушение, уже пошедшего ко дну корабля его жизни, вместе с которым потонула его вера в разумное переустройство мира. Но остались слова. Общие слова и отвлеченные понятия — лучшее средство избавиться, защитить себя от необходимости увидеть действительность такой, какая она есть, признать истину до конца. Он и теперь предлагает евреям отдавать весь жар своего сердца революции, хотя узнал на собственной шкуре, чем это кончается. Он дрожит от страха, но его все еще больше всего на свете пугают слова: национализм, национальное государство, словом все то, к чему нельзя применить слова — прогрессивный или прогрессист...

Он не сводил с меня вопрошающего, пронизывающего насквозь, требовательного взгляда. Он как будто требовал у меня ответа на свои собственные сомнения и вопросы. Но что я мог сказать ему в утешение? Я мог сделать лишь одно: задать вопрос, который суммировал бы все остальные вопросы, которые он задавал себе сам. И я спросил:

— Как вы объясняете все, что здесь у вас происходит? В чем причина?

— Причина? — переспросил он быстро и даже как будто с дрожью. — Вы хотите знать причину? Но в том-то и дело, что я сам ее не понимаю. Я не знаю причины. Вернее, я знаю множество причин. Каждый, с кем еще можно откровенно разговаривать, называет другую причину. Один говорит — причина в том, что хотя Гитлер умер, но все, кто пережил гитлеровское время, заражены его духом; оккупация ни для кого не прошла даром,

убитые мертвы, но оставшиеся в живых, те, кто закрывал глаза и умывал руки, — больны. Другие ищут причину в событиях на Ближнем Востоке. Израильтяне побили арабов, что вызывает бешенство у победленных и дает хорошие шансы тем, кто выступает против Израиля и израильтян, завоевать симпатии арабов и закрепиться в арабских странах. Но можно назвать и другие, совершенно особые причины. Многие убеждены, что главная причина последних событий в Польше — генерал Мочар. Так зовут нашего министра внутренних дел. Он как будто хочет занять место Гомулки, поэтому ему на руку кампания о сионистской угрозе Польше. Я привык рассматривать борьбу за власть как отражение классовых интересов. Но нельзя закрывать глаза на то обстоятельство, что людям, рвущимся к власти, как и тем, кто хочет во что бы то ни стало оставаться у власти, выгодно изобретать врагов. Под шумок о вражеских кознях сионистов можно снять с должностей не только евреев, их мало осталось, но и неевреев, и заменить тех и других своими сторонниками. Словом, борьба с сионизмом может означать все что угодно. Позвольте спросить вас: в чем главная причина? Я изложил вам несколько гипотез — выберите любую. Лично я не в состоянии назвать основную причину...

Но он продолжал говорить о причинах. Я затронул его болезненное место. Самую нестерпимую боль причиняли ему уже не обманутые надежды, не оскорбления, которые он вынужден был переносить, а непонимание причин. Откуда все это взялось? Как это началось? И продолжая размышлять вслух, перескакивая с одного на другое, он сказал, что к сороковым годам чувствовал себя победителем: зловещие силы, против которых он смело пошел в бой голодным, оборванным юношей — фашизм, эндеки, польская буржуазия, — все они были повержены. Но теперь, когда ему перевалило за пятьдесят, он начал понимать, что не одолел врага, о котором прежде не думал, так как за его спиной не стояло ни мощной организации, ни армии — врага, достойного лишь презрения, поскольку он домогался того, что каждый истинный революционер глубоко презирает: жирной пищи и мещанского преуспеяния. И вот, перед этим последним врагом, который после победы над главными врагами вдруг оживился, стал вылезать изо всех щелей, принимая самые неожиданные обличья, Рафаил оказался бессильным. Он был бессилен перед будничной жизнью и реальными, окружающими его людьми, среди которых первое место занимали теперь "революционеры после революции" — мещане и ловкие дельцы. Из-за них ему пришлось уйти с высокого правительственного поста, но он об этом не жалеет, так как сразу же окунулся в другую деятельность. С юных лет он увлекался историей, но тогда у него не было времени изучать ее ходы и лабиринты, ему казалось, что он сам призван делать историю. Теперь, он довольно быстро получил первую ученую степень и

стал готовить работу, которая должна принести ему докторское звание. Однако и научная деятельность не спасла его от столкновений с тем же, ранее не замеченным и не понятым врагом, который успел свить себе уютное гнездышко и в храме науки. Отсутствие таланта, воображения и работоспособности этот враг заменил словами, декларациями. По иронии судьбы это были те самые слова, которые Рафаил употреблял когда-то в счастливом озарении, рискуя своей жизнью и свободой. Слова взяли на вооружение те, кто никогда в них не верил. Как странно: в буржуазное время обыватель, всецело занятый добыванием жирных кусков, редко участвовал в общественной жизни. Обыватель любил сидеть дома, в своей норе, куда свозил все, что удавалось раздобыть. Теперь обыватель стал активистом, он не только посещает все собрания, но и горит всюду выступить, попасть в бюро, комиссию, инициативную группу. Именно те, кто главным в жизни считает личную выгоду, произносят речи об интересах коллектива, а малограмотные невежды, начисто лишённые духовной жизни, радеют за культуру и прогресс. Всех их нетрудно узнать по тому, как они повышаются по службе. Иных можно узнать даже по внешности: они плотные, дородные и малоподвижные, точно большую часть жизни провели на четвереньках; у них мясистые, толстые лица, апоплексические затылки, двойные подбородки и маленькие глазки, ничего не выражающие, кроме сытости и хитрости. В устах таких людей благородные слова о народе, обществе, светлом будущем — это пароль, открывающий перед ними кассы, склады и кладовые, где можно пожить и хапануть какой-нибудь кусок. Эти люди стали великими знатоками лозунгов, мастерами шаблона, фанатиками ритуала, прекрасно понимая, что его соблюдение их ни к чему не обязывает — не все ли равно, какие произносить слова? И вот карьеристы и корыстолюбцы разглагольствуют о классовом подходе, а паразиты о производительности труда. Какой странный парадокс: призывать к труду стало средством не трудиться и ничего не производить самому! За произнесенные вовремя, по утверждённому ритуалу слова получать пайки и должности! Слова окончательно обернулись против таких людей, как Рафаил. Он и сам стал жертвой слова. Кто он теперь? Еврей. Следовательно, потенциальный сионист и враг Польши, той самой новой Польши, ради создания которой он отдал все свои силы. Годы войн и тяжёлых испытаний прошлого кажутся ему теперь идиллическим временем, тогда все было ясно и просто, и он не ведал страха. А теперь он думает о том, что его могут выгнать из института, где он преподаёт историю, и что заодно с ним уволят его жену. Он приходит в отчаяние от мысли, что перед его детьми закрыт доступ в университет...

И он строго, с глубоким убеждением, заключил свои рассуждения так:

— Не знаю, правильно ли я объяснил вам причины того, что у нас происходит. Я уверен лишь в одном: я бессилён, совершенно бессилён что-нибудь изменить.

И он откинулся на сидение и не произнес больше ни одного слова, пока не приехали его друзья. Они подъехали на новеньком "Опеле" василькового цвета, муж и жена, оба крупные, довольно плотные, прекрасно одетые, и, насколько я понял, оба поляки, великолепно устроенные и отнюдь не опасаящиеся за свое будущее.

Оставив машины у какой-то лавченки в ближайшем селе, мы отправились все вместе на прогулку, сначала по бедной улочке, мимо бедных деревенских домиков, садов, лающих из-за заборов собак и визжащих ребятишек, играющих в мяч на черной от угольного шлака площадке, потом по бедному полю и просеке тощего леса, усыпанной вместо хвои той же угольной пылью. Все, что я видел, вызывало тоску, но мои спутники уверяли, что всему виной запоздалая весна, обычно в это время просеки уже зарастают свежей травой, а воздух здесь чист и душист.

— Спросите его, — сказал Рафаил, показывая на идущего впереди друга, — он хорошо знает эти места, он здесь партизанил.

— В этом лесу? — удивленно спросил я.

— Да, да, мы ведь на опушке, а там дальше начинается настоящий лес, даже бор — огромный и густой...

Когда мы возвращались и проезжали по еще более оживившимся к вечеру улицам, все время видя то сбоку на тротуарах, то впереди на перекрестках толпы пешеходов, женщины, ведущих за руки своих детей, возбужденных подростков, обгоняющих друг друга, степенно прогуливающихся девочек и все другие картины мирной городской жизни, Рафаил вдруг удивленно поднял веки и сказал:

— Смотрите — все нормально! Как будто ничего в городе и не происходит. Так будет, даже если нас не только выгонят с работы, что бы с нами ни случилось, на улицах вы ничего не увидите. Жизнь будет продолжаться, как ни в чем не бывало. Все нормально...

Это были последние слова, которые я от него услышал прежде чем мы расстались у подъезда моей гостиницы, и они преследовали меня весь остаток дня, а потом и вечером, в кафе на Новом Святе, где я с трудом нашел свободное место и оказался соседом двух молодых негров, в светлых клетчатых пиджаках, красных рубашках и ярко-желтых ботинках, оба рослые, здоровые, с грубыми чертами лица, с усиками и бакенбардами; если бы не черная кожа, их можно было бы принять за налетчиков из одесских рассказов Бабеля. Чернолицые молодые люди сидели в компании двух польских девушек, одетых очень бедно, в голубых блузках, коротеньких юбочках и сетчатых

чулках, туго обтягивающих их уже вполне развитые ноги и бедра. Девушки ели пирожные и беспрестанно хихикали, кавалеры тоже притворно ухмылялись, но думали о чем-то своем и, объясняясь с девушками жестами, все время как бы нечаянно притягивались к их коленям своими длинными черными руками с длинными костлявыми пальцами, как будто сошедшими с картинки американского комикса. Я смотрел на эти черные руки, руки — самцов, руки — ужас, в которых не было, в сущности, ничего ужасного: они выражали мужскую силу и чувственность, рожденные в другом климате, на другом континенте. Я смотрел на других молодых людей и на других девушек, сидящих в свободных позах, чаще всего закинув одну на другую свои длинные ноги и задрав кверху свои и без того коротенькие юбочки, так что со стороны казалось, будто все эти девицы пришли сюда совсем без юбок. И слушая раздающийся вокруг меня то веселый, то похотливый смех и говор, которого я не понимал, я все повторял про себя слова Рафаила: "Все нормально", как будто в этом городе ничего необычного не происходит, все абсолютно нормально!

Поймав на себе взгляд одного из негров, я подумал: а что если он узнает во мне еврея? Я понимал всю вздорность такого предположения, вряд ли молодые негры что-нибудь знают о евреях, а если и знают — какое это имеет значение? Но я понимал и то, что уже сам попал под гипноз страха, мучающего и Якуба, и Рафаила.

Счастливые и глупые девушки продолжали обжираться пирожными и хихикать, слушая, как их сексуально-озабоченные кавалеры что-то шептали им на ухо, на своем непонятном африканском языке. Но мне уже казалось, что все то, что я вижу, имеет и другой, непременно зловеющий смысл. Ясно было, что отныне я не найду себе места пока не выясню всю правду о событиях и фактах, о которых рассказали Рафаил и Якуб. Раз уж меня заразили старым страхом, то лучше будет, если я попытаюсь понять все до конца. Но как узнать правду? Для этого нужно было поскорее встретиться с Яниной. Мне ведь ничего не мешает выехать к ней хоть завтра...

Вернувшись в отель, я попросил портье заказать для меня билет в Краков на другой же день.

...Свентокристка кончилась. Нигде ни одного прохожего, ни одного милиционера, никого, кто мог бы указать, где здесь синагога. А впрочем, вряд ли кто-нибудь знает.

Я уже не сомневался, что опоздал на пасхальную службу, услышать которую я, впрочем, совсем не стремился. Меня вела в синагогу гайная надежда получить приглашение в еврейскую семью на пасхальный ужин, на *сейдер*. Я знал, что по еврейским традициям, привести в дом приезжего на праздничный ужин считается богоугодным делом. Я вспомнил, как сидя у

праздничного стола, с нетерпением ждал знака, что уже можно броситься к двери и одним ловким рывком открыть ее настежь в темный коридор, из которого веяло прохладой весенней ночи, в то время, как отец провозглашал громко и нараспев: *Колгихфин йойсе взойшел* — кто нуждается, пусть войдет и ест и пьет вместе с нами... Но кто мог войти в наш бедный дом в час, когда все евреи нашего маленького, захолустного городка сидели по своим домам и правили свой сейдер? Однако Варшава большой город. Хотя здесь наверно осталось не так много евреев, вполне возможно, даже вероятно, что я получу приглашение на сейдер. Это мой последний шанс обрести ясность, разобраться в том, что здесь происходит с евреями, с настоящими евреями, а не только с теми, кому напомнили, что они евреи.

...И поездка в Краков сулила мне возможность обрести ясность и успокоиться после печального опыта первых варшавских дней. Из Кракова я должен был сразу же выехать в Закопане, где жила Янина. Чем больше я о ней думал и, особенно, о той почти неправдоподобной полосе ее жизни, которая раскрылась для меня уже тогда, при нашем знакомстве в Крыму, тем увереннее я приходил к выводу, что только она, свидетель всего самого страшного, что случилось с евреями и неевреями в последнюю войну и победившая страх, может развеять психоз, который захватил меня после встречи с Якубом и Рафаилом.

И вот я в Кракове и снова увидел знакомую краковскую старину, прекрасную площадь Рынка — центр гармоничного мира, полного великолепных архитектурных памятников: серые каменные ряды Сукеницы, древний Мариацкий собор, грубые, воедино слитые дома разных эпох и стилей, каменные фонтаны и среди них то появляющаяся, то скрывающаяся за блестящей трепетной завесой голубиных стай ржавая статуя Мицкевича. Задрав голову кверху, я увидел на башне Мариацкого собора маленького человечка с трубой, появляющегося там каждый час, чтобы отметить течение времени, равнодушно продолжающего свой бег уже третье или, кажется, даже четвертое столетие, с той минуты, когда оно остановилось навсегда для стражника, в честь которого сохранился этот ритуал, оно застряло в его горле под видом стрелы, пущенной меткой рукой одного из всадников войска, неожиданно атаковавшего город. И после перерыва в несколько лет я снова услышал мелодичный сигнал тревоги, посылаемый с чешуйчатой древней колокольни, и он отозвался в моем сердце щемящей тоской, потому что он прозвучал уже не только как напоминание о быстротекущем времени; теперь к этому примешивалось и предчувствие беды: время проходит, но беды возвращаются.

Я опоздал к последнему автобусу в Закопане и весь вечер бродил по Кракову, рассматривая его древние дома с крутыми крышами, заходили в старинные подвалы, занятые под ка-

фе, бары и "пивницы" с хмельным медом, который подавали в деревянных чашах прелестные молодые официантки в холщевых вышитых платьях и высоких старинных шляпках... В одном подвале оказался выставочный зал. На фоне замшелых камней, обточенных в мрачные средние века, я увидел загадочные изделия современного искусства: конструкции из жести, фанеры и старого железа, узлы из морских канатов и ржавой проволоки, холсты, измазанные буйными красками. Я не чувствовал ничего, кроме растерянности и недоумения: что это такое? Что могут выражать эти сваренные вместе канализационные трубы? Какие предметы изображены на этих картинах? Я долго все это рассматривал и вдруг почувствовал свою тайную связь с непонятными экспонатами. Может быть, и впрямь все эти скульптуры и картины нелепы, но разве можно требовать от искусства, чтобы оно было яснее и гармоничнее жизни? Что видели на своем веку последние поколения европейских художников? Войну и концентрационные лагеря, крупных и мелких диктаторов с их безоговорочными указаниями и непогрешимыми изречениями, насилие, проникавшее во все поры общества... Мне открылись в этих вещах мучение и страх, тайный и явный бунт против действительности, смутная тоска по любви и свободе, память о счастье, испытанном, быть может, еще до рождения. В каждой картине таился вопрос, в каждой скульптуре — загадка и дикая тревога. Но тревога и мучительные вопросы были и во мне самом...

И они оставались со мной и по пути в Закопане.

Я сел в автобус, идущий из Кракова в Закопане, в ранний час, когда первые блики солнца заблестели на готических крышах города. А когда автобус вырвался из обжитых, тесных улочек старого Кракова на просторное современное шоссе, слева от него вдруг возникли величественные стены и башни Вавеля, резко освещенные солнцем, похожие на мираж, сохранивший навеки образ того великодержавного сна, что приснился здесь кому-то в очень давние и смутные времена.

В автобусе царил непринужденная атмосфера пикника: пассажиры постарше извлекли из своих сумок бутерброды и фрукты и принялись завтракать, а юные мальчики и девочки, отправляющиеся на какую-то экскурсию, веселились вовсю и возбужденно обменивались впечатлениями, хотя еще никуда не приехали... Соседнее со мной кресло занимал молодой, но уже изрядно облысевший блондин, в очках, в черном пиджаке и белой сорочке с расстегнутым воротничком; он держал на коленях раскрытую книжку небольшого формата, написанную по латыни. Я подумал: он преподаватель-латинист? Или, быть может, католический священник?

— Я патер, — подтвердил он мою вторую догадку, когда мы разговорились во время остановки автобуса. Я живу в Ченстохове, но каждые две недели бываю в Закопане. Там есть женский монастырь, где я читаю лекции.

Он не знал русского языка, но прилично говорил по-немецки. Охотно отвечая на вопросы, он вскоре нарисовал мне картину другой жизни, протекающей в ином измерении и волнующейся другими заботами, чем те, о которых мне поведали в Варшаве. Несмотря на то, что он имел дело с религиозными таинствами, слепой верой и даже с чудесами — он служил в соборе, хранящем знаменитую чудотворную икону Ченстоховской Богоматери — или, может быть, именно благодаря этому обстоятельству, молодой паптер рассуждал о своей стране и своей профессии как трезвый политик, стоящий обеими ногами на земле, не отрицающий действительности и упрямо ищущий путей приспособления к новым обстоятельствам.

— И при социализме можно посвятить себя Богу, — сказал он с твердым убеждением. После четверти века социализма у нас восемьдесят процентов населения — верующие. Среди молодежи их меньше, но тоже процентов шестьдесят, — продолжал он тем же спокойным и твердым голосом... Потом он все же сказал, что государственный атеизм представляет опасность в будущем, в неопределенном будущем — он употребил французское выражение: "а ля лонг". А пока, церковь при социализме имеет даже некоторые преимущества. Там, где много политической свободы, там много и равнодушия и лицемерия, там церковь связана властью денег и темным общением с сильными мира сего, которые понимают эту связь как разрешение на грязные сделки и мародерство. При социализме этого нет, священники не отправляют службы в присутствии высоких чиновников и политиков, ни один государственный акт не прикрывается крестом... После небольшой паузы он заключил эти рассуждения, чуть-чуть улыбаясь: — Есть, наконец, еще одно обстоятельство, которое способствует успеху церкви при социализме. Коммунистические организации мобилизуют своих членов на разные битвы и кампании, они карают непокорных, предадут их остракизму. А церковь прощает всех, кто нуждается в прощении, и кто бы в церкви ни покался, ему отпустят эти грехи. Иисус любил все стадо человеческое...

Я спросил — любит ли церковь и тех, кто исповедует другую веру, например, евреев? Как она к ним относится, после всего того, что с ними произошло? Лицо моего собеседника неожиданно вспыхнуло, и он ответил, что ему больно и стыдно говорить о евреях. Честно признаться, ему бы хотелось забыть об их судьбе, но забыть невозможно. Церковь, конечно, отмечевалась от ужасных убийств, но кто может сказать, что она не несет долю вины в трагедии евреев? Впрочем, все, что случилось с ними, выше нашего разума, история и судьба евреев — тайна. Один еврей — Вальтер Ратенау, который считал себя больше немцем, чем евреем, он и погиб от рук немецких убийц, говорил в начале века примерно следующее: "Знаете ли вы, зачем мы, евреи, пришли в мир? Чтобы каждое челове-

ское лицо призвать к Синаю. Если я вас не призову, вас призовет Маркс. Если Маркс вас не призовет, вас призовет Спиноза. Если Спиноза вас не призовет, вас призовет Христос. Если Христос вас не призовет, вас призовет Моисей". Но можно задать вопрос: неужели Бог дал этому народу такие духовные откровения лишь для того, чтобы он оплатил их вечной мукой?

— Не знаю, не знаю, — сказал патер. — Я простой священник и я могу лишь сказать, что я люблю евреев. Если б не было евреев, не было бы и христианства. Но я люблю евреев и за то, что они евреи. Только могущество всеобъемлющей любви может помочь истинным христианам вынести тяжелую участь евреев...

В автобусе было шумно от веселых голосов юных курсантов, а за окнами мелькали грустные пейзажи польского предгорья, бедной страны, где деревянные, потемневшие от дождя и ветров домики с одинаковыми балконами на втором этаже перемежывались с каменными постройками казарменного типа, а вдоль горных речушек с хрустально прозрачной водой, обнажающей белые камни, лежали кучи угольного шлака, и все это тонуло в черных клубах дыма, валящихся из высокой трубы старенькой "кукушки", медленно бегущей по узкоколейке, проложенной вдоль шоссе.

Посмотрев в окно, мой спутник сказал:

— Вы здесь впервые?

Я ответил, что уже бывал в Кракове, но в Закопане еду в первый раз.

— Краков — сердце страны, — сказал патер. — Весь район Кракова очень характерен для Польши. Не случайно в этом районе находится Ченстохова.

Я напомнил:

— И Освенцим.

Он строго подтвердил.

— Да, и Освенцим — в сорока километрах западнее Кракова. Но Освенцим лишь географически находится в Польше. То, что совершено в Освенциме, сделано не поляками. Освенцим — дело рук дьявола...

Упоминание об Освенциме сразу же изменило ход моих мыслей. Молодому патеру Освенцим напомнил о дьяволе, а мне, как это ни странно, о Янине, которую мне предстояло увидеть в то же утро, в Закопане. Впрочем, в этом не было ничего странного. Думая о Янине, я и раньше частенько вспоминал Освенцим, но старался подавить эти ассоциации и не воскрешать лишний раз острую боль жалости, которую я испытал в тот, уже давно отошедший в прошлое день, когда я вынужден был в первый раз связать милый образ польской знакомой с названием самой страшной географической точки Польши. Но теперь, проезжая по одной из дорог района, где за каждым холмом, где-то очень близко, может быть, вот за этой березовой

рощей и железнодорожной насыпью лежало то ужасное поле с точно такими же ничем не примечательными деревьями и рельсами, ведущими к железнодорожному полустанку, отличающемуся от всех других полустанков на земле тем, что здесь обрывались все пути, за этим полустанком была только одна дорога — в смерть, я уже не мог справиться со своими воспоминаниями.

И я без всякого усилия вспомнил жаркое июльское утро на берегу Черного моря, когда мы всей нашей маленькой компанией сидели на пляже крымской бухты, а наша новая знакомая, Янина, всего лишь два дня назад приехавшая из Варшавы, загорелая и веселая, в красивом синем купальнике поверх которого был накинута белый мохнатый халатик, рассказывала нам смешные польские байки, расточая свою чудную улыбку и заменяя недостающие ей русские слова оживленными жестами своих полных, загорелых рук. В тот самый миг, когда она сказала, что пора прекратить болтовню и идти купаться, и скинула свой халат, мне вдруг померещилось, что на ее обнаженной левой руке, чуть выше запястья, видны какие-то знаки, похожие на старую, уже расплывшуюся по золотистой от загара коже татуировку; не рисунок, а как будто номер из пяти цифр... *Номер концлагеря?* — ужаснулся я, но тут же отбросил эту совершенно неправдоподобную мысль. А ровно через два дня именно это и подтвердилось.

Был светлый лунный вечер и как-то случилось так, что мы отправились с Яниной вдвоем на прогулку по берегу моря. Мы шли по извилистой тропинке, которая петляла по каменной обрыву над морем, и любовались полной луной, сияющей в прозрачном небе, светлым фосфорическим туманом, заполнявшим горные впадины и ущелья. Когда дорога сузилась и надо было лавировать между камнями, беспорядочно разбросанными по обе стороны, я взял Янину за руку и сразу же увидел следы татуировки. При лунном свете они выступали отчетливо, я теперь уже не сомневался, что это номер. От моей спутницы не скрылось мое замешательство, и она поняла его причину.

Мы были одни в огромном ночном мире — она и я, а под нами широкая равнина моря, отполированная до глянца лунным светом... В ту ночь я впервые узнал, какая тоска, какой ужас таятся в душе этой красивой и кажущейся столь беззаботной женщины, которая в юности, в лучшую пору своей жизни, прошла все круги гитлеровского концентрационного ада, в том числе — Освенцим. И хотя я много раз читал о подобных переживаниях, видел документальные кинофильмы об Освенциме и хорошо знал историю лагеря, рассказ Янины ошеломил меня: ведь она сама была в этом жутком месте, сама видела страшный огонь, бьющий из труб лагерных крематориев и чудом избежала ужасной казни. Слушая ее горькие воспоминания, я испытал такую острую, ни с чем не сравнимую жалость, что

уже не видел ни моря, ни полной луны, сияющей на пустом небосклоне, ни очертаний далеких гор, кажущихся необыкновенно четкими и близкими из-за яркого лунного света. Все, что нас окружало, вовсе не казалось мне красивым, а скорее зловещим. Однако сама Янина очень быстро вернулась к своему обычному состоянию, что поразило меня не меньше, чем ее рассказы.

Когда мы возвращались в дом, нам повстречался пограничный патруль, и маленький, худой старшина с длинными бачками строго предупредил нас, что находиться на морском берегу в поздний час запрещено. Глядя то на меня, то на Янину, старшина спросил ее:

— Это ваш муж?

— Муж? — переспросила Янина и весело рассмеялась. — Ну какая женщина отправится на ночь прогулку с собственным мужем?

Старшина заулыбался, а Янина продолжала разговор в том же духе и рассказала подходящий к случаю польский анекдот, от которого старшина захохотал уже во весь голос. Янина смеялась вместе с ним. Глядя на нее, я подумал, что эта страсть ко всему смешному не только защитная реакция против ужасного прошлого, это ее характер, ее натура; она родилась не для того, чтобы страдать, но она настрадалась, хватит — она не желает больше страдать и грустить, она хочет смеяться...

Мы приближались к Закопане. Тем временем мой спутник снова заговорил о Ченстокове, давая понять, что нельзя составить себе правильное представление о Польше, не учитывая традиций польского католицизма. Во всем, что он говорил, чувствовалась убежденность умного, хорошо образованного человека, искренне увлеченного своими занятиями, он сообщил, что выполняет не только обязанности священника, но и религиозного лектора и учителя катехизиса. Слушая его, я вдруг подумал: он ведь еще очень молод, следовательно, выбирал свою профессию уже после войны; почему же он предпочел церковную карьеру? На мой вопрос, заданный, разумеется, со всей деликатностью, он ответил:

— После всего, что я насмотрелся в годы войны, я перестал верить людям и решил служить Богу. Я искал истину и в восемнадцать лет считал, что истина в церкви...

В его ответе я уловил легкую горечь и спросил:

— А разве теперь вы думаете иначе?

Он вздохнул и сказал:

— Бог есть в церкви. Но в церкви есть и люди. Нельзя служить Богу, не имея дела с людьми. А всюду, где есть люди, есть и неправда, корысть, неразумие. Таков уж этот мир...

Цыганки в пестрых шалих, широких цветастых юбках и шлепанцах на босу ногу, виляя бедрами и позвякивая мониста-

ми, бродили по автобусной станции Закопане и, хватая приезжих за руки, предлагали за пару злотых тут же, не сходя с места, сообщить каждому его прошлое и будущее, предупредить о дорогах и встречах, о горе и радостях, словом, поведать ему всю его судьбу. А на площади перед станцией дожидались приезжих не только автобусы и такси, но и пролетки на высоких рессорах и резиновых шинах. Толстые извозчики в кожаных фартуках и клетчатых каскетках, мирно дремали на козлах, и все эти картинки, похожие на обрывки сладкого сна о далеком и полузабытом веке, несколько рассеяли печальные мысли, преследовавшие меня всю дорогу. Мне понравились и улицы Закопане — прямые и широкие, карабкающиеся ввысь, застроенные деревянными и каменными особняками с палисадниками без заборов, с острыми крышами, за которыми видны были горы — непрерывная волнистая цепь с округлыми вершинами, покрытыми снегом.

Что ждет меня в этой чудесной долине? Неужели я и здесь столкнусь с тем же водоворотом тревог и сомнений, с новыми печалью и новыми страхами, о которых можно сказать только то, что сказал молодой патер, когда я невольно коснулся самого его больного места: таков уж этот мир?

Янина встретила меня без удивления. Я уже привык, что никто не удивляется моему неожиданному приходу, и понимал: это плохой признак, ясно показывающий, что люди находятся в тревожном ожидании каких-то решительных событий — все остальное их уже не может удивить.

Внешне Янина не изменилась. Я увидел все то же милое лицо, оживляющееся чудесной улыбкой, но сразу почувствовал в ней некую внутреннюю перемену, которая совершенно не вязалась с ее бодрим характером и живым ироничным умом: она стала рассеянной и какой-то таинственной. Прислушавшись к говору, доносившемуся со двора через открытое окно, и смею, она вдруг понизила голос и прошептала:

— Не говори громко. Это очень важно...

Комната, в которой она жила, маленькая, почти бедная, находилась на втором этаже небольшого, сильно запущенного деревянного особняка, превращенного в пансионат. Янина была вся в светлом. В светлой широкой юбке и белой кофточке ходила она взад и вперед по комнате, все время как бы к чему-то прислушиваясь, ожидая чего-то.

— Теперь я знаю, — серьезно и убежденно сказала она без всякого предисловия, — положительно знаю, что уже три-четыре года тому назад с нами хотели сделать то же самое, но тогда у них не вышло. И вот подоспело время, и они снова взялись за старый сюжет. Это важно понять...

Я ничего не понимал, а Янина, продолжая шагать по комнате с видом пойманного человека, мечущегося по своей камере, перешла к тому, что преследовало меня все эти дни, к тем

самым вопросам и загадкам, которые мучили меня с той самой минуты, когда, развернув в поезде за Брестом номер "Юманите", я прочел в нем непонятную и полную зловещих намеков корреспонденцию: "Операция по общественному оздоровлению в Польше". Янина преподнесла мне новую версию, новое объяснение этой *операции*, странный, почти фантастический рассказ с криминальным оттенком об одном мелком, но довольно известном в Польше политикане, старом антисемите и фашисте, которого, однако, крах фашизма не выбил из седла, он как-то сумел приспособиться к новым временам, доказать кому-то, что может быть полезным в новых обстоятельствах, но своему откровенному юдофобству тоже не изменил, так что когда его шестнадцатилетнего сына нашли зарезанным в развалинах одного варшавского дома, отец твердо решил, что это дело рук евреев, это могли сделать только евреи, из мести ему — отцу. И хотя вся эта история произошла давно, лет десять тому назад, а то и больше — человек этот, как уверяют те, кто хорошо его знает, все еще носит траур и довольно часто, чуть ли не каждые два дня, ездит на могилу сына, мучаясь звериной ненавистью к предполагаемым убийцам и вынашивая ужасные планы мести.

— Все думают, — заключила Янина, — что тут хитрая политическая комбинация. А на самом деле, в нынешней антисионистской антиеврейской кампании замешано безумие. Потому что пан Пясецкий, так зовут человека, о котором я рассказываю, — личный друг и советник министра внутренних дел, генерала Мочара. Патология играет в политику, но мир ничего не знает...

Какое отношение имеет эта история к ней самой? Неужели газетные статейки и толки о тайных политических махинациях мелких, корыстных политиканов, вызвали в ней страх? Она говорила о планах какого-то безумца и других предположительных событиях тем особенным, не свойственным ей в будничной жизни, глухим голосом, которым рассказывала мне когда-то в Крыму о своих ужасных переживаниях за колючей оградой Освенцима.

— Вы часто испытывали страх? — спросил я тогда, в Крыму.

— Нет, — решительно ответила она. — Кто боялся и слишком много думал о своем положении — умирал. А я научилась смотреть на себя как бы со стороны. Я испытывала сложное ощущение, напоминающее транс или галлюцинацию, когда ничего не видишь, ни о чем не думаешь, кроме того, что тебе предстоит сказать или сделать немедленно, в следующее мгновение. В таком состоянии нет места для страха, не таким бывает страх... В Освенцим меня отправили из тюрьмы Павяк, в сопровождении документов, по которым я значилась Зофьей Пшибышевской из Лодзи, схваченной за связь с подпольем. Ла-

герное гестапо заподозрило во мне еврейку, я решительно это отрицала — быть евреем в Освенциме означало почти немедленную смерть. Потом я заболела тифом и все равно должна была умереть. От тифа умирали обычно на одиннадцатый день, когда падала температура, начиналась ужасная слабость и сердце не выдерживало. Спасти мог иногда укол камфоры, укрепляющий сердце. Лагерные сестры располагали только одной ампулой в день, а больных десятки, иногда сотни — кому отдать предпочтение? Мне сделали укол, я даже об этом не знала, так как лежала в беспомощности. Очнувшись, я спросила: зачем вы отдали мне камфору, я ведь все равно погибну... Но одна девушка, которая работала в канцелярии лагеря, ее звали Валя, сказала: ты не умрешь, они уже поверили, что ты не еврейка, я сама слышала, как один из гестаповцев сказал: она не еврейка, она не боится... А когда я выкраду твои документы из канцелярии, они совсем о тебе забудут...

Через четверть века после этой сцены, о которой Янина тоже рассказала мне давно — лет восемь уже прошло с той лунной ночи в Крыму, — женщина, победившая страх в самом страшном месте на земле, все еще бодрая и здоровая, шагала взад и вперед по гостиничному номеру, где в открытое окно свободно входил чистый и прохладный горный воздух, но на ее лице застыло выражение тягостного, мучительного страха.

Я, наконец, заговорил, чувствуя, как у меня дрожат губы:

— Даже если эта дикая история с Пясецким вполне соответствует действительности, какое она имеет отношение к тебе? Чего ты боишься?

— Призраков, — ответила она серьезно.

— Не понимаю...

— Я тоже, — сказала она грустно. Иногда мне кажется, что все мы сошли с ума и видим призраки. А может, они действительно ожили? Слушай... У меня есть подруга Ванда. Всех ее родных, конечно, убили во время оккупации, но теперь у нее вырос сын, ровесник моего Янека. Накануне моего отъезда из Варшавы, она прибежала ко мне: "Что делать? Как мне спасти сына? Надо бежать!" Куда? Зачем? "Ты же видишь, что происходит: арестованных студентов выпустили всех, кроме евреев, евреев оставили в тюрьме. Нас всех убьют". Чушь — закричала я. Вздор, бред, глупости! Не может этого быть. "Тогда тоже так говорили: не может этого быть! Ты забыла? Тогда тоже так начиналось... Ах, боже, почему я не вывезла, не спасла своего сына!" Ты с ума сошла! Теперь ведь другое время, совсем другое. Это же не Гитлер, не немцы, не нацисты! "Тогда тоже так говорили. Неужели ты забыла? Тогда тоже говорили: глупости, немцы культурный народ, они не станут убивать невиновных". Я не смогла успокоить Ванду. Что я могла ей сказать? Она видела призраков. После четверти века они снова ожили. Они явились из царства мертвых, и от них веяло запахом смерти..

Янина замолчала и прислушалась к шагам, которые подошли к соседней двери. Когда щелкнул ключ и кто-то открыл соседнюю комнату, ее лицо просвегло.

— Наконец-то он вернулся, — сказала она. — Это Янек, его комната рядом. Каждый раз, когда он уходит из дому, я не нахожу себе покоя.

— А что ему угрожает?

— Если бы я знала! С того самого дня, когда мы прочитали в газетах вполне официальное разъяснение, что хотя и существуют хорошие евреи, в сущности, почти все евреи подозрительны и собираются погубить Европу, я не могу успокоиться — мне кажется, что угроза повсюду... Может быть, о Янеке мне и не нужно беспокоиться, он ведет себя осторожно, многих из его варшавских друзей арестовали во время студенческих забастовок, но здесь, в Закопане, было спокойно. И он не сказал на людях ни одного лишнего слова. Случалось, однако, что ночью он вскакивал с криком — его мучили кошмарные сны...

Я хотел спросить: он тоже видит призраки? Но я промолчал, а Янина продолжала:

— Меня больше беспокоит младший — Юрек. Он может ляннуть в школе то, что слышал дома. И я сама виновата — так я его воспитала. Я внушала детям иллюзии, говорила им после смерти Сталина, что теперь все отрицательное в нашей жизни исправится и будет построен истинный социализм. Я внушала детям надежду. Есть у евреев такая черта: всегда на что-то надеяться...

Мне снова захотелось прервать ее: почему у евреев? Но я снова промолчал и подумал: это бесполезно! Она уже попала в западню антисемитов, уже приняла их основную посылку: евреи не такие люди, как все остальные... Нет, это не западня, а скорее круг. Заколдованный круг без выхода. Стоит ступить в него один раз и хоть в одном единственном случае стать на точку зрения, что евреи совсем особые в отличие от прочих людей, как уже нет таких зловещих, совершенно противоположных и исключających друг друга черт, которые нельзя было бы приписать евреям:

...Они банкиры, торгаши, капиталисты, но они же революционеры, коммунисты, анархисты; они оплот порядка и они же заговорщики, стремящиеся всюду взорвать существующий порядок; они безродные космополиты и вместе с тем сионисты, крайние националисты; ради богатств и власти они отвергают мораль и религию, и они же религиозные фанатики, от правящие тайные службы и преступные ритуалы, они применяют в свой пасхальный хлеб кровь христианских младенцев; у них один Бог — деньги, один всемирный культ — золото, они же ставят превыше всего свои тайные духовные цели; они творят развращающее лживое искусство; они волки в овечьей шкуре; они интеллигенты; они изобрели еврейскую физику и еврейскую математику...

Довольно! Нет конца еврейским порокам. Но можно составить и список еврейских добродетелей. У евреев можно находить и добродетели и достоинства. Разумеется, *еврейские* добродетели и *еврейские* достоинства. Благочестивый папер, с которым я ехал в автобусе, любит евреев именно за то, что они евреи. Удивительное дело: одни осуждают еврея за то, что он еврей, другие ему это прощают, третьи даже хвалят его за это. И все об этом думают, все об этом говорят! Еврей!

А может быть, они правы — ведь существует же национальный тип и национальный характер?

Да, да, разумеется. Но в том-то и дело, что как раз евреев не так-то легко втиснуть в рамки единого национального типа. Убежденных юдофобов, еще задолго до появления штатных "экспертов по расовым расследованиям" гитлеровского министерства внутренних дел, ставило в тупик исключительное разнообразие еврейских лиц — светлых и темных, горбоносых и курносых, черноглазых, голубоглазых, сероглазых. Да и не может быть иначе у древнего народа, рассеянного по миру, у народа скитальца, веками кочующего по странам и континентам и вольно или невольно смешивавшегося с народами, среди которых он живет.

А еврейский духовный тип, так называемый еврейский ум, еврейская одержимость, дух противоречия и любовь к свободе, бунтарский дух, о котором говорили еще пророки: "У народа сего сердце буйное и мятежное", непокорный упрямый дух? И вечное еврейское беспокойство, столь неприятное обывателю: "...им больше всех надо?"... Да, все это есть, все это правда, но не *вся* правда, потому что рядом с этими чертами не так уж трудно обнаружить порой и нечто совершенно противоположное. Бог ты мой, каких только евреев не встречал я на своем веку; хотя мне и довелось много ездить по свету, я знаю лишь евреев России и Восточной Европы. Я видел евреев балагулов, водовозов, сапожников, евреев, считающих по пальцам. И евреев академиков, физиков, математиков, профессоров медицины. Я знал евреев, отдавших жизнь революции, и евреев, использовавших революцию для получения личных выгод. Я знал евреев праведников, фанатичных в своей доброты и любви к людям, трогательных в своей житейской беспомощности. Но разве не встречал я жестоких эгоистов, бездумных и неукротимых в своей жадности стяжателей, ничтожных в своих устремлениях мещан, которые тоже были евреями?

...Усилием воли я заставил себя увидеть одного из них, нашу последнюю встречу с ним в московском метро, которую я всегда вспоминаю с горечью и тоской, так поразил он меня тогда нервным тиком, которого я за ним не знал: он все время вертел головой, вызывая во мне смятение и острую жалость. Это нервное подергивание не имело никакого отношения к болезни, от которой он вскоре умер, но мне кажется, что оно бы-

ло проявлением истинной причины его ранней смерти. Болезнь вспыхнула в нем вскоре после одного потрясения, не значащегося в медицинских справочниках: человек этот, серьезный и талантливый писатель, не выдержал душевной боли и волнения, когда главный труд его жизни — пятидесятилистный роман — был у него отобран, изъят вместе с вариантами и черновиками вскоре после того, как он его закончил, перепечатал на машинке в четырех экземплярах и первый из них отдал в редакцию толстого литературного журнала, с которым у него был договор, совершенно не предполагая, что именно там, в редакции, найдутся тонкие ценители литературы, которые немедленно сочинят докладную записку куда надо, что и привело, в конце концов, к тому, что кто надо принял решение арестовать роман, то есть изъять его у автора, конфисковать, упрятать за решетку или в архивный ящик, где он будет отбывать бессрочную каторгу, потому, что романы, по мнению некоторых литературных и нелитературных чиновников, тоже могут быть преступными; преступление романа, о котором я говорю, состояло в том, что в нем была дана реалистическая картина жизни в сталинские годы и показано в художественных образах, что скрывается за абстрактно-туманной и официально апробированной формулировкой: культ личности...

А вот другой член той же московской писательской организации, литературовед и критик, автор посредственных статей о русской литературе, о котором после смерти Сталина стало известно, что он занимался и писанием доносов на других литераторов. Он был причастен к гибели людей, чьи имена живы и поныне, они вошли в историю литературы. Имена их, отчасти, сочинения остались, а сочинителей давно нет, они погибли в лагерях, умерли от дистрофии, цинги, от адского холода Воркуты или еще раньше, от побоев во время следствия, если они не соглашались сразу же сознаться в том, что писали великолепные стихи и талантливую прозу в целях маскировки своей деятельности на службе японской или других разведок. В то время, как эти несчастные принимали смертные муки, оклеветавший их коллега продолжал вести свою обычную, спокойную и комфортную жизнь, сочинять статьи на свою любимую тему: "моральный облик советского человека", получать за них гонорар и ходить каждый день обедать в полюбившийся ему интуристский ресторан, где мне его и показали однажды уже после того, как его история стала широко известной в литературных кругах.

Я видел, с каким аппетитом этот подлец ел осетрину по-московски, запеченную с картофелем в сметане, как лакомился он фирменным тортом "Националь". Уже после того, как вернулись из ссылки два или три литератора из числа тех, на кого он доносил, чуть живые, с желтыми, отечными лицами сердечников и язвенников, доносчик продолжал есть осетрину

по-московски и бульон в кастрюльке в интуристском ресторане и писать в журналах статьи о великих правдолюбцах русской литературы: Герцене, Белинском, Толстом.

А ведь этот негодяй — еврей, с внешностью, которую принято называть типично-еврейской, и с типично-еврейской фамилией. И многие из загубленных им литераторов были евреи. И автор репрессированного романа — еврей. Что общего между этими людьми? Можно ли обнаружить в них одну единственную особую черту, которая была бы следствием их еврейского происхождения? Разумеется, к этому вопросу можно подойти и иначе: не в отдельном еврее, а в целой группе, в целой общине и ее истории выразились некие общие признаки еврейства. Можно написать и уже написано немало философских и исторических сочинений, пытающихся определить основные идеи иудаизма, наиболее часто выраженные в истории черты еврейского характера. Выводы этих трудов противоречивы, в них есть и правда, и сомнения; бесспорно доказывают они, пожалуй, только одно: страсть к схематизации их авторов. Но можно ли назвать даже эту черту еврейской? Не есть ли это старое как мир искушение всякой разумной мысли?

...Голос Янины прервал мои безмолвные рассуждения. Все еще стоя у окна и глядя на далекие заснеженные вершушки гор, она сказала:

— Я уже совсем не знаю, кого и чего мне следует бояться, поэтому я боюсь всего... На днях я как-то зашла в комнату Янека и застала в ней чужого человека. Я испугалась: "Кто вы такой?" — "Из милиции", — ответил он спокойно. "Здесь живет такой-то?" "Да, а вам что надо?" "Почему он не явился на медицинский осмотр в военкомат?" Позднее выяснилось, что Янек получил повестку, но перепутал число. А я вся покрылась потом, этот человек был для меня призраком, который будил страх... Она снова прислушалась к звукам открываемой и закрываемой двери соседней комнаты и сказала: — Вот, он идет. Посмотрим, узнаешь ли ты его...

Он вошел в комнату матери, бережно неся на вытянутых руках большой плакат, нарисованный гуашью. Он был высок, необыкновенно худ, с маленькой головой, отягощенной тяжелой шапкой давно не стриженных, черных, слегка курчавящихся волос. Глядя на его загорелое лицо с большим горбатым носом, на румяный рот с тонкими губами, над которыми пробились черные, пока еще реденькие, усики, я подумал, что в нем уже ничего не осталось от того неуклюжего и застенчивого подростка, которого я помнил.

Взглянув на плакат, я увидел женские фигуры, бегущие друг за другом, все одинаковые, но раскрашенные в разные цвета — синий, красный, зеленый, фиолетовый; в руках у каждой женщины была дамская сумка, нарисованная вполне реалистически со всеми деталями.

— Вот, мама, мой проект рекламы для сумок, — сказал он вместо приветствия.

— А что ты напишешь на плакате? — спросила Янина.

— Что-нибудь очень простое, например: "все в сумке".

— Очень хорошо, — сказала Янина и, обернувшись ко мне, спросила:

— Тебе нравится?

— Очень.

— Янек учится в художественной школе, — объяснила Янина. — Только бы ему дали ее закончить... Ну, хорошо. Вы тут потолкуйте, а я пойду выяснять, не найдется ли в пансионате свободной комнаты, чтобы тебе не нужно было сегодня же возвращаться в Краков.

Я остался наедине с Янеком. Он принес альбом и стал показывать свои эскизы и рисунки.

Я спросил:

— Ты будешь декоратором или графиком?

Он ответил печально:

— Не знаю. Декоратором можно работать только в штате.

— А разве ваша школа не распределяет учеников после окончания курса?

— Так было раньше... А что будет теперь, особенно с такими, как я, пока неизвестно.

И тут я понял, как глубоко проник в его сознание микроб, оживший в душе Янины. Этого долговязого парня, отрицающего усики и курящего сигарету за сигаретой, о котором мать сказала: "Он уже не только курит, он все делает, но бабушкой он меня еще не сделал", на что сын усмехаясь сказал: "А откуда ты знаешь?" — страх терзает даже еще глубже, чем Янину, потому что ничего у него нет, кроме этого страха и неверия. То, во что верили родители, кажется ему начисто лишённым смысла, а другой веры он не приобрел. Ничего успокоительного не вошло в его душу, когда ее стали терзать безответные вопросы, жажда смысла и древний страх смерти. Конечно, можно жить и без идей, попросту отдаваться опьяняющему потоку жизни, но для этого нужно было родиться в другое время и в другом месте. Мне казалось, что этот молодой человек боится не только воскресших призраков — он боится жить.

И все же я не жалел его, меня злило, что он так молод и уже малодушен. И я насмешливо спросил:

— Чего ты собственно боишься?

— Всего, — ответил он удрученно. Разве мама вам не рассказала?

— Рассказала... Но ведь тебе двадцать лет. Ты мужчина. И в тебе два метра росту.

— Они могут меня укоротить, — сказал он с печальной усмешкой.

— Кто? — воскликнул я. — Какая чушь! Неужели ты трус? Твоя мама в двадцать лет попала в ад, но сумела побороть страх и выжить, — продолжал я, но тут же спохватился и подумал: вот этого не нужно было говорить; он чувствует себя слабым и беспомощным как раз оттого, что вырос в семье, где отец и мать вынесли в молодости ужасные испытания, он слышался обо всяких притеснениях, о том, что было, и о том, что может быть... И вот, когда родителям показалось, что опять наступает смутное время, снова начинается водоворот страданий и потрясений, через которые они уже однажды прошли, их страх заразил и детей, он прилип к ним, как семейный запах, который не так-то легко вытравить.

Мы немного помолчали, потом Янек спросил:

— Вы разве не думаете, что это может повториться?

Я рассердился:

— Если ты этого опасешься, почему же ты не борешься?

— Бороться? С кем?

— Даже с самим чертом! Почему нельзя бороться с горсткой подлецов и антисемитов?

— Ничего нельзя изменить, — сказал он печально.

— Ты обязан бороться, — настаивал я. — Не об антисемитах речь — ты должен обращаться ко всем остальным.

— Людей нельзя изменить, — сказал он с какой-то непреклонной и столь несвойственной его возрасту грустью.

Эти неожиданные слова застали меня врасплох. Я поглядел на него с удивлением: откуда у него такие мысли? Когда мне было столько же лет, сколько ему теперь, я был убежден, что все зло в неправильном устройстве жизни. Нужно изменить условия, в которых живут люди, общественную систему, и все будет хорошо. Но вот этот молодой человек родился и вырос уже после того, как систему изменили. А может быть, ее все же не изменили? Может, только переложили камни старого, разваливающегося здания, и оно снова разваливается в непогоду? Я вспомнил Рафаила. Он высказал почти ту же мысль, что Янек. Он высказал еще более печальную мысль: новое общественное устройство не изменило людей, а наоборот — люди изменили новые общественные формы, придали им свои извечные свойства. Как странно, что этот юнец, еще только начинающий жить, уже пришел к той же мысли, что и Рафаил. Это его собственная мысль или он повторяет то, что слышал от других? Может быть, это мысль времени? Каждому времени присущи свои мысли. Время мыслит через людей. Изменение внешних форм жизни без внутреннего изменения людей ничего в сущности не меняет — мысль нового времени? Нет, старая это мысль, очень старая.

Оставив в стороне все эти вопросы, на которые у меня не было окончательного ответа, я чувствовал, что Янек взволновал меня даже еще больше, чем Янина со своими внезапно

ожившими призраками прошлого. На Янеке не лежал груз прошлого. Он скорее олицетворяет будущее. То, что с ним происходит, — прелюдия к тому, что должно стать будущим.

Я снова поглядел на него. Он поглядел на меня. Мы молчали. И все же я решил не сдаваться и сказал:

— Ты обязан бороться. Если ты в молодости не будешь бороться, то на всю жизнь утратишь уважение к самому себе. Иди и борись!

Его свежий румяный рот скривила усмешка старого скептика:

— Мой отец и мать боролись. И вот результат. Еще несколько лет назад я гордился ими. А теперь? Отец — старый подпольщик, мать узница Освенцима, член союза писателей. Все это звучит теперь подозрительно — ведь они оба евреи.

Я снова вспылил:

— Ты тоже думаешь, что евреи не такие, как все люди? Чем ты отличаешься от своих сверстников не-евреев?

— Не знаю... Я об этом уже думал, я вынужден был думать, потому что хотел понять, правда ли то, что говорят, будто я не такой, как они? Я ничего не заметил: у нас одинаковые руки и ноги, мы говорим на одном языке, у нас даже одни и те же вкусы и привычки. Но мне говорили, что это все же не так, что таким, как я, свойственно то-то и то-то, и это в конце концов проявится. Не знаю... Вот я приведу вам другой пример: в моем классе был один парень с дурным характером — грубиян, драчун и враль. Весь класс его не любил. Его несколько раз избивали, пока он, наконец, взял себя в руки и стал покладистее... А разве я могу исправиться? И от чего мне следует извлекать? Как бы я себя ни вел, все равно я останусь евреем. Для многих этого достаточно, чтобы я им не нравился. Что тут можно сделать?

Я сдался... Мне нечего было ему возразить. Нельзя исправиться от недостатка, который столь многие не переносят: быть евреем. Я это знал давно. Ничего нельзя исправить, даже если считать это не недостатком, а наоборот, достоинством. Янек прав: он бессилен. Глядя на него, я ощутил и свое бессилие. Меня это злило, но я ничего не мог поделать: мы оба, столь разные во всем, были одинаковы бессильны. Мне не хотелось признать наше родство. Признать в этом молодом человеке брата значило признать, что я тоже пойман. Но что тут поделаешь? Мы оба были евреями. И несмотря на все различия между нами, он все же был моим братом. Он был и моим многократно повторяющимся кошмаром. Против этого кошмара я был бессилен, совершенно бессилен.

Тем временем вернулась Янина и, войдя в комнату, спросила:

— Ты можешь догадаться, что означает телеграмма: "Бабушка опасно больна"?

— Ты получила телеграмму?

Янина рассмеялась:

— О, не волнуйся, — у меня уже давно нет бабушки. Телеграмму получила Станислава, которая живет на третьем этаже, в семнадцатом номере. Благодаря этому обстоятельству у тебя будет комната — Станислава уезжает через полчаса, она надеется к утру попасть в Варшаву. Кстати, у нее тоже нет бабушки. Телеграмма означает, что стряслась беда с ее сыном-студентом: вероятно, его арестовали. Теперь это может случиться с каждым студентом, но особенно с теми, чьи родители евреи. Представляешь, в какой атмосфере мы живем?

Меня уже ничто не могло удивить...

— Мне смешно, — продолжала Янина, — мне очень смешно, когда я читаю в наших газетах, что евреи — имеются в виду уцелевшие евреи — обязаны своей жизнью полякам. Один редактор обратился ко мне: "Пани, как вы наверное знаете, поляки спасали евреев. Напишите об этом для нашей газеты". Да, говорю, знаю. Я знаю, как спасла Галину Спыхальскую, я оказала огромную услугу ей и ее сыну, но они-то как раз были поляками. Галина живет теперь в Лондоне, за все послевоенные годы она не удосужилась прислать мне почтовую открытку. И я знала братьев Галчинских, эти были евреи, и, один из них, кажется, старший, стал шантажировать скрывающихся евреев, намекать, что он донесет на них в полицию. Дальше угроз он не пошел, ведь ему и самому приходилось скрываться, но его все же убили, ликвидировали, как тогда говорили, и сделал это один поляк по договоренности с евреями. Так что я уже не знаю, кто был хорошим, кто плохим и кто кого спасал? И я, разумеется, хорошо знаю одну польку — Валю, которая выкрала мое досье из канцелярии политического отдела эсэс в Освенциме, что спасло мне жизнь. Если бы мои документы не пропали, меня бы убили. Но вот, кончилась война, победили Мир, Справедливость и все прочие великие идеи, но Валю снова посадили и дали ей десять лет: она состояла в Армии Крайовой и кто-то решил, что она английская шпионка. А я ничем не смогла ей помочь. И мой муж не смог ей помочь, хотя он и работал в том самом министерстве, которое арестовало Валю. Меня тоже вызывали во время следствия и требовали материал против Вали. Мне сказали: "Все, что на ней, — ваше". "Ну, конечно, я сама ей все это дала". Прошло еще несколько лет и дочь Вали получила вызов из Западной Германии, но ей не дали паспорта. В этот раз я смогла помочь — она получила паспорт, уехала и больше не вернулась. Потом, наконец, выпустили и Валю. Потом во Франкфурте на Майне начался процесс бывших охранников Освенцима, и нам прислали повестки в суд в качестве свидетелей. Я хотела ехать, но мне не дали паспорта. Валя тоже получила повестку и ей немедленно оформили паспорт. Теперь я уже совсем запуталась: кто хороший, кто плохой? Почему сразу же после вой-

ны Валя была плохая, а я хорошая, по прошествии двадцати лет Валя вдруг стала хорошей, а я плохой? Кому можно и кому нельзя доверять? Недавно я получила от Вали письмо, она живет теперь в Лодзи. Она пишет: "Ничего не бойся, мы с тобой. Если что-нибудь случится — мы поможем. Ты же нас знаешь". Да, знаю: Валя не изменилась. И другие мои освенцимские подруги, я говорю о тех, кто еще жив, я говорю о польках, писали мне или передавали через общих друзей, что я могу рассчитывать на их помощь. Они тоже не изменились. Вот это я знаю. Пожалуй, это все, что я знаю...

Я уже не чувствовал удивления, а только бесконечную грусть.

...И небольшой, сумрачный ресторанчик тесно уставленный столиками, накрытыми бумажными скатертями, в сущности, не ресторан, а столовая, где у каждого жильца пансионата было свое постоянное место и всем подавали одно и то же, и где Янина во время ужина легким кивком головы указала мне на пожилого человека с седеющей круглой бородкой и черными глазами и шепотом сообщила, что он тоже еврей. Недавно арестовали его сына, студента варшавского политехникума. И сидящий неподалеку от еврея красивый мужчина с хмурым и как бы оцепеневшим лицом, о котором Янина сказала, что он, хоть и чистокровный поляк, к тому же еще довольно известный писатель, тоже оказался в трудном положении: в прошлом году он прожил два месяца в Западной Германии, где издали его книгу, а теперь еще не известно, как все это обернется для него, не ждут ли его большие неприятности. И все остальные обитатели пансионата, собравшиеся в столовой, все, кого я видел за соседними столами, казались мне печальными и подавленными, излишне сдержанными и излишне молчаливыми. Я спросил:

— Почему они не разговаривают между собой?

— Прежде разговаривали, — сказала Янина. — Но потом приехал один человек и все замолчали. Когда узнали, что он едет, предупредили и администраторшу. С ним никто не хотел сидеть за одним столом. А вот он идет!

В столовую вошел человек лет сорока или сорока пяти, в светлых брюках и красном свитере, на ходу складывая газету, которую он тут же небрежно сунул в карман. У него было заурядное, незапоминающееся лицо: чисто выбритое, румяное, с низким лбом, красными щеками и носом пуговкой, тоже красноватым, обыкновенное лицо любителя выпить, одно из тех лиц, на которых кроме обыденности и отсутствия духовных интересов ничего не написано. Словом, у этого доносчика, перед которым трепетало целое общество, было именно такое лицо, какое бывает у тихих и внешне безобидных обывателей, способных на любую подлость, иногда даже на преступление, ради самой крошечной выгоды.

Из окна отходящего автобуса я увидел Янину в последний раз, она стояла на площадке и улыбалась своей радостной улыбкой. Но это была уже не та Янина, которую я знал — на промасленном асфальте автобусной станции стояла женщина, скрывающая под маской улыбки страх и безнадежность. В сущности, она никогда не была полностью защищена от своего прошлого. Еще в Крыму она призналась мне, что ее кошмарные воспоминания могут в любой момент разорвать оболочку, спеленутую для них прошедшими годами, и снова вырваться на поверхность, снова хлынуть в настоящее и тогда от них нет спасения. Я почему-то не обратил внимания на это признание, меня ввели в заблуждение ее веселость, ее безоблачное лицо и милая улыбка.

— Вы, наверное, остерегаетесь всякого упоминания слова Освенцим? — спросил я тогда, в Крыму.

— Нет. Иногда я могу вспомнить о прошлом и ничего не почувствовать, как будто я вспоминаю рассказ, услышанный от других. И это тоже ужасно!

— Что вы! Ведь так легко жить...

— Да, да... Но что толку. Настоящего иммунитета я ведь не приобрела. В том-то и дело, что бывают дни, когда достаточно пустяка, одного слова, иногда даже звука или какого-нибудь запаха, и все оживает помимо моей воли, и я задыхаюсь, я готова задохнуться от внезапно воскресающего кошмара. Так случилось на другой же день после моего приезда...

— Здесь, в Крыму? — спросил я пораженный.

— Да, здесь. На морском берегу. Моя соседка по столу повела меня на женский пляж. Я шла беззаботно и весело, любясь видом моря, наслаждаясь солнечным теплом. И вдруг я увидела берег, усеянный обнаженными женскими телами. Понимаете? На своем пляже женщины лежали голые и, как только я их увидела, мне стало дурно. Все всполошились: что с вами? Сердечный приступ? Что вам дать: валидол или нитроглицерин? Ну разве могла я им объяснить, что валидол и нитроглицерин мне не помогут, что в Освенциме меня держали на лагерном участке, который назывался Биркенау — там стояли крематории, и я видела столько голых тел... Голыми их вели в так называемую баню, голыми стояли они у дверей газовых камер, голыми бросали их в печи крематориев... И каждый раз, когда я вижу голые тела, я снова испытываю ужас тех дней, самые отчаянные усилия воли не помогают. В первый раз это случилось со мной в Варшаве, сразу же после окончания войны, когда я пришла в баню. Увидев сквозь горячий пар обнаженные тела, я потеряла сознание. С тех пор я поняла, что нужно остерегаться, а здесь я об этом забыла. Разве могла я предположить, что и на берегу моря, в прекрасный летний день, весь мир снова наполнится смертью.

Подсознательная память — так, кажется, называется на

языке психологов и психиатров один из тех видов памяти, которые начисто не подчиняются воле и разуму. Следы, оставленные жизнью с ее событиями, драмами и катастрофами в никому не ведомых клетках, быть может, даже в химическом составе молекул, могут быть до того мучительными, что человек не в силах их вынести. От своих воспоминаний люди издавна пытались защитить себя молитвами и заклинаниями.

Правда, современная наука пытается это исправить другим путем. Многие биологи уверены, что они вскоре постигнут все тайны памяти. Кое-какие неожиданные открытия уже сделаны. Оказалось, например, что память съедобна! Это не оговорка и не мистификация. Крысы уже научились потреблять чужую память. Делается это очень просто: из мозга одной крысы, которую предварительно чему-то обучили, например, не бояться света, доктор Джордж Унгар из Хьюстона извлекает жидкость, которую он впрыскивает в мозг другой, необученной крысы, и оказывается, что "знания" первой крысы передаются второй. Доктор Джеймс В. Мэконелл первый проделал этот опыт, правда не с крысами, а с червями планетариями, которые съедали целиком других обученных червей планетариев вместе с их "памятью". Каннибальские черви доктора Джеймса Мэконелла уже сделали большую карьеру в науке. Недалек день, когда подобные опыты будут производиться и на людях, разумеется, без превращения человеческого мозга в котлетку.

Вот что рассказывает известный научный обозреватель журнала "Лайф" Альберт Розенфельд в статье "Будущий человек", перепечатанной во многих странах. Доктор Вильфред Пенфильд уже производит опыты воскрешения забытых воспоминаний при помощи электрода, раздражающего известные участки мозга. Другие биологи предлагают связать мозг с ЭВМ, которая запишет в памяти человека все, что ему необходимо знать на всю жизнь. "А почему, — спрашивают биологи Моние и Леже, — постигнув генетический код, мы не можем записать в генах человека, уже в зародыше, все, что ему нужно?" (Заметьте, вопрос: что человеку нужно? не ставится; ученые склонны его считать не очень сложным и не заслуживающим особого внимания).

Но если мы научимся записывать в мозг различную информацию, отчего нельзя записать и воспоминаний о том, чего в действительности никогда не было? Разумеется, записывать будут только то, что "нужно", попутно удаляя и все лишнее. После такой буквальной промывки мозгов человек станет другим. И, конечно, лучше, чем тот, которого создал Господь, уверяют ученые-оптимисты, метящие занять его место ("Биохимики начинают играть в Бога" — говорит лауреат Нобелевской премии Северо Охоа, чьи слова приводит западногерманский журнал "Дер Шпигель"). Таким образом, вымышленный опыт станет реальнее, чем сама реальность.

”Надо ли любить красивую женщину, если можно это помнить? Стоит ли отправляться в Египет, чтобы увидеть пирамиды, когда можно их видеть, трогать, осязать с потрясающей достоверностью в своей памяти, у себя дома? Стоит ли еще тогда жить? Или лучше сохранить в жизни только мозг, который ”узнает” все, ”испытает” все, не двигаясь и жалея людей, которые живут на самом деле?”

Так и хочется крикнуть: какой ужас!

Но может быть, все это лишь домыслы, фантазии, выдумки авторов фантастических романов? Можно было бы надеяться, что это именно так, если бы некоторые ученые, вполне трезвые и деловые люди, испугавшись возможных последствий своих работ, не прекратили сами, по доброй воле, свои изыскания. Французский еженедельник ”Экспресс” в № 995 сообщил:

”Петер Харпер (25 лет), сотрудник лаборатории экспериментальной психологии (Англия) подал в отставку. Он занимался биохимией мозга, опытами по передаче памяти. ”Сегодня мы работаем на крысах, завтра на людях”, — заявил он. (...) Подал в отставку после блестящей работы (синтезирования гена лактозы) и молодой американский биохимик Джеймс Шапиро. ”Наша работа может иметь последствия, которые выйдут из-под контроля” — сказал ученый и сделал вывод: прекратил работу.

Много ли найдется таких биологов и биохимиков? Много ли нашлось физиков, которые после Хиросимы перестали заниматься атомным ядром?

”Так же, как существует ныне ”простокваша с бананами”, к 2000 году будут продавать ”простоквашу с оперой” или ”простоквашу с Ниагарским водопадом”. Потребляя ее, человек будет вспоминать изысканную музыку или поездку, которую он никогда не совершал”.

Только бы не взбрело кому-нибудь в голову продавать любителям сильных ощущений ”простоквашу” с памятью наших современников, например, с воспоминаниями такой милой и веселой женщины, как Янина...

Я продолжу начатую здесь печальную историю, тоже основанную на памяти, которая, однако, еще не подвергалась научной обработке. Все, о чем я здесь рассказываю, вполне реально, я был не только свидетелем, но и участником событий.

... Когда я разыскал варшавскую площадь, о которой говорил мне портье отеля ”Бристоль”, и, пройдя по ее старой, промасленной брусчатке, наискосок от тонущих в ночной мгле стен и башен костела, увидел наконец высокий, массивный дом с узкими окнами и полукруглым фасадом, на котором матово блестела шестиконечная звезда, выложенная мозаичными плитками, то первая моя мысль была: опоздал! Ничем не завешен-

ные окна этого дома с характерным синагогальным фасадом не светились изнутри, что могло означать только одно: вечерняя служба кончилась, все уже разошлось по домам. Не замедляя шаг, я все же подошел к неосвещенному подъезду, обойдя на ходу какие-то ящики и груды старого железа. Весь двор был завален старыми ящиками и металлоломом, так что напрашивалась и другая мысль: здесь и не было никакой службы — это синагогальное здание, каким-то образом уцелевшее во время войны и гитлеровской оккупации, все еще покинуто или отдано под склад. Но подойдя ближе, я увидел, что из подъезда выходит пожилой человек в черном пальто и черной шляпе.

Я обратился к нему на идиш:

— Это синагога?

— Да, здесь синагога, — ответил он тоже на идиш, но с тем мягким акцентом, который принято было называть у нас *литовским*, так как он был присущ литовским и польским евреям и отличался от акцента, с которым произносили еврейские слова в городке моего детства.

— Все уже разошлись? — продолжал я.

— Ушли на *сейдер*, — ответил он и показал рукой куда-то вправо: — Столовая общины там, за углом. Вы тоже на *сейдер*? Вы там увидите объявление.

Я был страшно поражен этими словами, но больше ни о чем не спросил, потому что мой собеседник уже исчез среди ящиков ихлама, наваленного на синагогальном дворе. Я покорно пошел в указанном направлении и, свернув за угол, сразу же увидел освещенный подъезд двухэтажного кирпичного дома и объявление, написанное от руки и по-еврейски, подтверждающее, что, как ни странно, здесь, в столовке еврейской общины, на втором этаже, состоится сегодня пасхальный *сейдер*.

Странность этого сообщения заключалась для меня в том, что в моей памяти *сейдер* был семейным обрядом, самым торжественным из всех еврейских обрядов, которые я видел в детстве, в нашей семье. Даже посуда, расставленная на столе, за которым мы собирались на праздничный ужин в первую и вторую ночь *пасхи* — на *первый* и *второй сейдер* — тарелки с золотым ободком, ножи и вилки, рюмки и бокалы, среди которых выделялся один — совсем особенный, непомерно высокий, вмещающий в себе содержимое целой бутылки — бокал *Ильи Пророка*, — все это употреблялось только на *пасху* и принадлежало к тем предметам, что составляли традиционное достояние семьи, передаваемое по наследству из поколения в поколение. И стулья, на которых мы сидели в пасхальные вечера, были расставлены согласно семейной традиции в определенном порядке, а старый, но все еще крепкий, гнутый венский стул, на котором обычно сиживал отец, заменялся *ложем*, устроенным по той же традиции из двух козел и досок, накрывавшихся периной и подушками, для того, чтобы глава семьи мог не только

сидеть, но *возлежать* во время пасхального пира... Неужели ритуал, полный милых семейных подробностей, может быть заменен ужином в столовке?

Но вот я открыл дверь, к которой было приклеено объявление, и очутился в полутемном коридоре, освещенном голый электрической лампочкой, свисающей с потолка на толстом витом шнуре. Поднявшись на второй этаж по грязной каменной лестнице без перил, я опять оказался в дурно освещенном коридоре, и он привел меня к входу в небольшой зал, тесно уставленный уже накрытыми к ужину столиками, сдвинутыми вместе в два ряда.

Все, что я видел, имело убогий и неуютный вид столовки для бедных: несвежие скатерти, дешевая посуда, бутылочки изпод фруктовой воды, наполненные какой-то мутно-фиолетовой жидкостью, напоминающей слабо разведенную марганцовку. Посередине стола — медный семисвечник с темными, уже не очищающимися пятнами, с потолка свисала люстра с разбитыми хрустальными подвесками и голыми лампочками, загаженными мухами, на стенах висело несколько картин, написанных маслом, в массивных, но уже облупившихся рамах. Изображения тоже были старые, потускневшие, но я все же узнал старика в пышной собольей шапке — философа Маймонида, потом чернобровую красавицу с распущенными волосами, державшую в обнаженной руке окровавленную мужскую голову — библейская Юдифь, казнившая Олоферна, военачальника, обложившего своими войсками ее родной город, и, наконец, мускулистого мужчину с вьющейся бородой, который заносил нож над головой мальчика с испуганными черно-лиловыми глазами, в то время как с неба уже свешивались бледные ноги и белый хитон только что прилетевшего ангела: сцена жертвоприношения Авраама; ангел прилетел в самую последнюю минуту сообщить отцу, готовому принести в жертву своего собственного сына, что повеление Бога было всего лишь испытанием; жертвоприношение отменяется; в наивные библейские времена казни иногда все же отменялись...

Глядя на эти традиционные олеографии в толстых, некогда золоченых багетах, я вдруг подумал, что все они Наверное висели в богатых гостиных, откуда, после разграбления еврейских квартир, перекочевали на толчок, а теперь сюда, на стены столовки при еврейской общине, где они производят тягостное впечатление случайно уцелевших обломков давно исчезнувшей жизни, быть может, они единственные вещественные останки, сохранившиеся после уничтожения еврейского быта старой Варшавы.

Все это было довольно-таки печально, но самое печальное таилось в людях, собравшихся сюда на пасхальный ужин и уже сидевших за столом. Их было человек двадцать или немногим больше, мужчин и женщин, несколько подростков и детей. Ка-

кие-то неуловимые подробности в одежде и, особенно, их бледные, высохшие и скорбные лица, создавали впечатление, что эти люди тоже в своем роде обломки, человеческие обломки, случайно уцелевшие после страшного бедствия, как и старый подсвечник, разбитая люстра и потемневшие олеографии, развешенные по стенам.

Между тем у них были все признаки живых людей: они громко разговаривали, даже смеялись, кто-то нетерпеливо постукивал ножом по столу, в то время как носатая женщина в кружевной кофточке, стоявшая у раздаточного окошка кухни, энергично нагружала тарелками с какой-то закуской двух молодых официанток в мятых, несвежих халатах с рыжими пятнами.

Эта женщина, вероятно, администратор столовой, увидев меня в дверях, спросила на идиш:

— Вы знаете, что ужин сегодня платный?

У нее был громкий деловитый голос, но никто не обратил внимания на ее слова, сидящие за столом даже не обернулись к двери.

Оставив тарелки, администраторша подошла ко мне и протянула руку:

— Десять злотых...

Отсчитав деньги в ее сухую ладонь с глубокими черными линиями, я опустил на свободный стул, у самого крайнего стола, рядом с окном кухни, и стал с недоумением разглядывать стоящую передо мной тарелочку с одной единственной редиской, листиком зеленого салата, крохотным ломтиком крутого яйца и горсткой какой-то очень неаппетитной на вид кашицы цвета толченого кирпича, о которой я мог только предположить, что это, вероятно, не что иное как *харойсес* — замечательный ореховый соус, одна из традиционных приправ пасхального ужина.

... Я никогда не забывал свои детские годы, оставившие столь глубокий след в моей памяти, что я могу в любое мгновение оживить с почти осязаемой достоверностью нашу тесную, бедную двухкомнатную квартиру; в праздничные дни она была наполнена теплом, светом и особым воздухом праздничной радости. Рассматривая эти воспоминания, я всегда останавливаюсь на тех, что связаны с пасхой, которая была если и не главным, то во всяком случае самым торжественным праздником, занимавшим вместе со сложными и, правду сказать, нелегкими для родителей, особенно для мамы, приготовлениями, почти всю весну. К пасхе начинали готовиться с первых весенних дней, в доме не оставалось ни одного предмета, ни одной вещи, которая не подвергалась бы мытью, чистке, перетиранью, уже не говоря о том, что кухонную утварь и посуду полагалось вычистить и спрятать, заменяя ее специальной пасхальной посудой, которую опять же нужно было чистить, мыть, драить. Зато

какая радость, какое облегчение наступало в последний предпраздничный вечер, когда отец обходил дом со свечой, совочком и щеточкой, старательно собирая хлебные крошки, заранее насыпанные на подоконниках, совершая тем самым символический обряд очищения комнат от *хумца*. Впрочем, для матери и этот миг законного наступления праздника отнюдь не означал начало покоя и отдыха. Пока отец совершал символические предпраздничные действия, она уже стояла на кухне, среди выложенных на стол пасхальных кастрюль и сковородок, уже замешивала муку из мацы яичным желтком и маслом, готовясь испечь первую порцию чудесных пасхальных лепешек, знаменитые *латкес* — вкус которых сохраняется навсегда в счастливых сновидениях даже самого бедного и несчастливого еврейского мальчика.

Теперь, когда я сидел в столовке варшавской общины, морально уже подготовленный ко всему, меня не очень-то удивила эта схожесть и несхожесть стола и приготовленного на нем закусок с тем, хоть и не богатым, но все же тесно уставленным тарелками с сытной едой, зеленью и замечательно вкусными закусками пасхальным столом, за которым я сживал в родном доме. Но печальное чувство, охватившее меня с той самой минуты, когда я переступил порог столовки, с каждой минутой усиливалось.

Подобное чувство охватывало меня и раньше, всякий раз, когда я встречал людей, спасшихся из гетто и лагерей смерти. То были случайные и непродолжительные встречи, кроме, конечно, знакомства с Яниной, которая всем своим обликом и поведением начисто отрицала прошлое. Теперь же, чем больше я присматривался к людям, сидящим вокруг меня за столом, тем тягостнее становились мои ощущения. Все лица, которые я видел, выглядели как олицетворение беды, как изображение горя. С тяжелым сердцем глядел я на эти высохшие и выжженные лица, отмеченные перстом обреченности и покорности судьбе. Конечно, это следствие ужасной катастрофы, которая случилась с варшавскими евреями во время войны. Но почему и лица молодых людей кажутся столь же призрачными и несчастными, как и лица стариков? Ведь их, молодых, тут не было, когда нагрянула беда; они, молодые, не видели, как горит гетто... Впрочем, и остальные сами этого не видели — иначе они бы здесь не сидели...

Моим ближайшим соседом слева был пожилой человек с близорукими красными глазами. Я спросил его:

— Здесь принято устраивать сейдер в общине?

Он повернул ко мне свое иссохшее лицо и горестно развел руками:

— А где же еще можно править сейдер?

— В семье!

— В семье? — спросил он с удивлением. — А где же вы те-

перь достанете все, что нужно? В семье? — Он погладил по спине сидящего рядом с ним подростка в черной курточке и новом картузе и удрученно продолжал: — Вот мой сын, а жена не придет... — Он сделал безнадежный жест рукой: — Она калека!

Слева от меня сидел старик с одутловатым лицом, обрюзгший, плешивый, все время подергивающий и вертящий шей. Он вдруг едко захихикал и сказал:

— В вы бы лучше спросили: сколько еврейских семей осталось в Варшаве?

Мой сосед слева ответил:

— Тысячи две евреев еще считаются в Варшаве. В прошлом году было больше, теперь считается, что осталось две тысячи...

— Две тысячи? — усомнился второй. — А разве это евреи? На самые большие праздники в синагоге еле собирается человек двадцать. Вот и на сейдер пришло двадцать человек. А остальные где? Евреи, которые уже не помнят, кто они, разве это евреи? Ха-ха-ха!

У него был тихий голос и вполне доброжелательный вид. Но меня тревожил его смех и особенно его глаза, в которых горел безумный огонек. Слова его напомнили мне о Якубе и Рафаиле, и я подумал, что он, вероятно, прав: Якуб и Рафаил, может быть, даже и не знали, что сегодня первый вечер еврейской пасхи. Значит ли это, что они не евреи? Только те, кто пришел сюда, последние евреи Варшавы? Что означает быть евреем? Кто еврей? Тот, кто родился евреем, или только тот, кто соблюдает еврейские обряды?

Вдруг с другого конца стола раздался громкий, требовательно-вопрошающий голос:

— *Ма ништано алайло азэ микол алейлот?*

"Чем отличается эта ночь от всех других ночей?" — мгновенно перевел я в уме эти мучительно-знакомые слова, и с недоумением уставился на тощего человека с горбатым носом и тонкими изогнутыми губами, который, поднявшись со своего места и полузакрыв глаза, начал торжественно и нараспев декламировать традиционные *фир кашес* — четыре вопроса, с которых, собственно, и начинается пасхальный ритуал, или порядок пасхального ужина — я еще помнил, что слово сейдер означает порядок... Я знал, что эти четыре вопроса полагается задавать самому младшему члену семьи, обычно это делает ребенок. Здесь же я видел человека в мешковатом пиджаке и черной ермолке, из-под которой выбивались густые, хотя уже изрядно поседевшие волосы. Словно угадав мои мысли, сосед слева сказал:

— О, это такой человек, который лезет всюду сам!

— А кто он?

— Представьте — учитель. Ну разве не позор, что он не доверяет детям? Мой сын тоже мог бы прочитать фир кашес...

Тем временем человек в ермолке продолжал:

— *Шенхол алейлот уни ойхлим хумэц и мацу...*

”В другие ночи мы едим и обыденное, и мацу”, — машинально перевел я в уме снова, но вскоре перестал слушать, так как уже не мог справиться с нахлынувшими на меня воспоминаниями о том далеком и счастливом времени, которое я всегда вспоминаю с мучительной тоской, жалостью, а главное, с чувством неискупимой вины перед отцом и матерью, которым я, сам того не сознавая, причинил тогда немало огорчений своим невниманием, холодностью, неисполнением святых обязанностей по отношению к близким и безрассудным участием в делах, преследовавших цель осчастливить дальних, ту неразличимую и абстрактную массу людей, именуемую *всем человечеством*.

... На пасхальном сейдере в отчете доме *четыре вопроса* полагалось задавать мне, как самому младшему члену нашей небольшой семьи. И сидя в убогой столовке еврейской общины Варшавы, я вспомнил маленькую, празднично убранную и блестящую чистой столовую родного дома, буфет красного дерева со скульптурными фигурами на дверцах, тяжелый книжный шкаф, в котором стояли непомерно высокие, толстые фолианты в потемневших кожаных переплетах — шестьдесят томов *талмуда*, которые отец, сколько я его помнил, перелистывал день за днем в свободные часы, низко склоняясь над огромными, слегка пожелтевшими страницами, умиленно нашептывая загадочные древнееврейские слова... Я увидел и празднично убранный стол с парадной скатертью, надраенным до блеска медным подсвечником, пасхальными тарелками, рюмками и бокалами, пасхальными салфетками, на которых лежали горстки мацы, а также висячую лампу в зеленом фарфоровом абажуре, освещавшую всех сидящих за столом: отца, высокого, худого, с острым лицом, впалыми щеками и черной бородкой с проседью; мать в черной кружевной шали на голове — круглолицую, тихую, с нежными и печальными глазами, в которых уже тогда таилось темное предчувствие будущей страшной беды; старшего брата — сильного и доброго подростка в круглых очках, он был старше меня на четыре года и уже жил какой-то своей жизнью, и, наконец, тетю Икейвид — высокую, худую женщину с жидкими седыми волосами, собранными в узел и спрятанными под строгий темный парик — вдову старшего брата моей матери, заменившую ей в детстве родную, рано умершую мать... Мальчика, который стоя у стола и запинаясь, но громко, нараспев, в подражание отцу, читал наизусть *четыре вопроса*, я не видел. Этот мальчик был я сам...

Даже в самой достоверной и ясной картине прошлого, сохранившейся в нашей памяти, мы самих себя не видим. Но я могу вообразить себя того давнего. И я представил себе мальчика лет десяти, который стоял тогда возле праздничного стола

и старательно перечислял по порядку традиционные четыре вопроса, ответом на которые служило последующее чтение вслух всеми участниками трапезы сказания об исходе из Египта — *Хагады* — с его удивительными событиями, чудесами и поэзией, длинный рассказ, время от времени прерываемый дегустацией в строгом ритуальном порядке, сначала — крутых яиц в солевой воде, хрена, смешанного с другими горькими травами — *мурер*, затем *шмире* — особой мацы домашнего изготовления, темной и безвкусной, повторяющей вкус того хлеба, который выпекали в пустыне беглецы из Египта, потом и всех остальных закусок и блюд, каждая из которых символически напоминала какой-нибудь эпизод из чудесного мифа, существующего уже несколько тысячелетий и свято чтимого поколениями новых беглецов и новых изгнанных вечно гонимого и все же не умирающего народа.

Как все было хорошо и благостно на пасхальном *сейдере* в родном доме! Ни в нашей семье, ни в мире еще не произошло ничего рокового и непоправимого. Но моя детская душа уже тогда томилась какими-то неясными сомнениями, туманными поисками объяснений тому, что собственно не нуждалось ни в каких объяснениях — я с детства нес бремя гипертрофированной склонности к разумным доказательствам и рациональному объяснению всего на свете; с этим некоторые люди, видимо, рождаются.

... Я вспомнил высокий бокал из толстого синего стекла — бокал *Ильи Пророка*... Он стоял на пасхальном столе на самом видном месте, наполненный до края светлым виноградным вином. Он был моей тайной мукой, этот чудный бокал, из которого, как мне объяснили, пригубит библейский пророк в то чудесное мгновение, когда он незримо посетит наш пасхальный сейдер. Я вспомнил, как затаив дыхание, впивался я глазами в этот бокал, когда наступал чародейственный момент, во время которого считалось, что в дом входит невидимый небесный посетитель. Ну хорошо, думал я, вернее сказать, тот мальчик, каким я был тогда, — пророк невидим, но если он притронется губами к вину в бокале, жидкость должна дрогнуть, не может быть, чтобы она не задрожала, ведь бокал и вино зримы! Помню, как мучился я желанием *увидеть* чудо, еще задолго до очередного пасхального ужина ждал этой страшной минуты, все пытался придумать верный способ наблюдения за бокалом, поскольку я понимаю теперь, когда пишу эти строки, в высшей степени характерное не для мальчика, но и для того молодого человека, в которого превратился со временем мальчик, чей далекий образ я пытаюсь здесь воскресить. О, если бы я знал, куда заведет меня эта жажда разумных доказательств, убивающая восторг и способность к вере, а вместе с ними и всю безотчетную прелесть и сладость существования! Зачем надо было мне *проверять* чудесную сказку о посещении

пророком Ильей каждого еврейского дома, где правят пасхальный сейдер?

В столовке еврейской общины Варшавы, на пасхальном столе не было приготовлено бокала для Ильи Пророка. И никто не открывал двери, как полагается по традиции, когда прозвучали слова: *Кто нуждается, пусть войдет, пусть ест и пьет вместе с нами...* Я подумал: открывай, не открывай дверь, все равно никто сюда больше не придет. Евреи Варшавы мертвы, кроме вот этих, что сидят здесь за столом, но и эти похожи на мертвецов. Те две тысячи варшавских евреев, о которых мой сосед говорил, что они числятся евреями, не празднуют еврейской пасхи. Может быть, они о ней даже не знают. Людей, подобных Якубу и Рафаилу, только антисемиты твердо считают евреями.

Господи Боже мой, что все-таки значит быть евреем?

Во главе стола сидел пожилой человек в белой ермолке. У него было белое, костистое лицо, лицо мученика, лицо из кошмарного сна. Я видел, как он не спеша натянул на себя поверх головы белый халат, стянул его ремешком, потом снова уселся поудобнее и придвинул к себе книжечку в черном переплете, лежавшую между тарелками с мацой и закусками. Потом я услышал его неожиданно крепкий и резкий голос:

— *Аводим уини лэпаро бэмицраим!*

С разных концов стола другие голоса подхватили хором:

— *Аводим уини лэпаро бемидраим!*.. Мы были рабами у фараонов в Египте!

Это началось чтение *Хагады*.

Я спросил своего соседа, который тоже принялся читать "Хагаду", но как-то несмело, глухо: кто сидит во главе стола? И услышал в ответ, что человек в белом халате и белой ермолке — кантор, исполняющий и все остальные религиозные обязанности в общине.

— А справа от него?

— В черной ермолке? Это один портной. Теперь у него рента...

— Какая рента?

— Обыкновенная... Ну пенсия... Он пенсионер.

И вдруг, неожиданно:

— Он болен. Оккупацию он пережил здесь, в Варшаве. Его прятала в погребе жена — полька.

Ошеломленный, смотрел я на человека в черной ермолке. У него было сильно отекавшее лицо и темные мешки под глазами. Каждое произнесенное вслух слово заставляло страдать этого старого астматика, измученного болезнями, а больше всего, наверное, тем невыразимым ужасом, который он испытал во время своего пребывания в холодном и сыром подвале.

Грозно и как-то зловеще медленно начал кантор перечислять *сорок напастей*, которые Бог обрушил на египтян, пытав-

шихся преследовать своих бывших рабов. Со свистом и бульканьем повторял их названия и больной старик с исплаканными глазами, и я вдруг подумал, что ни одна из перечисленных Хагадой бед не идет ни в какое сравнение с жутким страхом, терзавшим этого несчастного день и ночь, почти целых пять лет, пока длилась страшная напасть, уничтожившая полмиллиона варшавских евреев...

Я терял контроль над своим сознанием. В моем мозгу, подавленном всем, что я увидел, мысли и воспоминания произвольно неслись вперед и назад, не давая возможности сосредоточиться ни на одной из них. Светлые воспоминания детства мгновенно сменялись ужасными видениями нацистских убийств, и хотя они были созданы моим воображением, они ничем не отличались от воспоминаний о том, что я пережил сам. Я уже давно заметил, что каждое упоминание о Гитлере и нацизме сразу же вызывает во мне жуткие образы и видения, которые вошли в мою жизнь, как нечто мною пережитое. В чем разница между тем, что мы пережили на самом деле и плодами воображения? Где грань между действительностью и воображением? Не является ли воображение подлинной действительностью, а для некоторых людей и основным содержанием их жизни?

Чувство тоски усиливалось, теперь к нему примешивалось и ощущение физической боли: глядя на человека в черной ермолке, мне и самому становилось труднее дышать...

Я спросил своего соседа:

— Здесь еще есть люди, пережившие оккупацию?

— А как же! Вот он тоже был здесь...

И мой сосед показал на сидящего третьим от него человека средних лет, одетого в хороший темносиний костюм, в белоснежную нейлоновую рубашку с красивым цветным галстуком, в новой темно-синей велюровой шляпе.

— Он? — удивленно воскликнул я. — Сколько же ему было лет?

Мой собеседник слегка дотронулся до плеча человека в темносинем костюме:

— Сколько тебе было лет во время оккупации?

— Десять, — ответил тот. — Мне было десять лет, когда убили родителей и я убежал из гетто.

— Куда?

— На станцию. Я стал жить на варшавской железнодорожной станции. Спал на товарных складах...

— Чем же вы занимались? Ведь надо было есть.

Не глядя на меня, он негромко ответил:

— Я крал. Я менял. И делал все, что можно было делать.

И я ходил в гетто, пока его не подожгли. В последний день восстания, когда горели последние дома гетто, горели вместе с людьми, и дым стоял над всей Варшавой, я залез в товарный

вагон и уехал... Я стал жить на других станциях до самого окончания войны.

— А что было после войны?

Он взглянул на меня, но глаза его были сужены, возможно, что он меня не видел. Я услышал его скорбно-покорный голос:

— После войны я сидел в тюрьме...

— За что?

— Ни за что... За то, что я хотел жить, хотел торговать. А что мне еще было делать? Меня посадили один раз, потом второй раз. В общей сложности я просидел десять лет. Я хотел уехать, когда разыскал дядю, который живет во Франции и прислал мне вызов, но меня не выпустили. Вот этот костюм прислал дядя. Хороший костюм. И костюм сыну прислал дядя. Вот мой сын, мой мальчик. Он семимесячный.

Нежно погладив по щеке сидящего рядом с ним мальчика с упитанным, но очень бледным и болезненным лицом, отец спросил его:

— Хочешь вина? — Он любит сладкое вино, а это, кажется, не очень сладкое...

Придвинув к себе лимонадную бутылку, закрытую самодельной бумажной пробкой, он стал наливать в рюмку неаппетитную мутно-фиолетовую жидкость, не очень похожую на вино. Увидев это, засуетился и мой сосед справа:

— Ага! — пробормотал он. — Вино! Да, да, вино...

И тоже стал наливать дрожащей, отекающей рукой в свою рюмку, расплеснув половину на стол.

— Не торопитесь! — строго сказал ему сосед справа. — Должно хватить на четыре рюмки, вы же знаете.

— Да, да, *арба косот* — четыре бокала на каждый сейдер. Я знаю.

Но жадно выпив первую рюмку, он стал нервно и торопливо наливать себе вторую.

— Что за человек! — горестно сказал сосед, обращаясь уже только ко мне. — Ох, люди, люди!

Я негромко спросил:

— Он тоже пережил оккупацию здесь?

— Нет. Он-то был далеко, в России. Там же, где и я.

— Вы успели эвакуироваться?

— Я ушел из Варшавы пешком, один. А вернувшись после войны, уже никого из близких не застал. Поверите? Я не застал ни одного человека!

— А много у вас было родных?

— Много ли? — воскликнул он, и его желтое лицо неожиданно преобразилось, глаза заблестели, даже голос стал другим, и он продолжал с какой-то неестественной шутливой бойкостью: — Хотите, я сразу перечислю вам сто пятьдесят человек? Могу и больше, но надо подумать. А сто пятьдесят я перечислю,

ни на секунду не задумываясь. Вы будете вести счет. Хотите?

Его жалкое истерзанное лицо улыбалось, он даже шуточно перекосил рот, как бы говоря: надо шутить, если не шутить, то надо повеситься или хотя бы разрыдаться, а ведь сегодня большой праздник, и мы сидим за пасхальным столом...

Краснощекая официантка с узкими, злыми глазами поставила перед каждым из нас по глубокой тарелке с дымящейся бесцветной жидкостью, в которой плавало что-то белое, похуже на лапшу.

— Юх! — радостно сказал человек с безумными глазами, и схватил ложку. — Да, да, это юх!

Бесцветная горячая жидкость, лишенная всякого аромата, только своим названием напоминала тот нежный куриный бульон, с которого начинались все праздничные трапезы в моем родном доме. И крохотный кусочек рыбы под белым соусом, вареное мясо с картофелем, потом фасоль в сладком соусе — все блюда, поданные на стол, были мне хорошо знакомы, традиционные блюда еврейской кухни, но приготовленные из продуктов самого низкого качества: нож не входил в старое, жилистое мясо, цимес был не сладким. Мои соседи по столу не обращали на это никакого внимания, они вылизывали тарелки, лучшей еды они, вероятно, давно не пробовали. Заметив, что я не съел мясо, старик с безумными глазами быстро придвинул мою тарелку к себе, собрал лежавшие на ней куски, завернул их в обрывок газеты и бережно сунул в карман старого, засаленного пиджака. А я больше не притрагивался к еде, мне казалось, что она не только безвкусная, но и пахнет пеплом, мне казалось, что я ощущаю его горький вкус во рту. Ко всему этому примешивалось и другое странное ощущение, как будто я находился не в столовой, а на старом еврейском кладбище.

... Я видел его в Кракове. Гуляя по городу в последний вечер накануне своего возвращения в Варшаву, я забрел на мертвую улочку с вывороченной мостовой, разбитыми тротуарами и обгоревшими домами, в которых окна и двери нижних этажей были заколочены досками, а на верхних этажах зияли большие пробоины. Пусто, нигде ни одного прохожего, ни одного признака жизни. Я прошел всю улочку и, повернув за угол, оказался на площади, тоже пустой, с темными, полуразрушенными домами, стоявшими вкривь и вкось, кое-где даже налезавшими друг на друга, как будто их сбило в кучу мощное землетрясение. И тут все было пусто, все заколочено, только у одной двери я заметил сидящую на табурете, будто окаменевшую старуху; положив старые морщинистые руки на колени, она вперила безжизненный взгляд в пустоту. Что-то злое и даже пугающее было в этом мертвом городском пейзаже. Что за странное место, — подумал я, — оно совсем не похоже на другие старые районы Кракова, оно как будто перенесено сюда из другой темной и тяжелой истории. Вдруг я увидел на

фронте полуразрушенного дома, почти под самой крышей, полустертые еврейские буквы, уже не складывающиеся в слова, и нарисованный когда-то позолотой, а теперь черный от копоти *Моген Давид* — щит Давида, или проще говоря — шестиконечную звезду. Теперь все стало понятно: здесь жили евреи... Их уже давно нет, но остались выпотрошенные дома, разбитый кирпич, позеленевшее ржавое железо, запах старого пепелища и слабый, но еще вполне уловимый жуткий запах погрома.

Я прошел мимо большого дома с ложными окнами на полукруглом фасаде, вероятно, синагоги и, снова завернув наугад за угол, остановился перед распахнутыми воротами, за которыми виднелся небольшой дворик, заросший бурьяном. Подчинясь безотчетному внутреннему влечению, я вошел в этот двор и увидел длинную кирпичную стену с деревянной калиткой, тоже распахнутой; по обе ее стороны висели какие-то таблички с надписями на еврейском языке, а немного поодаль, на лавочке, сидели два нищих старика в покрытых пятнами люстриновых пиджаках и засаленных ермолках, два живых еврея...

Я вошел в калитку и оказался на кладбище.

То, что я увидел, так поразило меня, что я застыл на месте. В длинных рядах приземистых надгробий не было, на первый взгляд, ничего особенного, если бы не их древность, которая ощущалась сразу. Прежде всего — в черно-буrom земляном цвете плит, как будто слепленных из земли и глины. Однако это все же был камень — темный, ноздреватый песчаник, древний, почерневший и позеленевший от старости, казалось, что он столь же стар, как и сама земля, что никто его сюда не свозил, этот камень лежал тут всегда, эти надгробья выросли из чрева земли, не человеческая рука, а ветры, дожди и снега прошедших веков начертали видневшиеся на нем письмена. Древность была и в простоте и примитивности форм: большинство плит — вертикальные, плоские, иногда похожие на круглые, грубо обтесанные бревна, в которых угадывались очертания свитков торы, положенные по два в ряд среди двух вертикальных опор. Нигде ни одного надгробья из мрамора или другой ценной каменной породы, ни одного склепа, ни одного обелиска, всюду простые камни, черные и зеленые, расщепленные надвое или раздробленные временем на осколки и уже ни на что не пригодные, что, вероятно, и объясняло, почему их оставили здесь в покое и в годы оккупации, когда даже кровь и плоть евреев перерабатывались для нужд гитлеровской империи. Тут, на старом краковском кладбище, уже нечем было поживиться, ненавистное нацистам еврейство предстало здесь в виде каменных костей, разбросанных по мертвому полю, их уже не имело смысла разрушать.

Был тот вечерний час, когда сумерки медленно и неуклонно торжествуют над светом дня, в окнах домов, виднею-

щихся на краю кладбищенского поля, уже зажглись огоньки, и черные надгробья стали сливаться с черной, печальной землей. Осторожно ступая по невысокой сухой траве, словно боясь потревожить тех, кто уже спит века, я шел по кладбищу, часто останавливаясь и разглядывая древние письмены на плитах. Вдруг я увидел железную ограду, охватывающую просторным кольцом могучий ветвистый дуб, основание которого было тесно окружено могильными плитами. Все это было похоже на открытый склеп — *склеп дуба*, — подумал я, но тут же сам себя поправил: — нет, не так, лучше *семейство дуба* — ведь те, кто лежит у подножья этого дерева, наверное, были все из одной семьи или людьми одного и того же высокого общественного ранга. И вот, все они по очереди, в разные эпохи, удобрили своими останками землю, на которой вырос вековой дуб. Сегодня он — это они, они давно мертвы, а он жив, черные сучья его вскоре снова почувствуют пробуждающуюся жизнь земли, ее весенние соки поднимутся до его верхушки, и старый дуб опять зашумит юной зеленой листвою...

Эти сами собой напрашивающиеся мысли, которые обычно вызывают в нас умиротворение, не могли меня успокоить. Совсем не одинаковые чувства вызывает смерть. Сами по себе и древность кладбища, и примитивная красота его вековых надгробий, может, и вызвали бы во мне смирение и даже благость, но я не забыл того, что видел за оградой — пустые, опозоренные дома, вещественные следы дикой, ужасной участи последних потомков мертвецов, покоящихся на этом древнем поле. Их собственных могил здесь нет, их нет в целом мире, вместе с их исчезновением с лица земли закончилась и вековая история краковских евреев, начавшаяся в те далекие времена, когда только начало заселяться это кладбище...

Ужин в столовой варшавской общины близился к концу, подали компот — разваренные остатки каких-то сушеных фруктов, типичный компот дешевой столовки, проглоченный в один миг, как и все остальное, что подавалось на стол. Однако и после этого никто не встал из-за стола, казалось, что тягостная трапеза не будет иметь исхода. И снова раздался голос кантора, как будто даже окрепший и посвежевший:

— *Хадгадь... хадгадь...*

Голоса остальных участников сейдера, в которые тоже будто влили свежую струю бодрости, подхватили хором:

— *Хадгадь... хадгадь...*

Песенка о козочке, которую съела кошка...

Я помнил, как повторял вслед за отцом и братом слова этой песенки, и в то же время пытался представить себе в образах все то, о чем рассказывалось в ней: сначала белую козочку, которую задрала кошка, потом эту злодейскую кошку с горящими, злыми глазами и дымчатым хвостом, как она визжит, когда в свою очередь падает жертвой собаки, потом собаку,

извивающуюся под ударами палки, потом и самую палку — длинную и суковатую, которую тоже ожидает возмездие — ее пожирает огонь. Но и огонь не может бушевать безнаказанно — его заливают вода. А какова участь воды? Кажется, ее выпивает вол. А что происходит с волком?

Я прислушался к пению кантора, и сразу же исчезли мои детские видения. И я снова видел лишь прозрачно-белые лица своих соседей по столу и дурно освещенные стены столовки с пятнами старых, давно потемневших олеографий.

Теперь сейдер почти совсем потерял для меня всякий интерес. Зачем я сюда пришел? Что я понял нового? Я стремился сюда, чтобы увидеть настоящих евреев, продолжающих жить еврейской жизнью, мне хотелось узнать, как отразились на них новые поиски старого козла отпущения, отвечающего за все неурядицы и провалы, за все распри и интриги между сильными мира сего.

Что же я здесь увидел?

Жалкую кучку людей, все еще не оправившихся от катастрофы, случившейся четверть века тому назад и уже принадлежащей истории. Для тех, кто собрался сюда на пасхальный ужин, это не история. По их лицам, по глазам видно, что они продолжают испытывать муки старой беды. Что им интриги какого-нибудь Пясецкого или хитроумные планы генерала Мочара? Вряд ли их еще могут напугать и статьи, полные намеков и угроз, пробудившие страх у Якуба и Рафаила. Люди, сидящие за этим столом, уже потеряли чувство страха. Страх взаимосвязан с надеждой, а у них ее давно отобрали. Если бы даже воскрес сам Гитлер, он уже не многое мог бы у них отобрать... Я думал: неужели среди них нет ни одного человека, не сломленного хотя бы физически, никого, о ком можно было бы сказать, что он еще твердо стоит на ногах, что руки его не трясутся от слабости, а глаза сухи от слез?

Мне казалось, что такой человек есть за столом, и я уже давно бросал на него тайные взгляды. У него было тщательно выбритое, мускулистое лицо, с большим крючковатым носом и толстыми растопыренными ушами. Очень несимпатичное лицо. Одно из тех лиц с гипертрофированными семитскими чертами, которые любили рисовать карикатуристы Геббельса. Однако это было лицо здорового, энергичного и по-видимому вполне благополучного человека. Он был и хорошо одет, даже с легким оттенком щегольства: из грудного кармашка добротного, темно-коричневого пиджака виднелся белый платочек, галстук был прикреплен блестящей булавкой, на одном из пальцев светилось толстое золотое кольцо. Он и держался увереннее, чем все остальные участники сейдера, за ужином все время что-то требовал от официанток, раза два сам ходил на кухню и приносил себе добавки и тарелки с мацой. Рядом с ним сидела красивая женщина с пышными рыжевато-красными

волосами, за которой он ухаживал, накладывал ей еду в тарелку, подливал вина.

Я, наконец, решился спросить своего соседа, знает ли он этого человека.

— А как же! Его все знают!

Что-то брезгливое почудилось мне в тоне ответа. Мне не пришлось задавать новые вопросы, потому что мой сосед продолжал сам:

— Это такой человек! Представьте — во время войны он жил в Германии.

Я не поверил своим ушам:

— Как? Они не знали, что он еврей?

— Отлично знали! Ну и что? Думаете, что гестапо не нужны были и *такие* еврей? Или вы думаете, что не было *таких* евреев? Посмотрите-ка на него — он приходит сюда, как в свой дом. Думаете, что он платил за ужин? Как бы не так! Он считает, что община ему обязана. Ох, люди, люди!

Я опешил, растерялся... Я смотрел на человека с резкими семитическими чертами лица, не в состоянии больше ни говорить, ни думать. Не облачаясь в слова и растекаясь где-то в безмолвной глубине подсознательного, мои мысли все же заставляли сильнее биться мое сердце, пронизывая его острой, почти смертельной тоской. А когда эти темные и горькие мысли провалились в сознание и, побужав по его таинственной плоскости, как по пороховому шнуру, блеснули и рассыпались, как искры невидимого взрыва, они выразились в бедных, почти не передающих то, что происходило в моей душе, словах: *вот и все!* *Вот и конец!*

Несколько мгновений я мог только повторять про себя: *вот и все!* Нищие старики, беспомощные инвалиды, больные подростки, один жалкий безумец, один вор поневоле и один предатель, пособник палачей — *вот все*, что я увидел на варшавском сейдере! Что это значит? Есть ли тут какой-нибудь смысл? Можно ли из этого сделать какие-нибудь выводы?

Теперь, когда я вспоминаю вечер, проведенный в столовке еврейской общины, мне иногда кажется, что более точно и выразительно мог бы передать то, что я там увидел, талантливый живописец, который написал бы большое полотно: "*Варшавский сейдер*". Я, конечно, знаю, что великие художники не случайно рисовали "*Тайную вечерю*" и понимаю всю разницу между этим знаменитым сюжетом и жалкой пасхальной трапезой горстки несчастных варшавских евреев, на лицах которых художник не увидел бы ни благодати, ни внутреннего света, излучаемого откровениями новой веры. На варшавском вечере не было Учителя и святых апостолов. Тут собрались обыкновенные люди — нескладные, дурно одетые, в большинстве старые и больные. И никого из них не ожидало распятие — в сущности, их уже давно распяли. Их обыкновенные, трепетные ду-

ши, не владеющие великими истинами, были уже давно поруганы и распяты. Как, впрочем, и душа того из них, кому выпала роль Иуды... Какая жалкая и страшная картина!

Мне хотелось закрыть лицо руками и не видеть больше того, что я видел. Но, словно окаменевший, продолжал я смотреть на окружающих меня людей, на бескровные лица, пепельные губы, запавшие глаза, пока не почувствовал, как по моей горячей щеке скатилась слеза... Я воспринял это, как спасение в водовороте тяжелых мыслей и противоречивых чувств, одолевавших меня весь вечер. Впервые я перестал задавать себе вопросы, на которые у меня не было ответа.

Я плакал...

И тревога, горечь, тоска, преследовавшие меня сначала в Варшаве, потом в Кракове и Закопане, затем снова в Варшаве, уступили место любви, умилению и новому, неголовному пониманию происходящего. Я чувствовал, что уже никогда не забыть мне этот печальный пасхальный сейдер и этих людей, с которыми я сижу за одним столом. Я уже не ощущал себя среди них ни одиноким, ни чужим. Глядя сквозь слезы на своих соседей, я чувствовал нечто родственное в их бледных, измученных лицах. Вокруг меня сидели мои братья и сестры, я был дома, в своей семье.

Я сидел молча, стараясь не дать воли слезам, и чувствовал, как возвращается ко мне, как возникает во мне то особое время, что связано с лучшей порой моей жизни, благословенное время детства, в отчем доме. А время настоящее, то, что было вокруг меня, как будто остановилось, исчезло.

Я пишу это, стараясь восстановить в точности все, что со мной тогда произошло. Но ведь я не знаю, никто не знает, что такое время — исчезает ли оно бесследно или оно способно возвращаться. Настоящее только миг, а все остальное, чем жива душа, это, в сущности, воспоминания о более или менее отдаленном времени. Но я давно заметил, что в моих воспоминаниях прошлое не всегда одно и то же, оно изменяется по мере того, как *проходит время*. И я хорошо знаю, что от этого изменения или уяснения прошлого зависит и изменение настоящего. Каждый раз, когда зажигается свет в окнах прошлого и я пристально и упорно вглядываюсь в него, открывая в нем все новые и новые черты и новый смысл, изменяюсь и я сам, я становлюсь другим.

Именно это, по-видимому, и произошло со мной на варшавском сейдере. То, что я там увидел и почувствовал, пробудило во мне воспоминания, связанные с лучшими дарами, которыми я обладал в детстве: любовью и жалостью, потребностью в вере и способностью плакать. На протяжении почти всей моей последующей жизни все это заглушалось лукавым мудрствованием и нежизненными построениями разума. Но вот, в Варшаве, вместе с первой слезой жалости и любви, пришло и

неосязаемое чувство кровного родства между мною и несчастными, собравшимися на пасхальную трапезу в бедной столовке общины, пробудилось и мое инстинктивное, непосредственное знание о самых важных вещах в жизни.

И опять, как в самом начале вечера, но с еще большей достоверностью и мукой любви, я увидел своего отца. Я увидел его таким, каким привык видеть по утрам, как он надевает кожаные кубики с защитными в них молитвами — *тфилэн*, как заворачивается в полосатый плат — *талес*, — весь в черно-белых полосах, наподобие одежды кочевников в пустыне, наподобие гор Иудейских, как затаенно гнется над молитвенником, то закрывая глаза, то поднимая их к потолку со страстной мольбой... И опять, еще раз увидел я, увидел маму... Я увидел, как, управившись с домашними делами, в канун субботы, она ставит на стол зажженный подсвечник и, накинув на голову и лицо черную шаль, долго ворожит пальцами над дрожащими язычками пламени, шепча молитву благословения субботних свечей; а когда она потом откидывает шаль, в ее прекрасных, печальных глазах блестят слезы...

Множество подобных видений, картин, сцен ожили в моей памяти. И вместе с ними звуки и даже запахи тех далеких, невозвратимых дней. Я услышал горестную, сжимающую сердце мелодию *Кол нидре*, с которой начинались молитвы, и строгий пост *йом кипурим* — Судного дня, и дивные, страшные звуки рога, которыми этот день завершался при появлении первой вечерней звезды... Я услышал веселые напевы *Симхас тора* — праздника *торы*, дня, когда хмель и молитва выражали одно и то же: восторг, веру и беззаботность чувства... Я услышал гордые песни *Хануки*, когда семь вечеров подряд зажигали по новой свече, в честь сказочной победы Маккавеев... И чтение *Мэгилас Эстер* — истории Эсфирь, дочери мудрого Мордехая, рассказ о зловещих планах и позорной гибели Амана, юдофоба, который за тысячу лет до Гитлера готовил *эндлезунг* — "окончательное решение еврейского вопроса"; при каждом произношении имени злодея полагалось стучать ногами об пол, а нам, детям, вертеть изо всех сил специально приготовленные для праздника *Пурим-грагэры* — трещотки из жести или старого железа...

И новые мысли, смоченные слезами, по-новому осветили мне все это, что я пережил после приезда в Польшу. Я вспомнил вопросы, которые задавал себе все эти дни: кто еврей? Что значит быть евреем? — и мне стало неловко за них. Есть ли смысл в подобных вопросах? Правда ли, что существует какая-то особенная загадка, касающаяся евреев?

Многие историки, писатели и философы в этом убеждены. Одни искали тайну еврея в еврейской истории и религии. Другие, наоборот, искали тайну еврейской религии в судьбе и сущности еврея. Маркс, о котором напомнил старый коммунист

Якуб, объяснял существование евреев экономическими причинами и предсказывал, что в будущем обществе исчезнут и евреи, и еврейский вопрос. Будь Маркс нашим современником, ни его теории, ни даже странная неприязнь к народу из которого он вышел, отмеченная всеми его биографами, не спасла бы его от еврейской судьбы.

В чем же тайна этой судьбы? И есть ли тут вообще тайна? Есть боль и страдания. Быть евреем, значит испытывать ненависть и гонения. Под влиянием различных обстоятельств гонения то уменьшались, то возрастали, перекидываясь из одной страны в другую, с континента на континент. Иногда они почти совсем исчезали в одном месте, чтобы обрушиться с новой силой на новые поколения евреев в другом месте.

Быть евреем — значит испытывать боль. Боль напомнила мне, что я еврей, после многих лет, занятых работами и мыслями, далекими от еврейства. Боль заставила меня почувствовать свою близость к людям, сидящим за этим столом, которых я вижу впервые в жизни.

... Они все еще пели *Хагады*. Это пение было похоже на говорение вслух, на вздохи, причем каждый вздыхал по-своему, каждый по-своему произносил слова, но все они в общем выражали нечто единое. Мои ближайшие соседи — тихий и робкий человек с красными веками и старик с безумными глазами — оба пели *Хагады* с одинаковым бессмысленно-счастливым выражением на лицах. Я понимал, что им обоим теперь хорошо и спокойно, что они наслаждаются простой неприятельской мелодией, своей нерассуждающей верой, своей привязанностью к еврейским традициям. Они сидят здесь все вместе, за одним столом, все, что с ними произошло, не умертвило в них ни чувства принадлежности к одному народу, ни веру, то есть именно то, чего, вероятно, нехватало мне всю жизнь. Я, правда, верил... Но я верил в разум и разумное изменение жизни, а изменить можно не жизнь, а лишь самого себя, да и это страшно трудно. У этих людей другая вера — горячая, простая и неотчетливая, они не понимают ее разумно, не задумываются, ибо и не надо понимать то, что есть, то, что чувствуешь инстинктивно, то, что приносит успокоение и радость. Может быть, это единственная радость, которая еще осталась в их жизни.

Звуки и слова песенки о бедной козочке повторились, они то расходились, то вновь разом сливались в один вздох, в одно слово. Я вдруг увидел, что и человек с горбатым носом и презрительно выпяченным подбородком тоже поет *Хагады* и тоже вздыхает и произносит слова с каким-то бессмысленным восторгом. И я подумал, что этот ужасный человек, в сущности, тоже жертва общей еврейской беды, за которую он не несет ответственности. Каждое кровавое преступление в истории рождало и предателей — почему евреи должны составлять

единственное счастливое исключение? Требовать этого значит оказаться в старом магическом кругу еврейской исключительности, начертанном антисемитами.

Мне не хотелось комментировать все, что я видел. Так хорошо было просто сидеть за столом и петь вместе со всеми простою, доступною и ребенку, но истинно глубокую, дающую пищу для размышлений и мудрецу песенку о том, что после каждого преступления приходит и возмездие — таков наш мир, — сначала совершается преступление, без него, видимо, не обойтись — таков уж мир, — но потом обязательно наступает возмездие: кошка, задрывшая козочку, была наказана палкой, палку сжег огонь, но и его самого залила вода, а воду выпил вол, но и вола зарезал резник, а затем появился ангел смерти, прилетевший за душой резника — таков уж этот мир. Возмездие, конечно, приходит потом, бедной козочке от него не легче, песенка этого и не утверждает, в народных песнях нет лжи и казенного оптимизма, пасхальная песенка лишь напоминает о неизбежности возмездия, о вечной карусели, вечном чередовании зла и наказания за зло — таков этот мир... Но несмотря на радостное чувство общности со всеми окружающими, я все же был другим.

Они проползали петь *Хагадье*, а я продолжал думать о том, о чем я уже не раз думал и до этого, *сейдер* дал новый толчок внутренней работе моей души. Разумеется, я говорил тогда сам с собой не совсем так, как я это теперь записываю, я не думал о форме и логике, я как бы прислушивался сам к таинственной и глубокой, и страстной работе души. Сегодня, когда я пишу эти страницы, мне кажется, что смысл этой беседы с самим собой был примерно следующий.

... Никакой тайны в евреях нет, есть страдание, история страданий, их превращения, которые многие принимали за тайну и искали ее разгадку. Какая же загадка в страданиях? Разумеется, у евреев, как и у всех народов, имеются свои национальные черты, но они не объясняют еврейской судьбы. Самый устойчивый признак еврея — перенесенные им страдания. Может быть, еще и привычка к нему и умение его переносить. Но ведь страдания навязаны евреям остальным миром. Таков мир, а не еврей. Не пора ли понять, что еврейский вопрос — это прежде всего вопрос о неевреях? Это вопрос о природе каждого человека, о его способности или неспособности искать козла отпущения за свои собственные недостатки или свою беду.

Я вспомнил рассказы Янины, путанные объяснения Якуба и Рафаила, безнадежно запутавшихся в паутине, которую они расставили сами, в паутине абстрактных слов. Они все еще не хотят поверить в то, что опровергает общие слова, к которым они привыкли с юных лет, хотя уже многое узнали сами. Собственный опыт — верный путь, но длинный и тяжелый путь... Я вспомнил антисемитов, которых встречал сам, — а я

довольно их повидел на своем веку, они хотели доказать, что во мне что-то есть особенное; что-то было в них самих. Я ду- мал:

Еврейский вопрос — это следствие душевной нищеты и невежества слабых и тупых, ограниченных и завистливых, всех тех, кто считает, что их обошли в жизни, что-то не додали; это и проявление лакейства душевных рабов, готовых примириться с любыми унижениями, лишь бы существовал кто-нибудь, кто стоит еще ниже их, и кого они сами могут безнаказанно обидеть. Подобными чувствами одержимы иногда и законодате- ли, идеологи, чиновники мощных государств, бездарные и пугливые паразиты, вечно кричащие о величии своего народа, но в глубине души в него не верящие, так как считают его по- хожим на себя.

Еврейский вопрос — это, разумеется, и следствие хитро- сти и жестокости всякой бесконтрольной власти, старое нарко- тическое средство царей, императоров, князей церкви, взятое на вооружение в наш демократический век так называемыми народными вождями, генералами, диктаторами, мастерами трескучей фразы, манипуляторами — специалистами по исполь- зованию масс в своих корыстных интересах.

Еврейский вопрос — это также следствие холодности и равнодушия, а также темного, глубоко запрятанного в тайни- ках души удовлетворения, свойственного почти каждому чело- веку, когда он видит, что беда коснулась не его самого, а дру- гого. Еврей — это не я, а другой! Я ведь все равно ничем не мо- гу помочь, от меня ничего не зависит, я человек маленький... Но почему столь великое множество "маленьких людей", от которых будто ничего не зависит, с такой охотой приносят свою маленькую вязанку сухих дров к подножию костра, на котором подвергают сожжению *другого*?

В том-то и весь ужас еврейского вопроса: не в самих еврях причина его. Смазка колес истории еврейской кровью продолжается уже века, и причину этого следует искать не в еврях, а в ней, в истории: кровь рекою льется, кровопролив- цы сменяют друг друга, чем больше развивается цивилизация, чем больше успехи науки и техники, тем больше проливается и крови. Но сколько людей, евреев и неевреев, готовы не обра- щать внимание на общий ход человеческих дел, готовы видом не видеть и слыхом не слышать, только чтобы оправдать свои теории о порочности или, наоборот, святости евреев, их нераст- воримости, мятежности и прочих качествах, в которых будто бы лежит причина того, что с ними происходит. Но разве из-за евреев возник в Германии национал-социализм с его бредовой теорией превосходства арийской расы, с его захватническими планами и каннибальской готовностью к кровавым расправам? Разве еврейские врачи причина возникновения дела о "врачах- убийцах"? Профессора Вовси, Коган, Фельдман лишь лечили

Сталина, благоговей перед его мудростью и величием. И не выдающийся талант Михоэлса, не сочинения Фефера, Маркиша вызвали абсурдную, погромную кампанию, жертвами которой они стали. Еврейские писатели и поэты, как и их русские коллеги, как поэты всех советских национальностей, долгие годы воспевали Сталина, его гениальность, его любовь ко всем нациям и народам, в том числе и тем из них, которые на глазах поэтов и непозтов были погублены Сталиным...

Какой рок! Какое странное, удивительное положение, при котором нельзя ни измениться, ни спрятаться, ни покаяться и уйти от незаслуженной судьбы!

Бессильными прекратить гонения на евреев оказались ассимиляторы и радатели за эмансипацию евреев путем растворения в чужой среде, евреи, перешедшие в христианство и другие веры, еврей-атеисты, еврей-интернационалисты, еврей, примирившиеся с гонениями, кривящие душой перед самими собой и придумывающие благовидные предлоги для служения чужому делу и тем, кто их в сущности презирает, еврей, столь рьяно пытающийся забыть, что он еврей, что начинают искренно их ненавидеть, ненавидеть самих себя.

Бессильны и те, кто, наоборот, призывал замкнуться в своей среде, еврей, фанатично преданные своей религии и традиции, еврей, гордящиеся тем, что они еврей, национально мыслящие евреи, еврей-националисты. Им удалось создать еврейское государство, но вот оно с первого дня уже четверть века вынуждено вести войну за существование, конца которой не видно, а всех последствий никто не может предугадать. Израиль, рожденный из страстного порыва не допустить повторения катастрофы европейского еврейства, сам живет под угрозой катастрофы, во всяком случае, в положении осажденной крепости. Право убежища, которое предоставляет Израиль каждому еврею, великое благо для многих сотен тысяч евреев, породило новый предлог для притеснения других евреев, тех, кто не хочет, не может и, вероятно, никогда не сможет переселиться в Израиль. Нет, далеко еще, далеко до той исторической эпохи, в которой прекратится пролитие еврейской крови.

Израиль — это конец старой еврейской судьбы или ее продолжение в новом месте и в новой форме? Жестокий водоворот современной мировой политики уже подхватил эту новую щепку — еврейское государство. И вот уже закрутили, понесли и кидают ее во все стороны темные и безжалостные силы, определяющие нынешнее состояние мировых дел. Тут и стратегические интересы великих держав, о них, конечно, не думали уцелевшие узники лагерей смерти, искавшие после войны убежища в Палестине. Тут и ближневосточная нефть, сложное переплетение различных материальных интересов — его, разумеется, не учитывали ни пионеры, создавшие первые еврейские поселения на древней родине евреев, ни сего-

бородые старцы в старомодных кафтанах, ермолках и белых чулках, приезжавшие сюда выплакаться у Стены плача и бросить молитвенную записку в гробницу Рахили. Тут и отсталость, нищета и невежество арабских феллахов, благоприятствующие тирании властолюбивых генералов, иступленных полковников, фанатичных приверженцев Ислама, готовых на все ради власти. Тут и совсем особое явление, не имеющее прямого отношения ни к евреям, ни к Ближнему Востоку — болезнь современной молодежи, помешательство нашей эпохи, горячечный бред революционных фраз, иссушающие сердца молодых, наполняющие их неокрепшие мозги ненавистью и готовностью убивать людей якобы для блага человечества. И вот уже эти современные бесы, озверевшие от жажды крови, молодые люди, родившиеся в стране, где нет евреев, никогда в лицо не видевшие еврея и ничего не знающие о еврействе, прилетают из края восходящего солнца, расположенного за тысячи километров от Израиля с единственной целью пролить еврейскую и нееврейскую кровь на земле Сиона. И гибнут сыны и дочери Израиля по разным, но, в сущности, одинаковым причинам, часто не имеющим отношения к евреям и Израилю. Как четверть века назад, как в прошлые века, убийцы проливают еврейскую кровь, не понимая, что они делают. А так как сегодня им впервые отвечают на насилие насилием, убийцы и сами умирают, не понимая, за что они приняли смерть, заменяя смысл своих действий трескучими фразами и шальными выкриками, не имеющими отношения к реальной действительности. И только парижские студенты, которые в мае шестьдесят восьмого года написали на стенах Сорбонны: *"Мы все немецкие евреи"*, прозрели истину, хотя вряд ли и они понимали истинный смысл лозунга, придуманного молодым парадоксалистом, полным восторга перед собственной революционностью. Но это правда... Всякий страдающий — немножко еврей. А настоящий еврей страдает дважды: за свой народ и за народ, среди которого он живет. И в каждом обществе, в каждой группе людей, объединенных по любому принципу, есть свои козлы отпущения, свои евреи. У самих евреев тоже есть евреи, от которых можно отмежеваться. А само слово еврей и понятие еврейский вопрос обозначает не только трагедию одного народа, но безумие и жестокость мира людей, его противоречия, его вечные беды и особенно удивительное свойство человека испытывать неприязнь и даже убивать других людей по самым диким, фантастическим, сумасшедшим мотивам...

Как ни странно, но эта беседа с самим собой, все эти мысли, которые произвольно и, вероятно, не в такой форме, которую я придал им здесь, неслись в моем сознании, меня не печалили. Новое чувство, возникшее вместе с первой слезой и ноевое, неотчетливое знание текли в моей душе. Что-то тихое и успокаивающее, как музыка. Что это было? Любовь? Жалость?

Покорность перед лицом неизбежного и непреложного течения дел на земле? Душа болела, но боль эта уже не мучила меня. Я понимал, что в ней есть смысл. Боль была мне дорога, она искупала все то, что я сделал или не сделал в невозвратные годы жизни, все, среди чего и чем я жил. В этой боли была истина, которую я тщетно искал в шахматной игре ума!

Безответные вопросы меня больше не мучили, тайное стало явным, все, что увидел я в последние дни своего пребывания в Варшаве, только укрепило мое новое понимание происходящего и моего сопричастия к нему, хотя я находился в чужом городе, в чужой стране.

... Так было в районе Муранов, куда я пришел накануне своего отъезда из Варшавы, совпавшего с очередной годовщиной восстания, которое подняли здесь последние узники гетто, безоружные, голодные, лишенные даже надежды — этого питательного раствора, в котором обычно вызревают все человеческие бунты, — и вдруг увидел, что обычно пустая площадь заполнена толпой любопытных, наблюдающих за спектаклем, разыгрывающимся вокруг стоящего там памятника. Может быть, потому, что исполнилась ровно четверть века с тех кровавых дней, когда на этой площади ревели пожары, и объятые пламенем люди, как живые факелы, выбрасывались из окон стоявших здесь домов, траурную церемонию обставили с особой помпой: рослые солдаты в новеньких мундирах, в черных перчатках с ружьями на плечо, офицеры — высокие стройные красавцы, крепко затянутые кожаными поясами, в глянцевах, как стекло, сапогах, стояли с шашками наголо перед памятниками борцам гетто. И военный оркестр с медными трубами и литаврами, тоже надраенными до стеклянного глянца, с широкоплечим, бородатым тамбур-мажором в желтых крагах. И суетящиеся, перебегающие с места на место репортеры, увешанные сумками, аппаратами, блицами. И длинный белый фургон телевидения, окруженный черными лимузинами официальных участников церемонии, некоторые даже с буквой Д на номере, что указывало на их принадлежность к дипломатической элите.

Два солдата почетного караула вытянулись на верхней ступеньке памятника, непроницаемые и неподвижные, как и высеченные на нем изваяния. Рядом — две девочки, тоже прямые как струнки, с румяными щечками и красными пионерскими галстуками, опущенными на белые накрахмаленные блузки. У подножья монумента стояли еще два солдата, но без оружия — они принимали венки и аккуратно расставляли их по обе стороны черного гранитного постамента.

После моих встреч с варшавскими евреями, особенно после печального вечера в столовке еврейской общины, то, что происходило на площади, показалось мне видением из странного, фантастического сна. Однако самое невероятное тайлось

в венках, которые, как водится, были обвиты лентами с траурными надписями и названиями пославших их организаций.

Я немножко опоздал, спектакль уже начался: делегации с венками, выстроившись в длинный ряд, медленно приближались к памятнику, под торжественную дробь барабанов. Достигнув его подножья и отдав солдатам венок, члены делегаций строго и пристально вглядывались в печальную скульптурную группу, изображавшую повстанцев гетто с оружием в руках, в момент последнего, предсмертного напряжения духовных и физических сил. Потом столь же медленно и торжественно уходили от памятника, уступая место следующей делегации. Все это совершалось в молчании, но под неумолкающую щемящую дробь барабанов, при свете яркого весеннего солнца, пронизывающего своими стрелами темные, загорелые лица солдат, нежные личики девочек-пионеров и лица, отлитые из чугуна, трагические прекрасные лица повстанцев.

Приблизившись осторожными шагами к толпе зевак, стоявших по левую сторону памятника, я напряг зрение, пытаюсь прочесть надписи на траурных лентах. Мне хотелось узнать, какие организации считали своим долгом высказать уважение героям гетто. И мне это удалось: на черной ленте великолепного венка из красных и белых роз я прочитал название союза бывших польских партизан, знакомое название; руководство этого союза сыграло не последнюю роль в нынешних событиях, мне говорили, что его председателем является не кто иной, как генерал Мочар.

Итак, подумал я спокойно и вместе с тем удивляясь своему спокойствию, один из организаторов, быть может, даже инициатор травли последних оставшихся в живых польских евреев прислал сюда венок, чтобы почтить память мертвых евреев, что в этом удивительного? Не только евреям, но и неевреям, которые уже не слышат, часто приходится выслушивать слова одобрения и похвалы от своих врагов; глазам, которые уже не видят, охотно показывают трогательные знаки всеобщего к ним уважения *после* смерти...

Я стоял, глядел, и вместе со мной стояли и глядели на эту тщательно инсценированную, очень торжественную, а в сущности кощунственную церемонию другие люди, на лицах которых ничего не отражалось, кроме жадного любопытства. Стараясь подавить в себе неуместную сейчас иронию, я подумал, что если бы здесь вдруг произошло и какое-нибудь совершенно неслыханное, невероятное происшествие, все присутствующие наверно считали бы его в порядке вещей, как и венок генерала Мочара, присланный мертвым евреям. Может быть, я и сам не удивился бы, если б увидел, например, в ряду официальных участников траурной церемонии и делегации бывших эссовцев... У меня похолодели руки от этой неожиданной мысли, но сразу же, не закрывая глаз, я отчетливо пред-

ставил себе двух сухих, вытянутых как палки эсэсовских офицеров, с постаревшими, но все еще высокомерными лицами, в парадных униформах с зловещими знаками — череп и скрещенные кости — и всеми другими регалиями, все еще возникающими в кошмарных снах всех тех, кто когда-то имел с ними дело. Я представил себе, как они подносят к памятнику венок с дубовыми листьями и черной лентой со свастикой, как передают его солдатам и тоже застывают в скорбно-почтительной неподвижности, отдавая честь скульптурному изображению Ануяевича и его товарищей. И барабаны военного оркестра продолжают четко выбивать свою торжественную дробь, фоторепортеры щелкают затворами своих аппаратов, телеоператоры нацеливают на эсэсовцев свои объективы... У меня перехватило дыхание от ощущения поразительной достоверности и ясности, с которой я мысленно увидел это невыносимое зрелище, эту сцену, заставляющую сердце сжиматься от тоски.

Очнувшись от резкого скрипа тормозов и, обернувшись, увидел автобус с эмблемой польского туристского общества "Орбис", который только что подкатил к площади. Из него торпливо выходили какие-то люди, вероятно интуристы, мужчины все в черных галстуках, женщины в темных шляпках и черных перчатках. Те, кто вышли первыми, развернули на ходу широкую ленту, на которой было написано по-французски: *"Группа аргентинских антифашистов"*.

Мне не понадобилось пристально вглядываться в лица вновь прибывших, чтобы понять, что аргентинские антифашисты — это аргентинские евреи, оказавшиеся очень похожими на тех евреев, которых я видел недавно в столовке варшавской еврейской общины, но, разумеется, значительно лучше одетых и производящих впечатление вполне благополучных людей. Поспешно заняв место в хвосте колонны с венками, аргентинцы тоже стали приближаться к памятнику и, чем ближе они к нему подходили, тем отчетливее становилось их кровное родство с нищими евреями, праздновавшими пасхальный сейдер в столовке. И лица аргентинцев ясно выражали хорошо знакомые мне чувства боли, тоски и ужаса перед бедой, случившейся не только с теми, в честь кого был воздвигнут памятник, но и с ними, с каждым из аргентинцев в отдельности, что меня несколько не удивило — среди погибших в варшавском гетто вполне могли быть их родные и близкие.

... В последний раз я увидел эту же печать на лицах двух пожилых варшавян, которым я привез письмо от своих московских знакомых и получил приглашение на обед с повторными напоминаниями по телефону о старой французской поговорке: друзья наших друзей — наши друзья...

В крохотной однокомнатной квартирке, разделенной перегородкой, замаскированной книжными полками, — на диване, на креслах, даже на подоконниках тоже лежали книги, ино-

странные журналы и альбомы с художественными репродукциями, — меня встретила чета утонченных интеллигентов, свободно говорящих на нескольких европейских языках, в том числе и по-русски. Не прошло и четверти часа беспорядочного разговора за низким журнальным столиком, у которого меня усадил хозяин — маленький, в очках, с бескровным и добрым лицом, в то время как хозяйка — очень высокая, нескладная, с растрепанными волосами и крупными морщинами на сухом, загорелом лице суежилась вокруг обеденного стола, как я уже узнал, что оба они покинули Польшу в начале тридцатых годов из страха перед фашизмом, долго скитались потом по свету беспартийными эмигрантами и, обретя наконец после войны, в родной Варшаве скромную квартирку и постоянную работу с перспективой на приличную пенсию, вдруг с ужасом осознали, что снова стали эмигрантами, на этот раз внутренними эмигрантами в своей собственной стране; обоим угрожает увольнение с работы, а следовательно и крушение последних надежд на обеспеченную старость.

— Понимаете? — сказала хозяйка. — Мы ведь оба евреи... Оба казались смущенными...

На сером коврикe посреди комнаты лежала коричневая такса, длинная и худая как жердь, с добрыми глазами, неотрывно устремленными на хозяина.

— Это Казимир Казимирович! — представил ее хозяин.

Песик вдруг завизжал и стал метаться по комнате.

Хозяин виновато улыбнулся и объяснил:

— Я застегнул рубашку, а он решил, что я уже собрался на прогулку и радуется... Потерпи, дружок, мы выйдем после обеда...

Мы сели за скромно убранный стол с зелеными закусками, с бутылкой крепленого польского вина, и хозяйева, старательно ухаживая за своим гостем, принялись задавать какие-то странные, по-видимому, наводящие вопросы, смысл которых я долго не мог уловить, пока хозяйка, принеся из кухни только что снятую с огня сковородку с бифштексами, не сказала решительно и прямо:

— Нам очень хотелось бы узнать, как все это происходило в Москве в сорок девятом — пятидесятом годах, когда началась кампания против "безродных космополитов". Вы меня понимаете?

— Это было другое время, — сказал я уклончиво.

— Разумеется. Все же расскажите: у тех, кого объявляли космополитами, забирали квартиры и пенсии? Здесь ходят тревожные слухи на этот счет. Вы видите — у нас не бог весть что, но мы затратили столько усилий, пока получили эту квартирку в центре города и обставили ее. Знаете, у нас никогда раньше не было своего угла, своей библиотеки...

Казимир Казимирович, продолжавший внимательно смо-

треть на своего хозяина, тихонько и жалобно заскулил. Хозяин сказал:

— Бедный песик, он тоскует по любви, но я не могу найти ему невесту: в нашем районе все суки намного выше него... Для него, понимаете, это проблема.

Ничего удивительного не было в том, что у собаки была своя проблема. У ее хозяев тоже были проблемы. Теперь проблема возникла и у их гостя: мне стало ужасно жалко этих милых стариков, и я не знал, чем им помочь.

— Каждый день что-нибудь случается, — продолжал хозяин. — И каждый день что-нибудь может случиться. В ближайшие недели многое может решиться — это все понимают...

— А я уже не хочу понимать, — сказала хозяйка. — Хочу меньше понимать... Дать вам еще картофеля?

— Благодарю вас, не надо...

— А вина? Можно подлить?

— Спасибо. Разрешите — я сам...

Обед продолжался.

С трудом проглатывая пищу, приготовленную женщиной, не привыкшей стоять у плиты — бифштекс был сухим, пережаренным, картофель холодным — я сдержанно отвечал на вопросы, изо всех сил стараясь не открывать своих мыслей.

Что мог я сказать этим легко ранимым старикам, которые после стольких мытарств и испытаний, после эндеков, после Гитлера, после эмигрантских скитаний с их мучительными вымаливаниями виз и разрешений на право работать, после страха, которого они натерпелись в оккупированной Франции, вдруг оказались под угрозой новой и, вероятно, уже последней и окончательной в их жизни катастрофы? Они все время возвращались к тягостной эпохе конца сороковых и начала пятидесятых годов, как будто в ее чудовищном опыте могла сохраниться для них какая-то надежда. Что же мне было делать? Поделиться с ними моими воспоминаниями о том времени? Рассказать, что я думал, что испытал тринадцатого января пятьдесят третьего года, когда в московских газетах был опубликован список арестованных врачей, в большинстве евреев, заслуженных деятелей медицины, работавших в лечебном управлении Кремля и сознавших, что они не лечили, а убивали или готовились убивать своих высокопоставленных пациентов? Или поведать им о втором сообщении по этому же фантастическому делу, напечатанному четвертого апреля того же года, в котором говорилось, что арестованные врачи вовсе не убийцы, что их признания получены с применением незаконных методов следствия? Между этими двумя столь противоположными коммюнике было еще одно, заключенное в траурную рамку и напечатанное на первой полосе всех газет, — оно-то и повернуло колесо судьбы арестованных врачей — траурное сообщение от пятого марта, *мартовские иды*, как говорили тогда с осто-

рожной усмешкой московские интеллигенты старшего поколения, еще помнившие уроки римской истории. Была ли во всех этих событиях какая-нибудь закономерность? История может повториться? В Польше, однако, совсем другая ситуация, мартовские иды здесь невозможны...

— То, что у нас происходит, — сказал хозяин, — похоже на странное наваждение. Я совершенно не могу понять, почему люди так легко поддаются психозу, почему они с такой легкостью верят в нелепые измышления? Даже жертвы, я имею в виду евреев, тоже как будто чувствуют себя тайными преступниками. Неужели и в Москве так было?

Что я мог ответить? Я мог лишь вспомнить то, что я услышал в одно хмурое московское утро, в конце сорок восьмого или в начале сорок девятого года, теперь мне уже трудно сказать точно, когда это было, но обстоятельства и содержание разговора отпечатались в моей памяти навсегда: это происходило на кухне коммунальной квартиры в районе Пушкинской площади, где я снимал в те годы небольшую меблированную комнату. В квартире был еще один временный жилец — высокий, грузный мужчина с крупными и мясистыми чертами лица, с добрыми и наивными, как у ребенка, глазами, бывший партизан, кажется, даже помощник командира партизанского отряда, не получивший после войны ни должности, ни квартиры, и проживающий в Москве на птичьих правах лектора Общества по распространению политических знаний, от его имени он уже третий год читал одну и ту же лекцию: "Об одном партизанском рейде". Причина его неустройства таилась, как я понял, не в отсутствии мирной профессии и не в добром и мягком характере, не помечтавшем ему проявить решительность и мужество в военные годы, а в пресловутом пункте его анкеты — бывший партизан был евреем... Встречаясь со мной в коридоре или на кухне, этот уже не молодой человек, потерявший во время войны семью, выброшенный из старой колени и так и не нашедший себе нового, подходящего занятия в мирной жизни, дружелюбно здоровался и задавал всегда один и тот же вопрос: "Что хорошенького?" Несмотря на свои личные неудачи, он был полон оптимизма и был готов восклицать по любому поводу. Но в то утро, которое я так хорошо запомнил, бывший партизан был явно удручен. Ставя на плиту свой эмалированный синий чайник, он оглянулся на дверь и, понизив голос, спросил:

— Слыхали новость? Цикл Фефер и другие члены еврейского антифашистского комитета арестованы.

Не имело смысла притворяться, будто я не знаю того, о чем шепотом говорила тогда вся Москва. И я сказал:

— Да, слышал. Печальная история.

— Печальная? — удрученно воскликнул он. — Ужасная история, доложу я вам. Особенно для нас — евреев. Но знаете, что

я вам скажу? Если хорошенько подумать, в этом нет ничего удивительного.

— Как так? — спросил я растерянно, хотя и понимал, что лучше не ввязываться в такой разговор. — Вам известно, за что их арестовали?

— Догадываюсь... Во время войны Михоэлс и Фефер ездили в Америку. Вы это знали?

— Да, — сказал я с удивлением, не понимая, куда он клонит. — Они ездили собирать пожертвования американских евреев на антигитлеровскую войну. Ну и что?

— Они пробыли там семь месяцев. Это точно — мне говорил один осведомленный товарищ. Услыхав про аресты, я сразу вспомнил: семь месяцев в Соединенных Штатах! Не может быть, чтобы они за это время не связались там с кем-нибудь из наших врагов. Не может быть, чтобы их там не завербовали! Семь месяцев в Америке!

Я смотрел на бывшего партизана уже не с удивлением, а почти с ужасом. Но я не мог поверить, что он говорит серьезно. Я подумал: он испугался и жалеет, что заговорил со мной на эту опасную тему, поэтому и притворяется. Михоэлс и Фефер собрали в Америке много денег, медикаменты, одежду. Уже после войны в освобожденных районах долго раздавали так называемые американские пакеты — одежду главным образом, а это были посылки от американских евреев. Не может быть, чтобы этот храбрый и славный человек искренне думал, что достаточно побывать несколько месяцев в Америке, чтобы стать предателем своей страны. Какая чушь! Не может быть, чтобы он в это верил!

Но он верил... Я понял это уже тогда, на кухне, когда, заваривая чай, он пустился в наивные рассуждения о коварстве американской разведки и ее тайных методах, сведения, явно почерпнутые из какой-то вульгарной брошюрки о бдительности — такие брошюры печатались тогда огромными тиражами, как правило, их сочиняли литературные калтурщики и доносчики, не имеющие понятия о том, что такое разведка и как вербуют настоящих шпионов. В последующие недели, месяцы и годы, когда психоз разрастался, принимал все более массовый характер, я не раз убеждался, что не один только бывший партизан, мой сосед по квартире, искренне верил во всю эту глупую и зловещую ложь, очень многие и очень разные люди были тогда подвержены этому странному и ужасному помешательству. У одних — это было следствием ограниченности и воспитания, они привыкли думать газетными штампами и повторять то, что говорится по радио и на собраниях. У других странная вера, что каждый может стать шпионом, достаточно ему лишь побывать за границей или познакомиться с каким-нибудь иностранцем, а как известно, все иностранцы шпионы или вербовщики шпионов, была проявлением мучительной

жажды найти хоть какое-нибудь объяснение бесчисленным арестам и репрессиям, совершавшимся у них на глазах; человек цеплялся за любое объяснение, иначе он чувствовал, что может сойти с ума. И почти всегда тут присутствовало и некое странное свойство человеческой души, которая по собственной воле, как бы в состоянии транса, вызванного страхом, способна не только верить в преступность других людей, но даже наговаривать на себя, поверить в свою собственную тайную виновность...

Рассказать все это старикам, которые ждут от меня слов утешения? В конце концов, их собственное положение не такое уж безнадежное, теперь все-таки не сорок девятый год, к тому же из Польши можно уехать, польские власти, как говорили мне и Якуб, и Рафаил, разрешают евреям уезжать, даже поощряют эмиграцию. Эти старики провели полжизни за границей, неужели у них нам не осталось друзей, которые могут им помочь?

Настала моя очередь задавать наводящие вопросы, и вскоре выяснилось, что я не ошибся: у них остались друзья во Франции, в Швейцарии, даже в Западной Германии.

— В прошлом году я была в гостях у своей подруги в Париже, — сказала хозяйка. — И она уже дважды приезжала к нам в Польшу. Но и с ними очень сложно...

— Им туго живется?

— Ах, нет! Они живут хорошо. У них все есть, но пусто в душе. Понимаете?

— Откровенно говоря — нет!

— Да, это трудно понять тем, кто мало знаком с западным миром. Но мы долго жили на западе и знаем, что там есть свои проблемы. Теперь, когда эти страны стали еще богаче, проблем даже больше. Особенно для интеллигенции.

— Что же это за проблемы?

Хозяин задумчиво развел своими короткими руками и сказал:

— Главным образом, экзистенциальные. Если человек не видит смысла жизни, он несчастен. Экзистенциальный вакуум современного индустриального общества порождает неизвестный прежде психоз ноогенного характера. Вам это понятно?

— Нет! — упрямо сказал я, чувствуя, как во мне закипает злость.

... Я, конечно, слышал о модных экзистенциальных проблемах. Я читал о неврозе богатых, о литературном отчаянии сытых, которые после обильного обеда с деликатесными закусками и разными сортами вин, за десертом начинают жаловаться на то, что все очень плохо и мир катится в пропасть. Потребительское, пост-индустриальное или позднее-капиталистическое общество, как западные интеллигенты называют свою экономическую систему, дало им эти обеды, вина и десерты, автомашины и самолеты, возможность свободно ездить по миру, про-

водить свои отпуска где-нибудь на Гавайских островах. Но увы, оно еще не открыло им смысла жизни. Компьютеры не дали нового ответа на старые как мир вопросы: что такое человек? Куда он идет? А разве другое общество, основанное на другой экономической системе, еще не способно обеспечить своим членам элементарные материальные блага, уже раскрыло смысл существования человека на земле? У жертв "потребительского общества" по крайней мере больше свободного времени терзаться экзистенциальными страстями, чем у людей, которые всю свою жизненную силу вынуждены тратить на добывание куска хлеба и крова над головой... Впрочем, эти рассуждения бесполезны, лечить подобные неврозы нельзя словами, они ведь рождаются из слов...

Я злился... Подняв глаза к книжным полкам и увидев корешки и блестящие обложки с именами *Беккет*, *Роб Грийе*, *Сартр*, потом увесистый том *Мальро*, обернутый красной лентой с названием последнего сочинения этого прославленного и когда-то нравившегося мне писателя: "*Антимемуары*", я еще больше разошелся. Почему собственно *антимемуары*? Мальро тоже опасается, что иначе на его книгу могут не обратить внимания? Да ведь и это модное выражение уже стало штампом: анти-роман, анти-пьеса, анти-живопись. Кто найдет новое необычное слово, тому, вероятно, обеспечена мировая популярность...

Переведя взгляд с книжной полки на козлев этой коллекции новейших западных сочинений, на их лица, на которых застыло напряженное выражение людей, измученных древним страхом перед завтрашним днем, я сказал:

— Вы, очевидно, хорошо разбираетесь в проблемах запада, у вас собрана целая коллекция западных новинок. Ну а они, ваши западные друзья, понимают ли они ваши проблемы?

— О, нет! — печально ответила хозяйка. — Приезжая к нам, они видят, что здесь другая жизнь, не столь комфортная, как на западе, но у нас не надо много работать, нет смысла во что бы то ни стало зарабатывать побольше денег, ведь деньги у нас не решают все проблемы. Моя парижская подруга, которая была здесь не так давно, говорила: "Да пойми ты, что западные свободы только усыпляют революционные настроения. Сытость не дает счастья — лучше недоедать, чем иметь заботы о похудании... Зато у вас очень интересно".

Сначала я несколько растерялся, но уже через секунду воскликнул с ядовитым восхищением:

— Замечательно! Очень тонкие замечания делала ваша подруга. Жаль, что она не довела их до логического конца. Если свобода усыпляет, а голод предпочтительнее сытости, тогда самая интересная жизнь была, наверное, в Освенциме. Представляете? Многих уже сожгли, но тот, кто еще жив и еще не знает, когда его сожгут, испытывает самые острые ощущения

бытия. На пороге крематория не было свобод, усыпляющих сознание. Захватывающе интересно, не так ли?

Хозяйка растерянно улыбалась, а я подумал: надо говорить спокойнее, они ведь и так напуганы. И я изменил тон и спросил, рассказала ли хозяйка своей парижской порруге о том, что происходит в Варшаве, о своих страхах и опасениях.

— Разумеется, нет! Никто не знает того, что мы знаем. Я не могла говорить ей всю правду, до конца. Ведь она сторонник социализма, а я не хотела ее разочаровывать. Понимаете?

Да, это я понимал. И еще больше разозлился. Я был зол, как черт. Я злился на западную дуру, которую никогда в глаза не видел, но вполне мог себе ее представить: уже немолодая, но еще и не старая дама, с непреклонно доброжелательными глазами, с дряблыми щечками, уже не розовеющими от кремов и втираний, рекомендуемых бессовестной коммерческой рекламой. Я представил себе, как она разгуливает по Варшаве, как внимательно разглядывает или даже фотографирует все, что попадает в ее поле зрения, но ровно ничегошеньки не видит, даже не подозревает, что за обычными фасадами и будничными сценами городской жизни могут скрываться совсем другие отношения, другие заботы, другие оценки, чем те, к которым она привыкла у себя, в Париже. А если она и задумывается над внутренней сложностью увиденного, она судит о ней при помощи того же модного набора абстрактных слов и понятий, которыми полны парижские газеты. Она обо всем читала, все знает, обо всем слыхала: о технотронике, телеономии и теориях Маклюэна, о социализме, позднем капитализме и неокOLONIALИЗМЕ, о генах, ДНК и РНК и, конечно же, о Лейле Халед и Ульрике Майнхоф, может быть, даже об Амальбрике, если только она не путает его с Оруэллом, поскольку оба они писали о 1984 году... Во всей этой каше тонет одно: реальная действительность. Как ей увидеть, как понять самые простые, самые горькие проблемы жизни миллионов людей, еще не опутанных коварными нитями всяких устаревших свобод и ненужных потребностей? Слишком много словесных сигналов несется в ее хрупкие интеллигентские мозги, слов, означающих не только то, что есть, но и то, что желательно, слов — грез, слов — мифов, слов, далеких от всякой реальности, но чем абстрактнее и дальше от действительности, тем красивее они звучат — ведь еще Руссо говорил, что только то, чего не существует, — красиво! А современная техника располагает такими мощными средствами повторять, внедрять, вдалбливать в головы слова, и не приходится удивляться, если множество людей отказывается от мышления: слова дают на них, как приказы, под гипнозом слов они плачут и смеются, аллодируют и изрыгают проклятья, правительственно машут руками или открывают стрельбу из автоматического оружия. Как предохранить себя современному человеку от слов, превращающих его в раба, а иногда в убийцу?

Услыжав тихий вой, я снова посмотрел на Казимир Казимировича. Он по-прежнему лежал на ковре в неподвижной позе, поджав под себя свои коротенькие лапки, и тихонько скулил. Он явно страдал. Он был весь во власти сладких грез и страстного ожидания минуты, когда люди встанут наконец из-за стола, хозяин застегнет рубашку, наденет галстук, пиджак и шляпу и направится к двери, и начнется настоящая жизнь — пятнадцать минут беганья по тротуарам, обнюхивания всех кустиков, вдыхания опьяняющих запахов мочи знакомых и незнакомых сучек...

Я почувствовал, что вся моя злость прошла. Мне было жаль Казимир Казимировича. Я пожалел и интеллигентную парижскую дуру, о которой думал с такой злостью. Нужно ли сердиться на людей, попавших под власть слов? Язык, уверяет современная наука, это счастлирое изобретение эволюции, мощное средство ее ускорения, именно он превратил обезьяну в человека. Каким образом привычка мыслить о жизни абстрактными словами может превратить человека, если не в обезьяну, то уже во всяком случае в дурачка, наукой еще не исследовано.

Печальный обед подходил к концу. Хозяйка уже принесла кофе, но судя по выжидательному выражению лиц, и она, и ее муж все еще надеялись, что человек, прибывший из страны, где произошло столько тягостных событий, каким-то непостижимым образом связанным с построением разумного и счастливого общества, все же откроет им его тайны и закономерности и тем самым приподнимет завесу с их собственного будущего.

Подавленный, я молчал. Опять заскулил бедный Казимир Казимирович, и я подумал, что ему я все же смог бы помочь, для этого нужно лишь сократить свой визит. Собачья проблема вероятно единственная, поддающаяся разумному решению. Впрочем, кто может быть уверенным, что мы действительно понимаем эти проблемы?

Я отказался от второй чашечки кофе и встал из-за стола:

— Извините, но мне пора идти: я должен еще успеть в "Орбис", чтобы получить место в поезде.

— Вы уже уезжаете? — спросила хозяйка.

— Да, завтра всему конец...

... На площади бывшего гетто окончание церемонии возложения венков еще не означало конца. Как только последняя делегация — два старика со следами военной выправки и медалями на груди передали свой венок солдатам, стоявшим у подножья памятника, офицер, командовавший почетным караулом, высоко поднял шапку, и вся рота прошла в движение, готовясь покинуть площадь. Но и после ухода солдат и военного оркестра толпа не расходилась. Случайные зрители, смешавшись с участниками церемонии, окружили памят-

ник с таким видом, будто здесь еще должно что-то произойти. Не уходил и я, хотя и понимал, что ничего больше не произойдет. Но тут я услышал в толпе еврейскую речь.

— Вы из самой Аргентины? И куда же вы едете?

Старая, бедно одетая женщина задала этот вопрос другой женщине, тоже пожилой, но в шляпке, в нарядном демисезонном пальто с позолоченными пуговицами, в модных туфлях на широких каблуках. Лица обеих женщин показались мне чем-то неувлимо похожи; может быть потому, что у обеих были заплаканные глаза.

— Куда мы едем? Думаете, я знаю? Работаете всю жизнь, мучаетесь, волнуется, бережете монету, а на старости почему-то надо садиться в самолет и лететь, ехать... Куда? Мой муж знает весь маршрут, он вносил деньги в бюро, а по мне лучше бы мы сидели дома. Мои родители, правда, родились где-то здесь, в Венгрии. В нашей группе есть евреи из Польши, из Румынии, даже из России. А вы из Варшавы? Как вам теперь живется?

— Неплохо, — сказала первая женщина и, оглянувшись, добавила потише: — Дай бог нашим врагам такую жизнь!

— Что? Каких врагов вы имеете в виду?

— Говорите потише...

— Почему? Разве у вас запрещено говорить по-еврейски?

— Нет, не запрещено. Но лучше говорить потише.

— Что значит — лучше? Я не понимаю. Вы можете мне объяснить?

— Только не здесь. Я приеду к вам в отель. Можно?

— Почему нет? Мы живем в "Бристоле". Приходите к обеду или ужину, вы нас застанете. А почему вы боитесь разговаривать здесь? Я не понимаю...

— Я потом вам все объясню. Скажите, вы случайно не бывали в городе Сан-Паулу, в Бразилии? Это далеко от вас? У меня там родня.

— Мой сын бывал в Бразилии — сейчас мы его спросим... Михо! Где ты пропал? Михо!

Посмотрев вокруг, я с удивлением увидел молодого человека, небрежно одетого, длинноволосого и даже в длинных испанских бачках, ни дать, ни взять молодой кабальеро из какого-нибудь приключенческого кинофильма. Но подойдя к матери, молодой испанец тоже заговорил по-еврейски:

— Почему ты кричишь? Сколько раз я просил тебя не кричать — я же не маленький!

— А сколько раз я просила тебя не отходить от матери? Слушай: вот у этой дамы есть родственники в Сан-Паулу. Может, ты их случайно знаешь?

— Конечно, знаю, — саркастически сказал молодой человек. — В Сан-Паулу около шести миллионов жителей, говорят, скоро будет восемь или даже девять миллионов. Как зовут ваших родственников, сеньора? Чем они занимаются?

— Тише, — сказала варшавская еврейка, пугливо озираясь по сторонам. — Ради бога, потише...

— Почему потише? — снова удивилась еврейка из Аргентины.

— А что будет, если мы поговорим громко?

— Завтра я уезжаю из Варшавы, — повторил я, уже стоя у дверей и глядя, как Казимир Казимирович, понимая, что наступило его счастливое время, перебегает из комнаты в прихожую и обратно, радостно скуля и тычась мордой в ноги хозяина.

Прежде, чем уйти, я все же поведал опечаленным старикам один эпизод из моих воспоминаний о том мрачном времени, которое им так хотелось понять и втиснуть в рамки логически развивающихся и, следовательно, предвидимых событий. Я рассказал им, как в те ужасные годы, когда ложась спать, я не был уверен, что ночью за мной не придут, — тогда в этом не мог быть уверен ни один человек, в том числе и те, кто обслуживали зловещую машину репрессий, — один из моих друзей, уже пожилой человек, который многое видел и понял на своем веку, дал мне совет: "Считайте, что вы уже посажены. Считайте, что вы не избежали этой участи, и вы перестанете ждать и терзаться неопределенностью. Вам сразу станет легче. Считайте, что вы уже посажены, но сегодня вам еще позволено ужинать в кафе и даже сходить в кино. Это не так уж плохо".

— Замечательно! — воскликнула хозяйка и даже захлопала в ладоши.

— Он был прав, ваш мудрый друг. Думаю, что и нам следует придерживаться его совета. Будем считать, что мы уже уволены и снова стали отщепенцами, но нам еще позволено жить в своей квартире, а время от времени даже получать зарплату. Спасибо! Большое вам спасибо. Все-таки вы нас немножко утешили...

Уходя с площади бывшего гетто, я почувствовал усталость и опустился на деревянную скамью, стоявшую на краю площади. На ней уже сидели два человека — мужчина и женщина, оба пожилые, скромно, но прилично одетые и, видимо, чужие друг другу, так как они сидели на разных концах скамьи. Оба смотрели на памятник борцам гетто, который был виден отсюда с тыльной стороны.

Я тихо сел на скамью и тоже стал смотреть на чугунное изображение старухи, которая покорно бредет в крематорий, ведя за руку внучку... В этом печальном барельефе не было символики — сгорбленная старуха и ребенок, идущие на смертную муку, напоминали о будничной повседневности тех ужасных дней.

Переведя свой взгляд на соседей по скамье и не увидев в их лицах ничего еврейского, я подумал, что эти два старых жителя Варшавы, возможно, были свидетелями возникновения,

а затем гибели гетто. Сохранилось ли в их старческой памяти то ужасное время? Судя по тому, что они пришли сюда сегодня, оно им не безразлично.

Предчувствие не обмануло меня. Когда я спросил старика, сидевшего поближе ко мне, помнит ли он гетто, он ответил, покачивая слегка трясущейся головой:

— О, да, проше пана, — я помню...

— Как же не помнить! — вмешалась вдруг в разговор старуха, повернув ко мне свое морщинистое, бескровное лицо. — Я вот и сама работала в гетто.

— Преше пани, — сказал старик, обращаясь уже не ко мне, а к женщине. — Разве пани...

— Нет, я не еврейка, — живо сказала старуха. — Но я работала в одной пошивочной мастерской, которая принадлежала еврею. Мастерская была здесь, в гетто, и я приезжала сюда каждый день.

Старик недоверчиво покачал головой:

— Разве поляков пускали в гетто?

— У меня был пропуск, — сказала старуха. — Немецкий аусвайс. Мастерская работала на немцев, и у всех рабочих были пропуска.

— Преше пани, у меня тоже был аусвайс на работу, но не в гетто. В гетто жили только евреи, а еврей, пани...

— Если хотите знать про евреев — спросите меня! — строго оборвала его старуха. — Говорят вам, что я работала в гетто и все сама видела...

— Преше пани, я тоже видел. Однажды, во время акции, я стоял почти что у ворот в гетто и видел...

— Подождите, — сказала старуха. — Акции начались потом. В первое время евреи работали. Когда их увозили из гетто, тоже говорили, что увозят на работу...

— Да, да, вот это верно, — сказал старик, покачивая головой. — Их обманывали.

— Не перебивайте! — раздраженно сказала старуха; у нее заблестели глаза и загорелся румянец на скулах. — Про евреев я могу вам рассказать, потому что я все видела своими глазами: облавы, акции, поджог домов. Слушайте...

И старуха, перескакивая с одного на другое, начала рассказывать все то, что уже давно засвидетельствовано документами, показаниями очевидцев, судебными протоколами. Но странное дело: в ее рассказе не было живых деталей, как-то даже не верилось, что она была свидетельницей событий, она как будто излагала газетную статью, и ее сухой, старческий голос оживлялся лишь тогда, когда старик, который тоже претендовал на роль живого свидетеля, вдруг начинал оспаривать ее утверждения, и она раздраженно ставила его на место. Прислушиваясь к их странному диалогу, я вскоре начал понимать, в чем тут дело: все то страшное, что четверть века назад видели

своими глазами эти двое, уже давно окаменело, омертвело в их старческой памяти, потеряло форму образов и превратилось в абстрактные сведения, не волнующие чувства и не затрагивающие сердце. Они говорили о евреях не как о людях, с которыми они когда-то жили бок о бок, интерес представляли уже не евреи, а только те невероятные факты и цифры, в которых выразилась их страшная судьба: статистика казней, расстрелов, массовых убийств. "В первую акцию было вывезено и убито три тысячи евреев", — сказала старуха. — "Не три, а по меньшей мере пять тысяч", — сказал старик. "Не возражайте, я это знаю от самих евреев", — сказала старуха. "А сколько по-вашему было вывезено и убито евреев до восстания?" — спросил старик. "Триста с лишним тысяч", — сказала старуха. "Нет, по меньшей мере пятьсот тысяч", — сказал старик. "Да, если считать вместе с евреями из деревень, которых привезли в Варшаву", — сказала старуха. "А сколько евреев было убито во время восстания?" — "Пятьдесят тысяч". "Нет, восемьдесят тысяч". — "Пятьдесят, самое большее — шестьдесят тысяч"...

Я слушал, полный ужаса. А когда они еще начали уточнять эти цифры, раскладывать их по графам и спорить о том, сколько евреев было расстреляно, сколько повешено и газировано, я встал со скамьи и, не оглядываясь, поспешно ушел с площади.

Но и это еще не был конец!

Теперь, всего лишь четыре года спустя, описывая свои польские впечатления, я вижу, что уже не могу изолировать их от других впечатлений в моей памяти, оставшихся от других поездок, событий и раздумий, связанных с сознанием своей неотделимости от общей еврейской судьбы. Тут все смешано, тут нет начала и нет конца.

Но где остановиться мне в рассказе о печальных польских днях?

Помню еще один варшавский разговор, неожиданно воскресший в моей памяти перстень, который я видел много лет назад, в Москве. С этим перстнем связано одно из самых жестоких воспоминаний всей моей московской жизни.

Итак, воспоминание о перстне.

Я бы уже сейчас не мог описать подробно его владельца, с которым был поверхностно знаком. Помню, что он был невысокий, тонкий, с напряженным выражением лица и что носил он очки в тонкой оправе. Помню также, что он был любезен, остроумен, но не очень-то разговорчив. Перстень, который он носил на пальце левой руки, я вижу однако живо, как будто видел его только вчера: массивный, не яркий, очень хорошего тона, без камня, но с монограммой из трех букв древнееврейского алфавита: *гимел, заин, ид*, что примерно соответствует русским буквам — г, з, и... Но я знал, что эти буквы никак не совпадают с инициалами имени и фамилии владельца.

И вот однажды, когда мы случайно оказались с ним за одним столиком, в писательском ресторане на улице Воровского, и я украдкой разглядывал перстень с таинственными буквами, его владелец перехватил мой взгляд и спросил:

— Вы не понимаете, что это значит: Гимел, зайн, ид — *гам зе явоjr* — слова Соломона: и это пройдет!

И он улыбнулся печальной, напряженной улыбкой, в которой, как мне показалось, затаилось предчувствие беды. А может быть, мне это только теперь так кажется? Ведь я плохо знал того человека и вряд ли мог судить тогда о его настроении. Но теперь-то я знаю — человек этот был обречен.

... Надпись на перстне обреченного: "И это пройдет!"

Все, о чем я здесь рассказал, уже прошло. Еще тогда, в Варшаве, один из моих собеседников это предсказал. Это был журналист, довольно известный, талантливым, но пострадавший сразу же после начала кампании против сионизма: его уволили с работы. Однако он не пал духом, не испугался, и стал продавать мебель, книги и другие вещи, твердо надеясь таким образом переждать трудное время. Старательно скрывая свою гордость, он говорил мне тогда:

— Главное, продержаться несколько месяцев. На худой конец — год. Это не может продолжаться вечно. Что-нибудь случится, положение изменится и кампания о сионистских заговорах станет неактуальной. Все кампании когда-нибудь становятся неактуальными. Все проходит. И это пройдет!

Вот тогда-то я и вспомнил московский перстень и, взглянув на своего собеседника, на его большой и уже лысый лоб, на его маленькие глазки, полные скрытой горечи и, вместе с тем, скрытой иронии, которую принято называть еврейской, я печально подтвердил:

— Да, все проходит. Вероятно и это пройдет!

— ...И это уже прошло!

В последнее время в Польше никто, по крайней мере публично, уже не занимается еврейским вопросом. Те польские евреи, которые выдержали все нападки и унижения и остались в стране, живут как все, никто их больше не делит на категории и не обличает в заговорах. Можно ли в варшавской синагоге собрать хоть по большим праздникам десять человек — *миниен* — без которого нельзя начинать еврейское богослужение? Существует ли еще еврейская община, а при ней столовка? Устраивают ли еще там на пасху торжественный ужин — *сейдер*? Этого я не знаю...

Но варшавский журналист предвидел правильно, что подтверждают все, кто побывал в Польше в последние год-два. Правда, его самого, журналиста, о котором я говорю, уже нет в Варшаве. Его имущества, старых книг и отцовских часов с зо-

лотой цепочкой все же не хватило, чтобы дожидаться пока и это пройдет. Он сдался и уехал из Польши. Однако его пророчество сбылось в самом прямом смысле слова: произошли новые события — забастовки в северных городах Польши. После того, как в Гданьске пролилась кровь, всем стало совершенно очевидно, что как бы ни сложились отношения между Израилем и арабами и что бы ни думали польские евреи о положении на Ближнем Востоке, это не решит насущные вопросы польской жизни. И евреи перестали занимать политические умы. И Гомулка больше не произнес ни одной речи о евреях. Впрочем, Гомулка уже не произносит речей — он вынужден был подать в отставку. У генерала Мочара, который так и не занял место Гомулки, вероятно тоже появились другие заботы. И это прошло...

На свете все проходит, все кончается. Осенью того же года, когда я ездил в Варшаву, я узнал о смерти Якуба, мужа Янины. Узнал и то, что вскоре после его смерти Янина уехала из Польши. Она не вынесла страха, оскорблений и эмигрировала вместе со своими сыновьями. Мне сказали, что она поселилась в Западной Германии, но я не хотел в это поверить, пока один наш общий знакомый, приехавший в Москву, не подтвердил эти сведения, объяснив и причину ее выбора: она хорошо владеет немецким языком, к тому же, у нее нашлись в Западной Германии друзья, которые помогли ей устроиться.

И все же, когда я вспоминаю Янину, всегда чувствую недоумение и горечь. Как живет она в Германии? Не встретила ли она там случайно на улице кого-нибудь из бывших надзирателей Освенцима? Не ожили ли под немецким небом старые сновидения и кошмары, хранящиеся в ее измученной памяти?

...И это пройдет. Старое, как мир, изречение, его приписывают мудрому царю Соломону или Экклезиасту. Впрочем, это одно и то же. Надпись на перстне...

Пора назвать имя его владельца. Благодаря особым обстоятельствам, оно попало на страницы многих словарей и справочников: Ицик Фефер — еврейский советский поэт. Это он носил перстень с древне-еврейскими буквами: гимель, зайн, ид. И от него же я узнал, что они означают.

Ицика Фефера уже нет в живых. Но перстень долговечнее жизни одного человека. Сохранился ли перстень Фефера в его семье? Или его конфисковали в пользу государства после расстрела его владельца? Уж не фигурировал ли этот перстень на следствии по делу Фефера, как некое доказательство таинственных и зловещих замыслов еврейских заговорщиков из Еврейского антифашистского комитета, среди прочих абсурдных и фантастических улик, в их абсурдном и жестоком деле?

И это прошло...

Ицик Фефер мертв. Он был убит, как и другие еврейские писатели и поэты, как Перец Маркиш и Лев Квитко, как наделенный великим даром актер и режиссер Михозэлс, как старый большевик Лозовский, который тоже был евреем, о чем он вряд ли часто вспоминал в течение своей долгой политической карьеры — и в Еврейском антифашистском комитете он участвовал по поручению партии. Имена менее известных и тоже казненных членов этого Комитета уже забыты...

Как мучительно давно видел я в последний раз перстень с мудрой надписью и его несчастливого владельца. И, кажется, только вчера сидел я в столовке еврейской общины Варшавы, на сейдере последних варшавских евреев. В моих воспоминаниях и время от времени повторяющихся снах эти события живут вместе. И хотя образы уже потускнели, я вижу их с прежней жалостью и любовью и с тем особенным чувством печали и недоумения, которое я бы назвал еврейским, потому, что другого названия я для него не нахожу.

Мне иногда снится стол варшавского сейдера, и я опять вижу горестные лица сидящих за ним людей. Я вижу и высокий синий бокал Ильи Пророка, наполненный до края белым вином. Я знаю, что такого бокала не было ни варшавском столе, он стоял на пасхальном столе в отчем доме. Вспоминая об этом во сне, я сразу же вижу отца и мать. И мы опять сидим все вместе за пасхальным столом, и я опять задаю вслух традиционные *четыре вопроса*, с которых начинается ритуал сейдера: "Чем отличается эта ночь от всех остальных ночей?" И я опять ловлю на себе взгляд матери, полный любви и нежной, глубокой грусти...

Что же вижу я во сне, или в полузабытьи: стол варшавского сейдера или пасхальный стол моего детства? Мне кажется, что это уже один стол. Иногда я вижу за ним Янину, Якуба и Рафаила. И даже слышу их голоса. Но удивительное дело: я слышу голос Янины, а вижу лицо моей матери: или наоборот. И я вижу лицо Якуба, но он разговаривает голосом старика с безумными глазами, который сидел рядом со мной в столовке варшавской общины. Весь в слезах просыпаюсь я после таких видений... По ком же плачу я во сне? По отцу и матери, по своему детству, по моей жизни, катящейся под гору со всеми ее радостями и печальми, несбывшимися мечтами и осознанными, но уже непоправимыми ошибками? Или я плакал о варшавских евреях, с которыми я правил сейдер, о горестной доле тех покорных, безмолвных евреев, которые уже ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, и о Якубе, Янине и Рафаиле, забывших, что они евреи, об их глубочайшей тоске, муке, недоумении? Но ведь ни Янины, ни Якуба, ни Рафаила не было за варшавским пасхальным столом...

Что значит — было? Что значит — не было? Это есть все во мне, следовательно, это существует!

Через какое-то количество дней или лет меня тоже не будет. Все проходит, протечет и моя жизнь. Вместе со мной телесным исчезнет и все то, что во мне есть, все мои мечты и чувства, моя любовь и ненависть, мое горькое раскаяние, мои сновидения. Неужели жизнь оставила такие тяжелые и сложные следы в моей памяти, в моем сердце, и все это отойдет навеки и ничего не останется?

Нет ничего ужаснее мысли о бесполезности наших мыслей и наших страданий. Можно сойти с ума, если поверить буквально в современные, строго научные добавления к древней мудрости Экклезиаста: все не только проходит, но все на свете случайно, сама жизнь на земле случайна, ее вполне могло не быть, а все то, что собой мы представляем, есть не что иное, как продукт слепой эволюции, сохраняющей во всем живом целесообразные изменения, тоже возникающие совершенно случайно... Если так, почему сохранены во мне потребность любви, жалости, раскаяния, с которым я родился? Какая целесообразность в том, что я все еще испытываю тоску каждый раз, когда вспоминаю свою давнюю поездку в Польшу? Почему так томило меня желание описать варшавский сейдер?

Конечно, эти страницы — не повесть, не роман, не путевой очерк, не эссе. *Варшавский сейдер* — это я сам, частица моих представлений, моих чувств, рубец души моей.

Гам зз явойр!

И это пройдет? Это уже прошло?

Да, все прошло, ничто не прошло! Все проходит, ничто не проходит...

Москва, 1972.



Андрей Синявский

РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

Среди проблем советского государства национальный вопрос представляется одним из самых острых и возбуждает особенно бурные споры и разные толки в настоящее время. Главную причину этого можно обозначить одним словом — Империя. Сначала — Российская Империя, как она сложилась в течение столетий и досталась в наследие новому строю. А затем — Советская Империя, поставленная на развалинах старой и еще более упрочившаяся и расширившаяся в своем мировом могуществе. В наше время это единственная в мире империя и уникальная в мире страна по громадности своей территории и многонациональному составу. Естественно, это имперское положение необыкновенно осложняет национальный вопрос.

В качестве очередного этапа экспансии и самосохранения империи периодически выдвигается откровенно-националистическая доктрина, вступающая в конфликт с национальным самосознанием других народов. Так что, возможно, будущее советской системы во многом упирается именно в национальный вопрос.

Что это такое — русский великодержавный шовинизм — в виде мировоззрения, я попытаюсь представить с помощью "Книги Воспоминаний" одного из великих князей, Александра Михайловича. Она была написана в эмиграции, издана в 1933-м году. Автор с юмором и грустью вспоминает о своей юности и о своем воспитании. Время действия 1885 г. Перед нами раскрывается официальный курс воспитания членов Императорской

фамилии, будущих или потенциальных правителей России — в духе строгого патриотизма, — ведь они были призваны стоять у самого кормила власти и, значит, должны отличаться особенной чистотой и точностью взгляда на русскую историю и на русскую политику, который им прививали специальные, проверенные преподаватели и православная церковь. Великий Князь Александр Михайлович вспоминает:

“...Мой духовный актив был отягощен странным избытком ненависти ... Не моя вина была, что я ненавидел евреев, поляков, шведов, немцев, англичан и французов. Я осуждаю православную церковь и доктрину официального патриотизма, которая вбивалась в мою голову в течение двенадцати лет учения, — за мою неспособность относиться дружелюбно ко всем этим национальностям, не причинившим мне лично никакого зла.

...Мой законоучитель ежедневно рассказывал мне о страданиях Христа. Он портил мое детское воображение, и ему удалось добиться того, что я видел в каждом еврее убийцу и мучителя. Мои робкие попытки сослаться на Нагорную Проповедь с нетерпением отвергались: “Да, Христос заповедал нам любить наших врагов, — говаривал о. Георгий Титов, — но это не должно менять наши взгляды в отношении евреев”.

... — Император Всероссийский не может делать разницы между своими подданными не евреями и евреями, — писал Император Николай I на всеподданейшем докладе русских иерархов, которые высказывались в пользу ограничений евреев в правах — он печется о благе своих верноподданных и наказывает предателей. Всякий другой критерий для него неприемлем. К несчастью для России, способность моего деда “мыслить по-царски” не была унаследована его преемниками... Мне нужно было гораздо больше усилий, чтобы решительно преодолеть в моем характере ксенофобию, посеянную в моей душе преподавателями русской истории... Мои “враги” были повсюду. Официальное понимание патриотизма требовало, чтобы я поддерживал в своем сердце огонь “священной ненависти” против всех и вся...”

Конечно, это не значит, что вся русская школа и православная церковь только так и воспитывали поколения русских людей. Но приведенный пример официального воспитания показывает, что такое великодержавная ксенофобия. И, разуме-

ется, русское общество и русская интеллигенция (тем более революционная среда) на проявления национализма и ксенофобии, на доктрину Великой и Неделимой России ответила в конце концов – Интернационалом.

А когда рухнула империя, а затем рухнула и демократическая республика и к власти пришли большевики, им пришлось заново решать национальный вопрос, который оказался совсем не таким простым, как это представлялось раньше, до революции. Оказалось, что классовая борьба всего не решает. Оказалось, что освобожденные народы вовсе не спешат, а то и совсем не желают кинуться в объятия Советской России, что на окраинах бывшей империи начинает складываться своя, национальная государственность под флагами разных стран, партий и армий. Требовалось вновь собрать эту рассыпавшуюся страну – под флагом единой центральной власти – собрать военным, дипломатическим и идейно-пропагандистским путем.

Казалось бы, революция призвана была упразднить русский национализм, предложив совершенно иной путь и способ объединения наций, нежели старая Империя, которая строилась на великодержавном шовинизме. Но, с другой стороны, революция подняла престиж русского и России и в собственных глазах, и в глазах всего мира. Победив в гражданской войне, нация как бы взяла реванш за все – за Цусиму, за поражения в войне с Германией, за вековую нищету и невежество. Конечно, при этом у нее отнимали чуть ли не всю национальную старину, религию, традиции и даже само название "Россия". Но давали взамен ощущение национальной силы и самой широкой всемирной перспективы. Вместе с революцией, вместе с интернационалом, национальное русское чувство приобрело характер русского мессианства. И сам партийный гимн "Интернационал" стал для многих звучать как русский гимн. Это обстоятельство послужит впоследствии одной из предпосылок перерождения интернационализма в великодержавный национализм.

Историк и философ Федотов в 20-е гг. отмечал, что "партия неуклонно русеет" после смерти Ленина. В середине 20-х гг. в высших партийных инстанциях начинается чистка, как тогда говорили, от "заевреивания кадров". К 27-му году, наиболее видные партийные лидеры еврейского происхождения были выведены из состава Политбюро, а за последующие 10-20 лет – и из состава ЦК. Происходило это, конечно, не в виде прямой

антиеврейской кампании. А было связано с тем вначале, что в стране в этот период вообще происходила смена руководящих партийных кадров. Складывался "новый класс", по терминологии Милована Джиласа, и основу этого служилого класса составляла уже не революционная элита, а консервативный середняк, человек массы. И, естественно, этот класс формируется в основном из национального большинства, из русских и отчасти из украинцев. А евреи и латыши, игравшие такую заметную роль в первые годы революции, теперь, в 30-е годы, сходят со сцены.

В 34-м году в связи с кампанией вокруг парохода "Челюскин" Сталин торжественно произносит уже достаточно забытое к тому времени слово — *Родина*. Это слово прозвучало неожиданно, поскольку раньше, вся официальная идеология строилась на том, что советский человек в своих эмоциях и поступках руководствуется любовью к революции и коммунизму, чувством братства и солидарности с трудящимися всех стран, а не любовью к своему отечеству и к своему национальному корню. Понятия "отечество", "родина", "патриотизм" относились к миру призраков дореволюционного прошлого и несли отрицательный привкус старой, царской России. И вдруг все эти слова пришли в движение и получили высшую санкцию — от самого вождя партии и государства.

И, по-видимому, не случайно начало этого патриотического подъема падает на 34-ый год. К этому году закончилась коллективизация, т.е. раскулачивание и закабаление деревни. Народ лишился земли, лишился своего национального крестьянского уклада. Взамен утраченной окончательно почвы, начинается игра на национально-патриотических чувствах народа, который объявлен самым великим, могучим и счастливым народом в мире. Лживая и мишурная патриотическая идеология призвана возместить действительные и роковые национальные утраты.

Отныне мы будем идти не под знаменем Интернационала, а под знаменем — Родины. Это слово более отвечало примитивному сознанию нового служилого класса с его жадной "Хозяина", с его рабскими замашками и одновременно с его чувством возросшего собственного достоинства.

В 37-ом году с патриотической помпой отпраздновали 125-ую годовщину Бородинского сражения, битвы русских с

Наполеоном. По этому поводу появились тогда знаменательные по стилю и лексике статьи в советских газетах. Это был не просто юбилей, не просто память о великой битве, а символ веры 37-го года:

“В 1812 году солдаты русской армии, несмотря на то, что они были крепостные, показали всему миру мощь великого русского народа, восставшего, как один, против иностранных захватчиков... Столетиями будет чтить народ это величайшее дело патриотизма!” (“Вечерняя Москва”)

Казалось бы, ничего особенного. Действительно, Россия в конечном счете одолела Наполеона. Действительно, русские солдаты показывали чудеса храбрости, хотя и были, в основном, бывшими крепостными крестьянами. Новое и странное в другом. В том, что классовые противоречия и достоинства уступают место национальным чувствам. Русский народ, независимо от крепостного права, независимо от помещиков, независимо от царского гнета, — то есть независимо от всей марксистско-ленинской концепции истории, — все равно оказывается самым великим и самым могучим народом. Значит, в истории действуют и побеждают не классовые, а национальные факторы. Значит, русский народ где-то изначально сильнее и лучше всех других народов.

Тогда же, в нарушение всех революционно-пролетарских традиций, газета “Правда” прославляет фельдмаршала Кутузова и помещает его портрет в царских орденах. Это первый, после революции, торжественный портрет царского генерала, который отныне должен “вечно жить в сердцах трудящихся”. До сих пор “в сердцах трудящихся” вечно жили лишь великие революционеры или стихийные бунтари, вроде Спартака, Степана Разина и Емельяна Пугачева. И вдруг какие-то царские полководцы, которые всегда считались врагами трудящихся и страшными реакционерами, тоже входят в знак достоинства “советского человека” и “советского народа”. Интернациональные “классовые принципы” отступают перед национальным величием героев, которые становятся символами Российского и Советского великодержавия.

Своего расцвета русский великодержавный национализм и шовинизм достиг в конце 40-х — в начале 50-х гг. Это связано с необыкновенно возросшей военно-политической мощью Советского Союза в результате разгрома Германии и восточно-

европейских приобретений. Требовалось держать все эти завоеванные и зависимые страны в твердой узде. К шовинизму толкала и дальнейшая агрессивная политика Советского Союза, подготовка к новой войне, холодная война с Западом, т.е. резкое возрастание антизападных настроений. Пропагандная задача состояла в том, чтобы вчерашних союзников — англичан и американцев — представить пособниками фашизма. Вместе с тем, захватив пол-Европы, требовалось не допустить проникновения европейского воздуха в Российскую метрополию. Необходимо было также идеологически и психологически компенсировать страшные жертвы и потери, понесенные во время войны, и пышной фразеологией прикрыть низкий жизненный уровень в стране. Этот низкий уровень особенно бросался в глаза офицерам и солдатам после знакомства с жизнью Европы, откуда они возвращались домой, в свою нищую Россию. И вот начинается патриотическая истерия, безграничное — до небес — самовосхваление.

В подмене интернационализма великорусским шовинизмом многие винят Сталина. И Сталин, действительно, приложил к этому руку весьма заметно и повел страну националистическим курсом. Сталин был русоцентристом. Дочь Светлана о нем пишет: "Отец любил Россию очень сильно и глубоко, на всю жизнь. Я не знаю ни одного грузина, который настолько бы забыл свои национальные черты и настолько сильно полюбил все русское".

Но, я полагаю, проблема сложнее и глубже. Ленин тоже любил Россию и тем не менее был противником великодержавного шовинизма и за это, в частности, критиковал Сталина.

Если исходить из сугубо личных качеств Сталина, то, может быть, именно потому, что он все же недостаточно обрусел и слишком хорошо помнил свое грузинское прошлое, он всячески старался от него отрешиться. Сначала, как интернационалист, которому не пристало выпячивать свое национальное происхождение. А затем, позднее, это нарочитое пренебрежение своей грузинской кровью связано, конечно, с тем, что Сталин сделался единовластным вождем огромной советской Империи и в этой роли не мог и не хотел проявлять себя грузином.

Нерусское происхождение Сталина, безусловно, задевало какие-то больные струны в народе. И Сталин это прекрасно понимал и не хотел быть грузинским царем в России, а хоте..

быть русским царем, императором всяя Руси. Кстати, вероятно именно поэтому он любил щегольнуть какой-нибудь старинной русской поговоркой или какой-нибудь популярной цитатой из русских классиков. И произносил с особым ударением, с мудрой задумчивостью: "ны Богу свэчка, ны черту кочерга". А грузинскими словечками и цитатами не баловался, не щеголял. С него хватало его грузинского акцента.

Но это не было притворством. Сталин искренне считал, что служит интересам всей империи и в первую очередь России, как национальному большинству, и что он не вправе оказывать какое-то предпочтение Грузии. Существует версия, что некий дошлый историк, желая очевидно подольститься к Сталину, на основании смутных, еще при царице Софье, сплетен, сочинил и представил доклад о том, что Петр Первый был незаконным сыном грузинского посла, царевича Вахтанга. И, говорят, Сталин написал на этом докладе следующую резолюцию: "Великий человек принадлежит той стране, которой он служит".

Предпосылка великодержавного шовинизма, сменившего интернационализм, коренится в закрытом характере советского государства. Причем странность состоит в том, что это государство стало закрытым еще под знаменем интернационала и благодаря интернационалу. По этому поводу немецкий философ Вальтер Шубарт, противник большевизма, но отчаянный русофил, писал: "Странная ирония истории: интернациональный марксизм, не признающий никаких национальных рамок, самым резким образом отграничивает Россию от всех остальных народов. Вопреки своим очевидным намерениям, он обновляет национальное чувство и распространяет его в слоях ранее им незатронутых. Китайской стеной отделяет он Россию от заграницы. Никогда Россия не была так предоставлена сама себе, как теперь" ("Европа и душа Востока", 1938 г.).

Но развивать интернационализм в государстве закрытого типа нельзя или очень трудно. Ведь интернационализм предполагает постоянное общение народов и их взаимное узнавание, взаимное расположение, симпатии, а не только общие лозунги, выброшенные в мир. Советское же государство боялось открыть границы. Народ, можно сказать, варится в собственном соку и выделяет национализм как единственный смысл собственного существования. О загранице у него самые превратные представления. Да и как может быть иначе? Помимо пропаган-

ды тут важную роль играет сам фактор отчужденности от всего остального, несоветского мира. Общение простого русского человека с этим заграничным миром можно передать анекдотом о том, как француз обсуждает с русским транспортные проблемы. — Утром, когда я еду на работу, — говорит француз, — я беру метро: и трафик, и парковаться трудно. На уикенд, в деревню, я еду на машине. А на каникулы, за границу, летаю на самолете. Русский отвечает: — Я живу почти так же. На работу я тоже езжу в метро. Летом на дачу я добираюсь электричкой. Ну а за границу? За границу я обычно выезжаю на танке.

Понятно, что в результате такой замкнутости и постоянной вражды государства по отношению к Западу возникают всевозможные страхи и фобии. Возникает чувство своего невероятного превосходства, подчас основанное, как это ни странно, на неосознанном чувстве собственной неполноценности. Подобное явление хорошо известно психиатрам и многократно описано в литературе применительно к отдельной человеческой личности. Но такое же сочетание возможно и в жизни отдельных наций в какие-то исторические периоды, что мы и наблюдаем в советской истории.

Любой национальный характер и всякое понятие о "душе народа", о его национальной психологии — это загадка, уходящая в далекое прошлое и требующая бесконечных исследований. Поэтому я попытаюсь наметить лишь некоторые тенденции в русском национальном характере. Но хочу оговориться, что эти черты порою противоположны или направлены в разные стороны и одно направление иногда исключает другое. Либо, совмещаясь, они образуют причудливый и противоречивый рисунок. Представим это в виде какой-то схемы, заведомо неокончательной и не вполне определенной, поскольку эта сложная материя не укладывается в четкие и однозначные категории.

Итак, первое русское национальное качество я определил бы понятием и словом "патриотизм", как это слово ни истрепано в его пышном, советском употреблении и как оно ни тривиально. Разумеется, всякий народ любит свое отечество. Но у русских это носит подчас характер мистической привязанности к чему-то очень широкому и до конца непроясненному, даже необъяснимому. Русский патриотизм готов привязаться к чему угодно, лишь бы под этим чем-то подразумевалась или просве-

чивала родина. Это может быть "нищая Россия", которую любят за ее убожество, бедность, безответность. И это может быть "великая, могучая Русь". И стародавний девиз: "За веру, царя и отечество!" может смениться другим девизом: "За власть Советов", "за мировую революцию!" или: "за партию, за дело Ленина-Сталина!" Но в основе новых лозунгов порою бессознательно или скрыто проявляет себя патриотическая идея. Символы патриотизма меняются, но сама эта черта остается неискоренимой и не имеющей до конца рационального обоснования. Так что Сталин знал, что делал, нажимая кнопку с надписью "патриотизм", хотя крайне упростил и вульгаризировал это понятие.

Русский патриотизм далеко не всегда сводится к национализму, хотя достаточно часто национализм порождает и таковым питается. Родина для русских порою настолько сверхличное и даже сверхнациональное начало, что переходит иногда в своего рода религиозное чувство. Государство использует это чувство и его эксплуатирует, но чувство это шире любых материальных идолов. Потому, кстати сказать, эти идолы меняются, а суть остается. И как это свойственно религиозному сознанию, русский патриотизм нередко граничит с мессианизмом. То есть, состоит в том, что Россия несет или призвана нести в мир какую-то высшую идею. Какую именно — не всегда известно. Но непременно — высшую.

И другое уточнение. Хотя патриотизм и связывает русских в какую-то семью, эти семейные отношения далеко не идеальны и сопровождаются тяжелыми распрями и междоусобицами, что не свойственно в такой степени другим народам, воодушевленным национальной или патриотической идеей. Дружба русских между собою нередко кончается дракой. Притом дракой по идейным соображениям и даже из патриотических чувств — в зависимости от того, кто какое значение вкладывает в понятие "родина".

Одна из особенностей русского национального характера это способность человека удовлетворяться единственно тем, что он — русский (что означает — хороший). И, соответственно, его подозрительность к другим народам, которая находит выход в национальной нетерпимости, вплоть до ксенофобии. В русской психологии чрезвычайно укоренились представления "свой" и "чужой", "наши" и "не наши". Вероятно, это восходит к патриархально-семейной старине, которая заставляла вос-

принимать человеческие отношения прежде всего под знаком родства и неродства. Этот человек из нашего рода или нет? из нашей деревни? из нашей губернии? — короче говоря, "свой" или "чужой"? "наш" он или "не наш". Корни, очевидно, в глубокой древности. Известно, например, что некоторые маленькие народы Кавказа свое национальное название производят от понятия "свои" и "наши". Так что в буквальном переводе имя народа, которое он дает самому себе, — означает: "свои люди" или "наши люди".

В старинных русских сказках мы часто встречаем забавные обороты на тему "наши" — "не наши", "свои" — "чужие". Например, черти, в виде эвфемизма, называются словом "не наши". "А потом прилетели не наши": означает — "а потом прилетели черти". "Наши" — это единственно русские. А, скажем, немецкий дух — это чужой, это нечеловеческий дух. И неслучайно в русском языке слово "немцы" — означает немые, то есть не умеющие говорить по-русски, "нелюди", иногда нечистая сила. И, соответственно, "татары" — это те, кто пришел из Тартара, из ада. А мы, русские, мы светлые, мы славные, мы православные, мы славяне.

Конечно, в современном, советском обиходе все эти корни потеряны. Но продолжает существовать разделение на "своих" и "чужих". При этом, конечно, понятие "свой" носит весьма расплывчатый образ, который не имеет уже точного определения. И тем не менее, этот образ всякий раз восстанавливается. Позавчера "свои" — это русские (или парни из нашей деревни). Вчера "свои" — это красные. Сегодня "свои" — это советские люди. Завтра "своими" могут стать белые или серо-буро-малиновые. Оттенки, играющие определенную роль на определенном отрезке истории, — в принципе, в более широком смысле — не так важны. Важен принцип — свои или чужие.

Это настолько глубокий инстинкт, что им оперирует всю Советская власть, и разделение "свои" — "чужие" входит в самую психологию и в официальный язык советского государства. Когда допрашивали диссидента в КГБ, то ему очень часто сначала говорили: "Нет, вы не наш человек!" А потом, желая склонить к раскаянию, прибавляли: "Но вы же все-таки наш человек? Отвечайте: "наш" или "не наш"!" И хотелось спросить: "А почему я должен быть непременно "нашим" или "не нашим"?! Но это незаконный вопрос. Потому что все челове-

ство делится на "своих" и "чужих". И это коренится еще где-то в глубинах подсознания в виде разделительного вопроса: "русский" ты или "не русский"?

Я полагаю, что проявления ксенофобии у русских людей чаще всего связаны с чувством и сознанием собственной бедности, нищеты, неполноценности. То есть — возникает типичное противоречие: мы, русские, лучше всех, потому что нам хуже всех. Но к этому прибавляется еще одно чувство — зависть. Это чувство особенно стимулировала революция и советская власть, раздувая огонь классовой борьбы. И вот неожиданно классовая вражда иногда проявляется в виде межнациональной розни. Это — взрыв ненависти к богатым странам именно за то, что они богатые, тогда как мы бедные. На низком, простонародном уровне приходилось слышать, когда, например, советские войска оккупировали Чехословакию: "И правильно сделали! И чего этим чехам надо было? Жили лучше нас, русских. И все им мало!"

Это — классовая зависть, переведенная на национальный язык.

Кстати говоря, русский народ всегда воспринимал дворянство и интеллигенцию как инородцев или как иностранцев. Различия в costume, в языке, в манере поведения служили признаками "чужака", "не нашего". Барин — это иноземец. Говоря иными словами, опять-таки классовая неприязнь облекалась в национальную форму. И что-то похожее наблюдается в советском обществе, когда простой народ относится к интеллигенту как к инородцу. К зависти тут примешивается идея равенства. И если кто-то выделяется, значит, это не наш. Известны случаи, когда русского интеллигента принимали за еврея только потому, что он носил очки или много читал.

Понятия "свой-чужой" получили особое развитие в годы советской власти. В течение многих лет занимались тем, что выискивали, распознавали и уничтожали классового врага, на которого ложилось клеймо — чужой. А когда с классовыми врагами покончили, появился национальный враг. Любопытно, что первые признаки государственного антисемитизма проявляются вскоре после того, как ликвидировали последних классовых врагов — кулаков, т.е. зажиточных крестьян. Классовую ненависть само государство стало переводить в рамки национальной вражды. И вот возникает новый, я бы сказал, классовый

во-национальный враг — евреи. А вскоре после войны еврейский вопрос обостряется. И до сих пор остается острой национальной проблемой.

Евреи хлеба не сеют.
Евреи в лавках торгуют.
Евреи раньше лысеют.
Евреи больше воруют.

Евреи люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в райкопе... (Б.Слуцкий)

Короче говоря, все было бы хорошо, если бы не было евреев. Евреи вдруг становятся каким-то чужеродным телом в Советском Союзе. Да будь еврей трижды обрусевшим и по внешности неотличимым от русского, он все равно несет как бы что-то противоположное России и русскому народу. Он — чужак, но притом еще скрытый чужак, которого необходимо выискивать. Так идея классовой борьбы завершилась антисемитизмом — на всех уровнях, от государственной власти до бытовой повседневности.

Некоторые считают, что евреи потому вызвали на себя волну антисемитизма, что сделали революцию. Но про это хорошо сказал Бунин:

" "Левые" все "эксцессы" революции валят на старый режим, черносотенцы — на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого — на соседа и на еврея: "Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жида на все это дело подбили..." " ("Окаянные дни").

Евреи — это новый "классовый враг", которого необходимо ликвидировать. Почему? Возможно, в частности, потому, что евреи заняли место и сыграли роль русского дворянства в советской истории.

В отличие от многих русских, которые пошли по партийно-административной линии, евреям не оставалось другого выхода, как учиться, получать образование и стать в итоге русской интеллигенцией. Это, естественно, вызывает ненависть — ненависть плебса: комплекс неполноценности русского человека по отношению к евреям.

Самый несчастный народ — русский народ — ищет виновника в другом народе. Логика здесь такая. Ведь не может быть, чтобы мы, русские, были такими плохими, что установили Советскую власть и создали беспощадное коммунистическое государство. Это сделали не мы, а кто-то другой. И вот начинаются легенды — легенды о том, что Россией правят чужеземцы. А поскольку никаких чужеземцев нет — то Россией правят евреи. Евреев давно уже выбросили со всех ответственных постов, в правительстве не осталось ни одного еврея, правительство проводило порой откровенную антисемитскую политику. И тем не менее, в сознании русского народа, им управляют евреи. Когда я просил все это объяснить, то мне говорили: — Ну разве может русское правительство так угнетать русский народ? Разумеется, это делают не "свои", а "чужие"? А кто такие "чужие", замешавшиеся в русский народ? Разумеется, евреи. И все Политбюро — это евреи. И все КГБ — это евреи. То есть, не свои, а чужие люди, притворяющиеся своими.

Я думаю, что русский антисемитизм — это не просто ненависть к евреям. Русский антисемитизм, помимо прочего, это стремление выбросить из себя собственный грех и вынести его во вне, объективировать в виде какого-то "чужого", вкравшегося в "нашу" жизнь под видом "своего". И сюда же примешиваются обычная советская шпиономания, вечные поиски "врагителя", "врага".

Теперь попробуем взглянуть на будущее этой Империи с точки зрения национального вопроса. Это будущее мне рисуется в довольно мрачном свете. Либо империя будет заглатывать мир за миром, либо она должна распасться. И одно может сосуществовать другому. Пробуждение малых национализмов — это естественная реакция на давление Империи. И если в Африке возникают новые и самостоятельные государства, то почему же, спрашивается, Грузия, Армения, Украина и т.д. не могут? Только потому, что ими владеет Россия? Но не бывает вечных Империй. И если мир не погибнет в результате советских завоеваний, произойдет рано или поздно развал Советской Империи. Это будет страшно для русского народа, населяющего окраины. Потому что эту русскую прослойку будут вырезать. И для того, чтобы спастись в пределах России, — следующим после марксистской идеологии и ей на смену, очень может быть, придет русский фашизм, как условие выживания нации. И он уже приходит.

Чисто-националистическая идея не может завладеть миром. Никто не согласится жить под откровенным господством одной нации. И поэтому мировая Империя, с фашистскими устремлениями, вынуждена волей-неволей проповедывать интернационал. Но в кризисной ситуации она станет откровенно-фашистским государством. Для этого уже есть движение снизу и уже существует несколько разновидностей русского фашизма.

Первая разновидность — это национал-большевизм, который уже составляет ядро советской государственности. Для него марксизм, интернационализм — просто демагогия. Настоящая (внутренняя) идея — это великодержавие во главе с несчастным и могучим русским народом.

Второй вариант — откровенный фашизм, отбросивший все марксистские словечки и взывающий непосредственно к русскому народу как к единственной основе. Фашисты такого типа уже существуют и, чтобы утвердиться, главным противника находят в евреях (внутренний враг) и на Западе (внешний враг). Причем Запад трактуется как международное еврейство. Этот фашизм развивает следующую, довольно простую, концепцию. Евреи хотят завладеть миром. Для этого они сначала — в виде провокации — придумали Христа и христианство, которое подсунили Западной Европе. В результате, после прекрасной греческо-римской античности, Европа вверглась во мрак Средневековья. Но когда Европа, с помощью Просвещения, начала освобождаться от уз христианства, евреи, вместо Христа, подсунили Европе следующую бомбу — Маркса с его социализмом.

В итоге главные враги фашизма такого типа — это Христос и Маркс. А если уж необходима религия, то следует вернуться к культуре языческих национальных богов. Существует даже лозунг этого фашизма: "Нет Бога кроме Тора и Гитлер его пророк". В переводе на русско-славянское язычество Тор — это Перун. Разумеется, поклонение Тору, Перуну, или Вотану — носит сугубо декоративный характер и апеллирует, единственно, к чисто национальным истокам, незамутненной еврейско-европейской культурой. На русской почве этот фашизм маловероятен. По той причине, в частности, что в национальном, в расовом отношении русский народ нечист. В русском человеке перемешано много кровей — и татарская, и финская, и чего

только там нет. Сама русская физиономия не походит на арийца. И для единства русской нации нужно искать другое, более широкое, определение. Так возникает третий вариант: православный фашизм.

Идеологи этого направления говорят, что русские — это православные. А кто не православный — тот не русский. В качестве идеала государственного управления предлагается Теократия: власть церкви вместо государства. Выдвигается лозунг: "Православизация мира". Цитирую одного из теоретиков этого направления, православного фашизма. Это диссидент — Геннадий Шиманов:

"Советская власть беременна теократией... Советская власть предназначена стать инструментом для создания ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА на земле, которого не было еще никогда в мировой истории, но которое по Писанию (если верить ему) должно непременно быть... Ранее такой степени единодержавия никогда еще не было... Монархический строй почти либеральному относился к господствовавшим в обществе настроениям... И только теперь, с образованием Советского государства, появилась возможность того, чтобы ПАРТИЯ, самодержавно правящая страной и не имеющая конкурентов в политической жизни, ...руководствовалась не чем-то неопределенным, вроде наших былых Государей и Государынь, а — ПРОГРАММОЙ построения подлинно христианского общества... Если предположить грядущую трансформацию Коммунистической партии в ПРАВОСЛАВНУЮ ПАРТИЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, мы получили бы действительно ИДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО...

Революция в России имеет ВСЕМИРНОЕ значение, а из этого следует, что и плоды ее должны распространиться со временем на весь мир. После Великого Октября речь должна идти о ПРАВОСЛАВИЗАЦИИ ВСЕГО МИРА и, как следствие этого, об известной русификации его. Идей грядущей ПРАВОСЛАВНОЙ ТЕОКРАТИИ — вот единственная творческая идея, которая имеется в наши дни".

Это может показаться бредом, ничем не грозящим Западу, в отличие от коммунизма. Да, Западу это пока что мало угрожает. Но подобного рода идеи угрожают Православию как христианской религии, поскольку стремятся превратить религию — в правящую партию, в орудие насилия. Само советское

государство построено как Церковь (церковь без Бога). А сейчас возникает другая, новая волна — превратить Православную Церковь в государство на базе церковной советской государственности. То есть, оставить все как есть. Но вместо красной звезды нацепить крест. Не знаю, насколько это выполнимо. Но тенденции соединить православие с националистическим государством представляются мне крайне опасными. В первую очередь опасными — Православию, христианству, которое от союза с государственностью, с национализмом, с политикой, может только проиграть. Крест на красном знамени — не в пользу креста. Но и для Запада эти русские игры не так уж невинны и безопасны.

Для понимания того, как возник сегодняшний русский национализм и чем он питался, важно учесть два обстоятельства: во-первых, его появление в оттепельные 60-е годы как поворот к традиции, когда начались поиски своего исторического корня в противовес официальной сталинской версии народа и патриотизма ("Владимирские проселки" и "Матренин двор" против "Кубанских казаков"), к своему историческому прошлому. А во-вторых, важно то, что он возник в условиях разрушения монолитной идеологии. Если когда-то Россия держалась религией, потом идеями марксизма, заменившими религиозные чувства и предложившими человеку государство-церковь и рай на земле уже при жизни, то после XX съезда осталось абсолютно пустое поле, без какой-либо этической идеи. Возросший сегодня процент религиозности, которым любят щеголять русские националисты, вовсе не означает, что религия стала серьезной нравственной силой. Люди ищут ту этическую идею, которая цементировала бы общество.

А советская идеология рухнула, и как бы ее ни гальванизировали, она уже не наполнит жизнь высшим смыслом. Советское общество сегодня как никогда безыдейно. У него нет никакого ориентира, никакой идеи, ничего скрепляющего. Идея перестройки не может быть ведущей для массы, потому что масса не очень-то понимает, что это такое — перестройка. Пока что это только расширение поля информации, но опять-таки о прошлом России. Перестройка, направленная на воссоздание истории, несет в себе серьезный отрицательный заряд. Она рассказывает о разрушении страны, она сносит здание прошлого, ничего не предлагая взамен, потому что по-настоящему духов-

ных идей нет, нравственные идеи крайне общи, реального дела нет, уровень жизни очень низкий и, самое главное, — подавление личной свободы в реальной жизни продолжается — почти любое выступление “против” в условиях микромира, в котором живет человек, — обречено. В духовной жизни народа и в его быту еще нет реального смещения, изменения ракурса, нет ничего такого, что вносило бы в эту жизнь хоть какое-то изменение или надежду. Поэтому, мне кажется, сегодняшний негативный воздух России, направленный на отрицание недавнего прошлого, на отрицание своей истории (а 70 лет — это уже история), подрывает все больше и больше корни старой идеологии, ничего не предлагая взамен.

Позволю себе привести свидетельство очевидца (москвич, профессор, член Союза писателей), с которым мне довелось недавно обсуждать эту проблему:

“И вот является эта самая “национальная идея”. Она родилась как интерес к истории. На бытовом уровне, интерес к истории стал, я думаю, общим знаменателем для всех разновидностей национализма от просветительской, либеральной жажды охраны памятников до самого его реакционного крыла — общества “Память”. Потому что это какая-то форма жизни. Вот по воскресеньям собираются самые разные люди, и они идут — на общественных началах — восстанавливать какой-нибудь монастырь или какой-нибудь исторический памятник. Это — жизнь, это ее разнообразие, какое-то ее обогащение, потому что жизнь скудна до невозможности. И все, что дает человеку выход за пределы тягучего однообразия — завода, магазина, очереди, — становится благом. А в восстановлении какого-нибудь памятника есть и исконный интерес к культуре, и преклонение перед ней, и жажда активности, и общественное самутверждение. И поэтому сегодняшний интерес к истории — стал общим знаменателем, на котором уже разрослись разные другие формы — от людей, которые начали в 60-е годы возрождать эту культуру, интересоваться ею, уходить в ее глубины, до тех, кто из полноты и разнообразия этого исторического опыта извлекает сегодня только одну идею: жидо-масонского заговора и глобальной вины всего мира в несчастьях русского народа. Это и есть агрессивный русский национализм.

Причем эта агрессивная русская национальная идея — оказывается сегодня наиболее мощной и наиболее серьезной. С од-

ной стороны, потому что она легко входит в сознание человека, который всем недоволен, а с другой стороны, потому что она имеет как бы флер культуры, флер общего дела, иллюзию духовной жизни.

Идея русского национального превосходства не имеет никаких ограничений, носители ее пользуются почти что дипломатическим иммунитетом и поощряемы во всех формах общественной жизни. Это вызывает удивление потому, что всегда существовал определенный стереотип общественной жизни, общественной деятельности человека. Все, что было раньше наказуемо с точки зрения старой морали или даже государственных установлений, сегодня, если это имеет отношение к национальной идее, — становится ненаказуемым. Напомню историю, которая случилась на очень большом собрании поклонников старины в Доме культуры им. Горбунова, когда вышел человек и рассказал о том, как была разрушена Москва, и разговор этот шел по исторической карте Москвы, а потом докладчик провел соединительные линии между точками — и у него получилась шестиконечная звезда. Но когда поэт Андрей Чернов (огоньковский деятель), не сдержавшись, закричал: "Это же фашизм!", к нему подошли какие-то люди, выволокли его из зала, избили, спустили с лестницы, и все это было в присутствии миллионеров, стражей закона, дружинников — огромного числа людей, охраняющих общественный порядок. Охрана общественного порядка в данном случае благодушно бездействовала. Такого не было никогда.

Другой пример. В Ленинграде шло огромное совещание на тему "Советская литература и Сибирь", организованное Институтом мировой литературы ("Пушкинским Домом"), Педагогическим институтом им. Герцена и Ленинградским Университетом; туда приехала масса писателей (в том числе Распутин), и долго шли довольно скучные, казалось бы, выступления. Вдруг по залу прошел старый человек, в сопровождении двух молодых людей. Поднявшись на трибуну, он сорвал с себя седой парик, бороду и сказал: "Вот смотрите: русскому человеку можно существовать только в еврейском облики!" Это был предводитель "Памяти" Васильев, за ним встали двое молодых людей (понимай — телохранителей) в майках с колоколами и прочей эмблематикой. И Васильев начал свою речь. Самое страшное здесь было не выступление Васильева, а реакция зала. Набитый

интеллигенцией зал рукоплескал ему все время. И поддержка у него была огромная. А у журналиста, написавшего об этом происшествии статью, были большие неприятности — зачем, мол, вынес сор из избы. Иными словами, четко прослеживается тенденция, все это прикрывать, этому покровительствовать, не чинить препятствий. И когда как-то спросили у историка Ю. Афанасьева “Что такое “Память?””, тот сказал: — “Это армия КГБ”. И это похоже на правду. Это почти полностью готовые отряды, имеющие свои ячейки, они вооружаются, они сплываются, т.е. это не просто умонастроение, а это умонастроение, которое в большей своей части уже начало организовываться, и до появления какого-либо там террора или агрессивного действия, в общем, осталось не так уж много.

Или еще пример: председатель ССП Карпов решил встретиться с молодыми писателями. И моментально появились русофилы, которые высвистали всех своих молодых писателей, — а они очень внутренне спаянные, очень организованные, единые, и Карпов встретился только с ними, и говорили они о том (это идея Белова, она же часто высказывается и Распутиным — публично, с трибуны), что в Союзе Писателей слишком много инородцев, что надо Союз очищать.

Взрыв революции прочитывается по национальному коду, а русская реставрация прочитывается по коду Империи. Поэтому для современных русофилов Сталин фигура реальная, позитивная, несмотря на то, что они понимают, что христианство при нем погибло, позитивная, потому, что это — монарх и это — император, он сколотил Россию, он сделал ее сильной и могущественной. Националистические настроения, негативизм и КГБ, как реальная сила, которая все это держит под своим крылом, — придают движению отнюдь не платонический характер. От его скрытых форм до реализации — остается только подать сигнал. Как, впрочем, и люберы... эта форма стихии не случайно формализуется, потому что она обладает колоссальной агрессивной потенцией, которая может быть использована для подавления свободомыслия.

Вы читали, что в Мурманске памятники погибшим на войне разрисовали фашистскими знаками? Об этом писали в газете — как это могло случиться, что уже даже нацистская, фашистская символика не внушает отвращения и используется, потому что все ощущает себя на руинах, и если появится новый

Мессия, новый пророк, то все это придет в движение. Это — огромная сила, но это сила не только национальная, это социальная сила. Это состояние бездуховной страны, у которой нет сейчас другого выхода”.

Исходя из этих новых веяний, я, в итоге, склоняюсь к мысли, что русский национализм сегодня чреват насилием; он легко объединяется с самым реакционным крылом советского общества (бюрократия, армия, КГБ) и противостоит не коммунизму, а демократии и Западу. Интересно, однако, что западные круги порою высказываются в пользу русских националистов и авторитарников, хотя, казалось бы, демократы им должны быть психологически ближе. Логика здесь такая: свобода и демократия хороши для Запада, а для России нужно что-нибудь попроще и пореакционнее. Как для дикарей.

Сошлюсь в виде иллюстрации на частный разговор, который был у меня как-то с одним очень умным и тонким западным советологом. По своим убеждениям и вкусам он был либерал и демократ, но политическую ставку делал на русский национализм. Как человека культурного, его шокировала грубость этого направления, и, будь он русский, он никогда бы к нему не примкнул. Но оно ему представлялось более перспективным и выгодным для Запада движением, нежели русские демократы. Я его спрашиваю: — А вы не боитесь, что в результате на смену советскому режиму или, скорее всего, в виде какого-то с ним альянса в России просто-напросто восторжествует откровенный фашизм? Оказалось, это его нисколько не смущает. В русском фашизме он видит реальную альтернативу советскому коммунизму и надеется, что русский фашизм, занявшись своими национальными делами, спасет Запад от коммунизма. Я не столь оптимистичен. Я считаю, что русский национализм — это сила центробежная, а не центростремительная. И нет никакой гарантии, что, следуя традиции экстенсивного хозяйствования и совершенно точно зная, что весь “бездуховный” Запад — это люди второго сорта, русские фашисты не посмотрят, например, на Европу, как на очередные целинные земли...



Декабрь 1988 г.

ПОСЛАНИЕ Л. С. РУБИНШТЕЙНУ

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило 19 веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям.

А.П. Чехов. "Студент"

1

Лева, милый! Энтропия!
Энтропия, друг ты мой!
Только мы стоим босые
с непокрытой головой.

Мы босые, небольшие,
осененные листвой,
пишем в книжки записные
по-над бездной роковой.

Лишь лучи свои косые
тянет вечер золотой.

Лишь растения живые
нам кивают головой.

Лишь цветочки — до свиданья!
Облака — в последний раз!
Лишь прольется на прощанье
влага светлая из глаз.

Лишь продукты пропитанья
вкус наш радуют подчас...
Но готовься жить заранее
без ветчин и без колбас!

2

Без кондитерских изделий!
Без капусты! Без грибов!
Без лапши! Без вермишели!
Все проходит. Будь готов.

Все приходит. Все не вечно.
Энтропия, друг ты мой!
Как чахотка, скоротечно
и смешно, как геморрой,

и как СПИД... Ты слышишь, Лева?
Слушай, Лева, не вертись!
Все равно, и все фигово.
Что нам делать? Как спастись?

Даже семиною водкой
чокаюсь в кругу друзей,
про себя я знаю четко:
все фигово, пей не пей!

Пой не пой — фигово, Лева!
Нету, нету ничего!
Дым багровый. Ров дерьмовый.
Вой кошачий половой.

Даже женским бюстом, Лева,
упиваясь в час ночной,
знаю я, что все фигово.
Знаю, знаю, дорогой.

3

Все проходит. Все проходит.
Опадает маков цвет.
Безобразя нет в природе.
Но и нас с тобою нет.

Нет как нет, и быть не может!
Впереди и позади
страшно, Лева! Ну и рожи!
Ну их на фиг! Не гляди!

Тише, тише, Лева милый!
Лев Семеньч, любера!
Энтропия свет постылый
заливает вечера.

Надвигается, послушай,
надвигается пиздец!
Тише, тише, глуше, глуше
кольхания сердец.

Тише, тише, глуше, глуше,
глубже, глубже. Навсегда.
Лев Семеньч! Наши души
быстротечны, как вода.

Быстротечны, быстроходны,
мчатся, мчатся — не догнать..
Ярость, Лева, благородна,
но бессмысленна, видать.

4

Солнце всходит и заходит.
Тополь листья теребит.
Все красиво. Все проходит.
"До свиданья!" — говорит.

Золотистые листочки.
Голосистый соловей.
Золотистый пух на щечках
у любимой у моей.

Золотистый пух на щечках,
золотистый пух везде!
Светло-синие чупочки!
Темно-синее годэ!

И продукты пропитанья,
сервелат и карбонат!..
До свиданья, до свиданья!
Я ни в чем не виноват!

Где ж утраченная свежесть
на лазоревом коне?
Зубы, волосы все реже,
и все чаще страшно мне.

Дьявол в черном коленире
ироничен и речист,
умник, бабник и обжора,
то фашист, то коммунист,

Дух вражды и отрицанья,
сытый, гладкий молодец!
Днесь сбываются Писанья,
надвигается Пиздец!

Над кладбищем ветер свищет.
Страшно, страшно! У-у-у!
Вот те право на жилище,
пища пылкому уму!

И хоть стой, хоть падай, Лева!
Хоть ты тресни — хоть бы что!
Все действительно фигово.
Все проходит. Все ничто.

5

Осень, Лев Семенов, осень.
На печальном склоне лет
дать ответ мы жадно просим.
Знак согласна в ответ.

Осень, Лев Семенов, осень.
Опадает лесопарк.
Вместе с горестным вопросом
изо рта струится пар.

Ходят девки испитые,
не дождавшись любви,
И летят листья златые,
словно карточки твои.

Твои карточки, как листья,
так сухи, печальны так...
В небе холодно и чисто.
В небе выгоревший стая.

Е-мое, товарищ Лева,
Е-мое и е-твое.
Все фигово. Все фиговой
тянется житье-бытье.

Что стояло — опадает.
Выпадает, — что росло.
В парке девушка рыдает,
опершись на весло.

Гипс крошится, пропадает.
Нос отбит хулиганьем.
Арматура выползает
и ржавеет под дождем.

6

Осень, осень. Энтропия.
Не узнать весенних мест.
В инструменты духовые
дует ЖЭКовский оркестр.

Духовой оркестр играет.
Две слезы да три сестры.
Сердце влагой набухает.
Все старо. И все стары.

И две пары — ах ты, Боже! —
вальс танцуют, Боже мой!
На кого они похожи!
Может, и на нас с тобой.

И одна из дам с авоськой
в шляпе дочери своей.
Хной подкрашена прическа.
Туфли старые на ней.

И в мохеровой беретке
рядом женщина кружит.
Плац шуршит у мамы этой,
дряблая щека дрожит.

Кавалеры-ветераны
ВОВ, а может быть и ВОСР,
отставные капитаны,
замполиты ПВО.

Кружат пары. Ах ты Боже!
Две слезы. Да три войны.
Лев Семенов! Ну и рожи!
Как они увлечены!

Сон осенний. Сумрак сонный.
Все и вся обречены.
Погляди же, Лев Семенов, —
улыбаются они!!

Улыбайтесь, улыбайтесь
и кружитесь! Ничего!
Вспоминайте, вспоминайте
майский полдень грозовой!

Вы простите за нескромность,
за смешок из-за кустов.
Сердце влажное огромно.
Сон осенний. Нету слов.

Улыбайтесь, дорогие!
Не смущайтесь. Ерунда!
Мы сквозь листья золотые
Вас полюбим навсегда.

И оркестр зовет куда-то,
сердце тискает и мнет.
Эх, какой мы все, ребята,
добрый, в сущности, народ!

Ух, и добрые мы люди!
Кто ж помянет о былом —
глазки вон тому иуде!..
Впрочем, это о другом.

7

Да и нынче все иное!
Солженицын зря потел!
Вот на Сталина грозою
Вознесенский налетел!

А за ним бойцы лихие!
Даже Вегин-исполин!
Мчатся бурей по России,
все герои, как один!

И на Сталина войною,
и на Берию войной!
Вслед за партией родною,
вслед за партией родной!

А вдали звенят струною
легионы нежных тех
КСП, своей слюною
начертавших на щите!

Впрочем, только ли слюною?
Розенбаум в Афган слетал,
с кровью красною чужою
сопли сладкие смешал.

Ох уж мне литература,
энтропия, сучья вошь,
волчье вымя, рыба шкура,
деревянный макинтош!



8

"Любишь метареалистов?" —
ты спросил меня, ханжу.
"Нет!" — ответил я ершисто, —
"Вкуса в них не нахожу!"

Нету вкуса никакого!
Впрочем, и не мудроно —
эти кушания, Лева,
пережеваны давно!

Пережеваны и даже
переварены давно!
Оттого такая каша.
Грустно, Лева, и смешно.

9

Извела меня Шербина,
Нина, звонкий наш Нинок!
Зря родился я мужчиной!
Вывру грешный между ног!

10

А в журнале "Юность", Боже,
хлещет новая волна!
Добираясь до Сережи,
нахлебался я сполна!

Вот уж смелые ребята!
Вот уж озорной народ!
Скоро кончится осада,
скоро ЦДЛ падет!

Запируют на просторе,
всяк виконт де Бражелон,
в разлитом этом море
энтропией поглощен.

11

Спросишь ты: "А ваше кредо?"
Наше кредо с давних пор —
"Задушевная беседа",
развеселый разговор!

Этот шепчет в даль куда-то,
тот кикиморой орет.
Ах, какой мы все, ребята,
удивительный народ!

Не пройойцы мы, и вовсе
не при чем маркиз де Сад!
Просто мы под сердцем носим
то, что носят в Госиздат!

Дай же Пригову стрекóзу,
не жидись и не желей!
Мише дай стрекóзу тоже.
Мне — 14 рублей!

А себе возьми, что хочешь.
Что ты хочешь? Ну возьми...
Все длинее. Все короче.
Все короче наши дни.

И душе в заветной лире
как от тленья убежать?
Тонкой ниточкой, пунктиром
все течет, не удержать.

Все течет и изменяет
нам с тобой и нас с тобой.
В черной яме пропадает
тонкий голос золотой.

12

Ты видал ли сон, о Лева?
Я видал его не раз!
Там, над небом бирюзовым
видел я сидящих нас.

Розы там благоухали,
ласковый зефир витал,
серны легкие мелькали,
волны искрились меж скал.

Плектр струны коснется, Лева,
чаши пенятся вином.
Айзенберг в венке бордовом.
Все мы вместе за столом.

В чем-то белом, молодые
с хрусталем и шашлыкoм,
и прелестницы младые
нам поют, и мы поем,

так красиво, так красиво!
Так невинно, вкусно так!..
Лев Семеньч, мы в России.
Мрак, бардак да перетак.

13

Мрак да враг. Да щи, да каша.
Грозно смотрит таракан.
Я люблю Россию нашу.
Я пропал, и ты — не пан.

Я люблю Россию, Лева,
край белеющих берез,
край погибели пуховой,
рваных ран да пьяных слез.

Тараканы в барабаны.
Вошки-блошки по углам.
И мерещатся в тумане
пролетарии всех стран.

И в сыром ночном бурьяне,
заплутав, орет гармонь.
Со свинчаткою в кармане
ходит-бродит Угомон.

Бью баклуши. Бьют кого-то.
Нас пока еще не бьют.
Бьют в господские ворота,
только им не отопрут.

115

Мрак да злак, да футы-нуты,
флаг-бардак, верстак-кабак,
елки-палки, нетто-брутто,
марш-бросок, пиздык-хуяк,

сикось-накось, выкрась-выбрось,
Сивцев Вражек, иван-чай,
Львов-Хабаровск, Кушка-Выборг,
жди-пожди да не сердчай!

Тройка мчится, тройка скачет
в рыжей жижке по весне,
злого ямщика хуячит
злой фельдъегер по спине.

По долинам и по взморьям,
рюмка колом, комом блин.
Страшно, страшно поневоле
среди неведомых равнин!..

15

На дорожке — трясогузка.
В роще — курский соловей.
Лев Семеныч! Вы не русский!
Лева, Лева! Ты — еврей!

Я-то хоть чучек обычный,
ты же, извини, еврей!
Что ж мы плачем неприлично
над Россиюю своей?

Над Россиюю своею,
над своею дорогой,
по-над Летой, Лорелей,
и онегинской строфой,
и малиновою сливой,
розой черною в Аи,
и Фелицей горделивой,
толстой Катькою в крови,

и Каштанкою смешною,
Протазановой вдовой,
черной шалью роковою
и процентщицей седой,

14

Слышу трели жаворонка.
Вижу росы на лугах.
Заливного поросенка.
Самогонку в стаканах.

Это все мое, родное,
это все хуе-мое!
То разгулье удалое,
то колочее жнивье,

то березка, то рябина,
то река, а то ЦК,
то зэка, то хер с полтиной,
то сердечная тоска!

То Чернобыль, то колонны,
то Кобзон, то сухогруз,
то не ветер ветку клонит,
то не Чкалов — это Руст!

То ли битва, то ли брюква,
то ли роспись Хохломы.
И на 3 веселых буквы
посылаемые мы.

и набоковской ванессой,
мандельштамовской осой,
и виспящей поэтессой
над Елабугой бухой!

Пусть вприсядку мы не пляшем
и не окаем ничуть,
пусть же в Сухареvu башню
нам с тобой заказан путь,

мы с тобой по-русски, Лева,
тельник на груди рванем!
Ведь вначале было Слово,
пятый пункт уже потом!

Ведь вначале было Слово:
несть ни эллина уже,
ни еврея никакого,
только слово на душе!

Только Слово за душою
энтропии вопреки
над Россиюю родною,
над усадьбой у реки.

Ты читал газету "Правда"?
 Что ты, Лева! Почитай!
 Там такую режут правду!
 Льется гласность через край!

Эх, полным полна параша!
 Нам ее не расклебать!
 Не минует эта чаша.
 Не спасти Отчизну мать.

Энтропия, ускоренье,
 разложение основ,
 не движенье, а гниенье,
 обнажение мослов.

Власть советская, родная,
 родненькая, потерпи!
 Что ж ты мечешься больная
 Что ж ты знамя теребишь?

И от вражеских наветов
 опадает ветхий грим.
 Ты проходишь, Власть Советов,
 словно с белых яблонь дым.

И с улыбкою дурацкой
 ты лежишь в параличе
 в форме штатской,
 в позе блядской,
 зря простив убийц-врачей.

Ты застыла в Мавзолее
 ни жива и ни мертва,
 сел едва ли не на шею
 бундесверовский У-2!

Все проходит. Все конечно.
 Дым зловещий. Волчий ров.
 Как Черненко, быстротечно
 и нелепо, как Хрущев,

Как Ильич, бесплодно, Лева,
 и, как Крупская, страшно!
 Распадаются основы.
 Расползается говно.

Было ж время — процветала
 в мире наша сторона!
 В Красном Уголке бывало
 люд толпился дотемна!

Наших деток в средней школе
 раздавались голоса.
 Жгла сердца своим глаголом
 свежей "Правды" полоса.

Нежным светом озарялись
 стены древнего Кремля.
 Силомером развлекались
 тенниски и кителя.

И курортники в пижамах
 покупали виноград.
 Креп-жоржет носили мамы.
 Возрождался Сталинград.

В светлых платьицах с бантами
 первоклассницы смешно
 на паркетах топотали,
 шли нахимовцы в кино.

В плюшевых жакетках тетки.
 В теплых бурках управдом.
 Сквозь узор листвы нечеткий
 в парке девушка с веслом.

Юной свежестью сияла
 тетя с гипсовым веслом
 и, как мы, она не знала,
 что обречена на слом.



Помнишь, в байковой пижаме,
свинка, коклюш, пластилин,
с Агнией Барто лежали
и глотали пертусин?

Как купила мама Леше
— ретрансляция поет —
настоящие калоши,
а в калошах ходит кот!

Почему мы октябрята?
Потому что потому!
Стриженный под бокс вожатый.
Голубой Артек в Крыму.

И вприпрыжку мчались в школу.
Мел крошили у доски.
И в большом колхозном поле
собирали колоски.

Пили вкусное, парное
с легкой пенкой молоко.
Помнишь? Это все родное.
Грустно так и далеко.

Помнишь, с ранцем за плечами,
со скворешником в руках
в барабаны мы стучали
на линейках и кострах?

Помнишь в темном кинозале
в первый раз пронзило нас
предвкушение печали
от лучистых этих глаз?

О любви и дружбе диспут.
Хулиганы во дворе.
Дачи, тучи, флаги, избы
в электричке на заре.

Луч на парте золотится.
Звон трамвайный из фрамуг.
И отличницы ресницы
так пушисты, милый друг!

В зале актовом плясали,
помнишь, помнишь, тот мотив?
И в аптеке покупали
первый свой презерватив.

19

На златом крыльце сидели
трус, дурак и сволота.
Выбирать мы не хотели,
к небу вытянув уста.

Знал бы я, что так бывает.
Знал бы я — не стал бы я!
Что стихи не убивают —
оплетают, как змея.

Что стихи не убивают
(убивают — не стихи!)
просто душу вынимают,
уголь горящий в грудь вставляют,
отрывают от сохи,

от меча и от орала,
от фрезы, от кобуры,
от рейсфедера с лекалом,
от прилавка, от икры!

Лотман, Лотман, Лосев, Лосев,
де Соссюр и Леви-Стросс!
Вы хлебнули, мудочесы,
полной гибели всерьез!

С шестикрылым серафимом
всякий рад поговорить!
с шестирывым керосином
ты попробуй пошутить!

С шестивольным карабином,
с шестижильною шпаной,
с шерстобитною машиной
да с шестеркою гнилой!

С шестиярусной казармой,
с вошью, обглодавшей кость,
с голой площадью базарной,
с энтропией в полный рост!

Что, Семеныч? Аль не любо?
Любо-дорого, пойми!
Пусть дрожат от страха губы —
разговаривай с людьми!

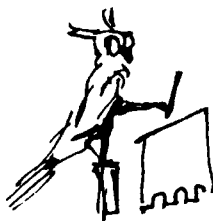
Ничего во всей природе,
Лев Семеныч, не брани,
никого во всем народе
не кляни и не вини!

Ибо жалость и прощенье,
горе, Лева, и тоска,
ибо пенье и гниенье
тянутся уже века.

Пусть нахрапом и навалом
наседает отчий край,
Лева, подставляй ебало,
а руки не подымай!

Ты не тронь их, сырых, малых,
не стреляй в них, пощади!
Ты с любовью запоздалой
отогрей их на груди...

С неба звездочка слетела,
Лев Семеныч, прямо в глаз.
А кому какое дело
кто останется из нас.



21

На мосту стоит машина,
а машина без колес.
Лев Семеныч! Будь мужчиной —
не отлынивай от слез!

На мосту стоит тачанка,
все четыре колеса.
Нас спасет не сердце Данко,
а пресветлая слеза!

На мосту стоит автобус
с черно-красной полосой.
Умирают люди, чтобы
мы поплакали с тобой!

На мосту стоим мы, Лева.
Плещет сонная вода.
В небе темно-бирюзовом
загорается звезда.

Так давай же поклянемся —
ни за что и никогда
не свернем, не отвернемся,
улыбнемся навсегда!

В небе темно-бирюзовом
тихий ангел пролетел.
Ты успел запомнить, Лева,
что такое он пропел?

Тихий ангел пролетает,
ангел смерти — Азраил.
К сердцу рану прижимая,
вот мы падаем без сил.

Что, Семеныч, репка? То-то
 Ну а ты как думал, брат?
 Как икоту на Федота
 время, брат, не отогнать!

Репка, Лев Семеныч, репка.
 Вот куда нас занесло.
 Энтропия держит цепко,
 липко, гадко, тяжело.

Там, где эллинам сияла
 нагота и красота,
 без конца и без начала
 нам зияет пустота.

Астроном или гинеколог,
 или работники пера
 пусть подскажут, что такое
 эта черная дыра.

Тянет, тянет метастазы,
 гложет вечности жерлом.
 И практически ни разу
 не ушел никто живьем.

И практически ни разу...
 Разве что один разок
 эта чертова зараза
 вдруг пустилась наутек!

И повесился Иуда!
 И Фома вложил персты!
 И текут лучи оттуда
 среди вселенской темноты!

Разве ты не видишь, Лева,
 снова в пухе тополя!
 Друг ты мой, честное слово,
 все бессмертно, ты и я!

Осеннее листвою,
 небольшие мы с тобой.
 Но спасемся мы с тобой.
 Красотою, Красотой!

Доброй и Правдой, Лева,
 Гэфсиманскою слезой,
 влагой свадебной багровой,
 превращенною водой!

Дьявол в черном коленкоре
 рыльце лапками укрыв,
 злого гада свет с Фавора
 ослепил и оскопил!

Энтропии злые бесы
 убегают наутек!
 Он воинству воскресе!
 Поцелуемся, дружок!

Пусть мы корчим злые рожи,
 пусть кичимся злым умом,
 на гусиной нашей коже
 Агнца светлое клеймо!

И глядит ягненок гневный
 с рафаэлова холста,
 и меж черных дыр вселенной
 нам сияет Красота!

Мы комочки злого праха,
 но душа — теплым-тепла!

Кончен пир. Умолкли хоры.
Лев Семеныч, кочумай.
Опорожнены амфоры.
Весь в окурках спит минтай.

Не допиты в кубках вины.
На главе венки измяты.
Файбисовича картины
пересмотрены подряд.

Кончив пир, мы поздно встали.
Ехать в Люберцы тебе.
Звезды на небе сияли.
Песня висла на губе.

Как над этим дольным чадом
в горнем выпрессенном краю,
отвечая смертным взглядам,
звезды чистые поют.

Звезды чистые мерцают
над твоею головой.
Что они нам предвещают?
Я не в курсе, дорогой.

Чистых голосов мерцанье
над сияньем автострад.
До свиданья, до свиданья!
Я ни в чем не виноват!

До свиданья! До свиданья!
Пусть впритык уже пиздец,
но не лжет обетованье,
но не тщетно упованье,
но исполнятся Писанья!
А кто слушал — молодец.

Пасха, Лев Семеныч, Пасха!
Лева, расправляй крыла!

Пасха, Пасха, Лев Семеныч!
Светлой Новости внемли!
Левушка, тверди каноны
клейкой зелени земли!

В Царстве Божием, о Лева,
в Царствии Грядущем том,
Лева, нехристь bestолковый,
спорим, все мы оживем!



Ханна Арендт

АНТИСЕМИТИЗМ

Ханна Арендт считается одним из крупнейших политических мыслителей нашего времени. Получив образование в Германии, она эмигрировала в 1933 году, с приходом нацистов к власти — сначала в Париж, а затем в Америку. До начала 50-х годов она занималась в основном практической деятельностью в общественных организациях, связанных с еврейскими проблемами. В 1951 году она опубликовала фундаментальный труд "О тоталитаризме", что сразу выдвинуло ее в ряды наиболее авторитетных политических мыслителей нашего времени. Всю вторую половину жизни Ханна Арендт работала в университетах и писала книги — одну за другой. Из ее работ хотелось бы здесь назвать "О революции" (1963) и "Кризис Республики" (1972).

"Антисемитизм" — первая часть работы "О тоталитаризме". Арендт возводила тоталитаризм к порождениям XIX века — антисемитизму и империализму. Первые две части книги "О тоталитаризме" — "Антисемитизм" и "Империализм" — обычно теряются в тени внушительной и драматически импозантной концепции "тоталитаризма", которую предложила Ханна Арендт и которая за сорок прошедших лет сошла в журналистику, фольклоризировалась и утратила как свою глубину, так и многие важные детали. Даже сама концепция Ханны Арендт, не говоря уже о ее фольклорных вариантах, вызывает сегодня у многих серьезный скептицизм.

Мне кажется, что сегодня "Антисемитизм" и "Империализм" Ханны Арендт читаются гораздо с большим интересом, чем завершающая и самая прославленная часть ее монументального труда.

Наиболее интересны те главы, где Ханна Арендт рассматривает микросреду, благоприятную для зарождения современных форм социального антисемитизма. Неважно, что приписывает евреям антисемитская пропаганда; важно, что реальным объектом статусно-конкурентной ненависти оказывается еврей-интеллигент. Носителем антисемитизма оказывается при этом (довольно естественно) интеллигенция. Образцовым типом еврея, становящегося баццллой антисемитизма, оказывается салонный еврей — импрессарио, артист, литератор.

Ханна Арендт предостерегала против расширительного толкования ее анализа положения евреев в светском "интеллигентном" обществе. Она не хотела проводить аналогии между евреями и другими группами – мистиками-магами, контринтеллектуалами, поэтами-импровизаторами, "иноплеменниками" вообще, гомосексуалистами, – профессионально-салонной интеллигенции. Ханна Арендт особо настаивала, что евреи это евреи и, несмотря на соблазнительные аналитические возможности трактовки "евреев" просто как архетипа группы с парадоксальным статусным положением, не следует так на них смотреть.

Сорок лет спустя после публикации труда Ханны Арендт всякий, кто достаточно самостоятелен, может пренебречь предостережением мэтра. Я как раз хотел бы подчеркнуть общее значение того анализа, которому Ханна Арендт подвергла ситуацию евреев в обществе.

Это полезно сделать, если нас интересуют не только политические задачи борьбы с антисемитизмом, но и вся история соотношения между евреями и интеллигенцией в России: история братания и соперничества, имеющая важное отношение ко всей политической истории России XX века.

А. К.

ГЛАВА 1. АНТИСЕМИТИЗМ КАК ВЫЗОВ ЗДРАВОВОМУ СМЫСЛУ

То, что ядром нацистской идеологии оказался антисемитизм, все еще часто рассматривается как случайность. Сами нацисты считали, что обнаружили нечто очень важное, открыв миру истинную роль евреев в мире, а уничтожение евреев они считали своей важнейшей целью. Однако антисемитизм был воспринят лишь как способ завербовать под свои знамена широкие массы или как чисто демагогический ход.

Неспособность отнестись всерьез к тому, что говорили сами нацисты, можно понять. Есть что-то нелепое и таинственное в том, что среди всех больших проблем нашего века столь незначительная проблема, как еврейская, заслужила сомнительную честь быть искрой, приведшей в движение всю адскую машину. Такая несоразмерность причины и следствия бросает вызов здравому смыслу. Все объяснения антисемитизма выглядят как поспешные и выбранные наугад. Такое впечатление, что наш здравый смысл старается загнать в бутылку вопрос, оскорбляющий наше чувство пропорции и грозящий разрушить нашу веру в разум.

Одно из таких скороспелых объяснений отождествляет

антисемитизм с твердолобым национализмом, с неудержимой ксенофобией. К сожалению, на самом деле антисемитизм распространялся по мере того, как традиционный национализм клонился к упадку, и достиг пика как раз в тот момент, когда европейская система национальных государств с ее хрупким балансом силы рухнула.

Уже неоднократно говорилось, что нацисты не были простыми националистами. Национализм нацистов, как и недавняя националистическая пропаганда в Советском Союзе*, нужны лишь для удовлетворения духовных запросов масс. На самом же деле нацисты всегда презирали узость национализма и провинциальную сущность национального государства. Они всегда настаивали, что их движение — интернациональное и что это для них важнее, чем любое национальное государство само по себе, в конце концов, государство — это всего лишь участок территории.

Не только практика нацизма, но и 50 лет истории антисемитизма говорят против попыток отождествить антисемитизм с национализмом. Первые антисемитские партии в конце прошлого века подали и первый пример международных партийных союзов.

Одновременный упадок национальных государств и рост антисемитизма объясняются не одной, а совокупностью причин. Тем не менее историк имеет право выбрать из этой совокупности то, что, по его мнению, наиболее полно отражает "дух времени". Такой выбор "главной" причины ведет, конечно, к определенным потерям, но иногда он бывает удачным. Такая удача выпала однажды на долю Токвиля. Идея, на которую он натолкнулся, оказывается весьма ценной для обсуждения нашей темы.

Токвиль искал причины яростной ненависти масс к аристократии накануне Революции. Он пришел к выводу, что французский народ ненавидел аристократию, когда она потеряла власть, гораздо сильнее, чем до того. Народ именно потому ее и возненавидел, что она быстро теряла власть, сохраняя при этом свое имущественное положение.

Пока аристократия держала под контролем всю юридическую систему, ее не только терпели, но и уважали. Однако,

* Книга Х. Арентс "Антисемитизм" впервые вышла в свет в 1957 году.

когда дворянство утратило свои привилегии, включая привилегии эксплуатации и подавления, народ увидел в дворянах паразитов, не имеющих никакой реальной функции в управлении страной. Иными словами, ни эксплуатация, ни подавление не вызывают сопротивления. Богатство, не подкрепленное видимой функцией, вызывает гораздо более резкое неприятие, потому что становится непонятно, с какой стати его нужно терпеть.

Так обстоит дело и с антисемитизмом. Он достиг наибольшего размаха, когда евреи потеряли свою функцию и влияние в обществе и остались только при своем богатстве. Когда Гитлер пришел к власти, германские банки были уже почти полностью очищены от евреев, и вообще немецкое еврейство после долгого процветания и возрастающего влияния быстро стало клониться к упадку, так что можно было предвидеть его полный закат в течение нескольких десятилетий. Преследование и уничтожение евреев выглядели как бессмысленное ускорение процесса, который шел сам собой.

То же самое происходило и в других европейских странах. Дело Дрейфуса возникло не при Второй Империи, когда французское еврейство достигло вершины процветания и могущества, но при Третьей Республике, когда евреев почти не осталось на важных позициях в обществе (за исключением политической сферы).

Австрийский антисемитизм приобрел воинствующие формы не во времена Меттерниха и Франца Иосифа, а в послевоенной Австрийской республике, когда стало ясно, что евреи потеряли влияние и престиж больше, чем кто-либо в результате падения Габсбургов.

Преследование сильных и теряющих силу групп, быть может, и не такое уж красивое зрелище, но оно объясняется не только человеческой низостью. Люди подчиняются власти и терпят ее или ненавидят тех, кто сохраняет состоятельность, теряя власть, в силу рационального инстинкта, подсказывающего, что власть есть функция и как таковая существует на благо всем. Даже эксплуатация и подавление обеспечивают некий общественный порядок. Только богатство без власти и неучастие в политике ощущается как паразитизм, бесполезность и ненормальность, потому что это парадоксальное явление указывает на то, что баланс связей в обществе нарушен.

Однако общий упадок западно- и центрально-европейского еврейства — лишь фон в цепи событий. Сам по себе он объясняет столь же мало, как упадок французского дворянства — ход французской революции. Его необходимо иметь в виду, потому что учет этого обстоятельства помогает нам отвергнуть якобы “здоровое предположение”, будто вспышки ненависти непременно бывают реакцией на чрезмерное могущество и злоупотребление властью и что, в частности, организованная ненависть к евреям была лишь реакцией на их могущество в обществе.

Это предположение — одно из ошибочных, иллюзорно здоровых суждений. Есть и другое, более серьезное заблуждение. Существует убеждение, что евреи как самая беспомощная и бессильная группа в обществе, сотрясаемом неразрешимыми конфликтами, легко могут быть обвинены в этих конфликтах как их закулисные вдохновители. Это — теория “козлов отпущения”.

Но ведь теория “козлов отпущения” сама же неявно предполагает, что козлом отпущения может быть и кто угодно другой. Она предполагает абсолютную невинность жертвы. Жертва же может быть поистине невинной лишь при том условии, что вообще ничего дурного никем не было сделано и, более того, вообще ничего не произошло такого, что привело к несчастью.

Трудности приверженцев этой теории начинаются тогда, когда они пытаются объяснить, почему в данном случае именно данный козел наилучшим образом годится на роль козла отпущения. Им приходится забыть свою теорию, заняться обычным историческим исследованием, и они приходят к тому же, к чему приходят все исследователи истории: они убеждаются в том, что история творится множеством групп. И тут становится очевидно, что те, кого посчитали “козлами отпущения” — лишь одна из множества групп, вовлеченная, как и все прочие, в дела мира сего. И она делит ответственность за происходящее вместе со всеми остальными.

Почему же именно ее обвиняют в происшедшем, остается неясным. Она не невиновна, потому что невиновных нет, и поэтому не годится на роль козла отпущения.

До недавнего времени внутренняя противоречивость “теории козла отпущения” позволяла отвергнуть ее вместе с другими теориями, вдохновленными желанием снять ответствен-

ность с участников происходящего. Но в условиях, когда террор стал главным средством правления, эта теория стала выглядеть более убедительно, чем раньше.

Фундаментальное различие между современными диктатурами и тираниями прошлого состоит в том, что террор теперь используется уже не для того, чтобы устранить и запугать противников, но как средство добиться полного подчинения масс. При таком способе правления жертвы выбираются произвольно, независимо от того, что они сделали или не сделали.

Таким образом, жертвы террора нынешнего типа, казалось бы, могут считаться "козлами отпущения". Раз уж они в самом деле такие "козлы" и в самом настоящем смысле невинны, возникает соблазн считать жертву свободной от всякой ответственности. Это как будто выглядит реалистично, ибо в практике террора как раз больше всего нас поражает очевидная невинность людей, попавших под его колесницу, и полная невозможность для них как-то изменить свою судьбу.

И тут мы подходим к самому интересному. Дело в том, что евреи оказались в центре внимания нацистской идеологии до того, как они стали главными жертвами современного террора. А идеология, которая хочет убедить и мобилизовать народ, не может себе позволить выбирать жертвы наудачу и спустя рукава. Такая очевидная подделка, как "Протоколы сионских мудрецов", может стать основой политического движения, только если она вызовет у людей доверие.

Если мы это понимаем, наша задача как историков не в том, чтобы разоблачать подделку, а в том, чтобы выяснить, почему этой подделке люди верят.

Теория "козла отпущения" — попытка уклониться от серьезного рассмотрения антисемитизма и закрыть глаза на важный вопрос: почему именно евреи оказались в самом центре исторической бури.

Точно так же закрывает нам глаза и другая широко распространенная доктрина — "вечного антисемитизма". Согласно этой доктрине, ненависть к евреям — это естественная реакция; конкретные исторические обстоятельства лишь позволяют ей больше или меньше проявиться. Вспышки антисемитизма, таким образом, не нуждаются ни в каком специальном объяснении, поскольку они всего лишь текущие проявления вечного конфликта.

То, что эту доктрину разделяют профессиональные антисемиты, в порядке вещей.

Гораздо более удивительно, что эту концепцию разделяют многие непредвзятые историки, а также сами евреи. Именно поэтому она особенно опасна и способствует заблуждению.

Попытка ускользнуть с помощью этой концепции от реальности очевидна. Антисемиты надеются, что ссылка на "вечную вражду" снимает с них ответственность за уничтожение евреев. А евреи, что даже еще более естественно, уклоняются таким образом от обсуждения своей доли ответственности за происходящее.

На самом же деле современный антисемитизм социологически не имеет ничего общего с историческим конфликтом иудаизма и христианства.

Возникновение и созревание современного антисемитизма происходили одновременно с ассимиляцией евреев и были связаны с ней, а также с процессом секуляризации, увядания духовных и религиозных ценностей иудаизма.

Случилось так, что значительная часть еврейского народа оказалась одновременно под угрозой уничтожения и рассеяния. В этой ситуации евреи, озабоченные сохранением своей народной общности, в отчаянии ухватились за ложную, но соблазнительную мысль: а именно, что антисемитизм в конце концов может оказаться эффективным средством удержать евреев вместе и, таким образом, гарантировать вечное существование еврейского народа. Это суеверие — секулярно-сниженный вариант идеи вечности еврейского народа и мессианской надежды. Оно оказалось особенно живучим благодаря тому, что в течение многих столетий враждебность христиан благоприятствовала духовной и политической изоляции евреев.

Евреи приняли современный и в сущности антихристианский антисемитизм за старую религиозную ненависть к евреям. В условиях очевидного упадка христианства они по своему невежеству вообразили, что возвращается так называемое "Темное время". Следует также иметь в виду, что недостаток политического чутья объясняется самим характером еврейской истории — истории народа без правительства, без государственной истории и без собственного языка. Политическая история еврейского народа оказалась подвержена случайным обстоятельствам в большей мере, чем история других народов. При

этом евреи брали на себя то одну, то другую роль и не брали ответственности ни за что.

В виду нависшей над евреями окончательной катастрофы доктрина вечного антисемитизма стала более опасной, чем когда бы то ни было. Сегодня она практически прощает юдофобам такие преступления, которые раньше вообще были невозможны. Антисемитизм, не будучи ни в коем случае волшебной гарантией сохранения еврейского народа, обернулся угрозой его уничтожения.

Тем не менее теория "вечного антисемитизма" как теория "козла отпущения" сохранила свое влияние. Как и теория "козла", она подчеркивает абсолютную невинность жертв современного террора. При этом она выглядит даже более внушительно, так как все же дает какой-то ответ на вопрос: почему именно евреи — козлы отпущения. Правда, ее ответ — вечный антисемитизм — тут же ставит другие вопросы, и на них она уже не отвечает.

Примечательно, что обе эти доктрины отрицают какую бы то ни было ответственность самих евреев за современный антисемитизм. Упорно отрицая активную роль людей в их собственной судьбе, они пронизаны тем же духом, что и доктрины власти, возводящие в принцип государственный террор.

Уничтожение евреев в концлагерях как будто бы происходило в соответствии с теориями "вечного антисемитизма" и "козла отпущения". А именно, евреев уничтожали вне всякой связи с тем, что они делали или не делали, независимо от их греховности или добродетелей. Более того, сами убийцы, лишь подчинявшиеся приказам и довольные своей бесстрастной эффективностью, до жути напоминали "невинные" инструменты бесчеловечного и безличного хода вещей, как им и полагалось согласно доктрине вечного антисемитизма.

Но соответствие теории практике само по себе не обнаруживает исторической правды. Оно лишь указывает на то, что теория, как и прежде, вполне отвечает духу времени и объясняет, почему эта теория кажется столь убедительной. Будучи современником событий, историк, как и все, подвержен внушающей силе такой теории. Но осторожность в отношении общепринятых мнений, претендующих на объяснение исторических тенденций, особенно необходима современному историку, потому что в последнее столетие появилось множество идео-

логий, претендующих на то, что они располагают ключом к мировой истории, но на самом деле лишь дающих их (идеологий) носителям возможность избежать ответственности за происходящее.

Антисемитизм одержал верх над прочими "измами" как инструмент борьбы за господство над общественным мнением. Рост антисемитизма совпал по времени с упадком национального государства в Европе и крахом Европы как системы национальных государств. Это совпадение многозначительно. Оно дает нам важные указания на истоки антисемитизма.

Но это лишь один источник антисемитизма. Другой его источник следует искать в специфике истории европейских евреев, а именно в особых функциях евреев в течение последних столетий.

В последней фазе крушения Европы как национально-территориальной структуры антисемитские лозунги оказались эффективным средством мобилизации и организации масс для целей империалистической экспансии и разрушения старых форм правления.

Это произошло потому, что они имели отношение к некоторой реальности. Они эксплуатировали реальную враждебность некоторых общественных групп к евреям, а сама эта враждебность не была следствием иррациональных предрассудков, но возникла в практике отношений между евреями и этими группами в предыдущую эпоху.

ГЛАВА 2: ЕВРЕИ, НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ЗАРОЖДЕНИЕ АНТИСЕМИТИЗМА

1. Две стороны эмансипации и еврейские государственные банкиры.

Евреи получили равные права от национальных государств в момент, когда идея национального государства переживала расцвет — в начале XIX века. Разрушение феодальных порядков вызвало к жизни революционную идею равенства. Идея "нации внутри нации" полностью противоречила ей. Ограничения, налагавшиеся на евреев, как и их привилегии, были отменены вместе с ограничениями, которым подвергались все другие группы, и вместе с их привилегиями.

Однако этот процесс всеобщей эмансипации и уравнивания в гражданских правах привел, естественно, к эмансипации самого государства. Оно перестало быть монополией какой-то группы и стало самостоятельной силой в обществе.

Государство, которое теперь не могло опереться на один общественный класс и вообще отчасти утратило классовую опору, обратилось за помощью к евреям, имевшим в прошлом богатый опыт помощи европейским правителям.

Встав на этот путь, государство не могло допустить полной ассимиляции евреев. Граждане проявляли все большее стремление к независимому от государства существованию и отдавали предпочтение вольному частному бизнесу. В этих условиях государству было нужно, чтобы евреи продолжали чувствовать себя "отдельным телом".

Поэтому случилось так, что эмансипация евреев навсегда осталась двойственной. С одной стороны, в процессе уравнивания гражданских прав евреи получили то же, что и все другие. С другой стороны, привилегии, касавшиеся раньше только некоторых евреев, теперь были распространены на них всех. С одной стороны, упраздняясь автономия еврейской общины. С другой стороны, евреи консервировались как особая социальная группа.

Между тем, для всех положение в обществе стало определяться классовой принадлежностью, а не положением в государственном аппарате.

И только евреев этот принцип не коснулся. Они не были отдельным классом общества и не принадлежали ни к какому классу. Их статус определялся именно и только тем, что они евреи. Если какая-то социальная группа и принимала еврея, он оставался в ней евреем; если она допускала евреев вообще, то все допущенные оставались внутри нее евреями. Так обстояло дело и в аристократической, и в буржуазной среде.

Несомненно, что стремление национального государства обеспечить, ради собственных интересов, евреям положение особой группы отвечало интересам самих евреев, стремившихся выжить как народ. Если бы это было не так, государству не удалось бы осуществить свое намерение.

Положение евреев в обществе полностью зависело от государства. Волей государства одни евреи получали особые привилегии, а другие были лишены прав, которыми располагали все.

Расцвет европейских государств и упадок еврейства происходили одновременно.

В XVII-XVIII веках складывались абсолютные монархии. Отдельные евреи выдвинулись наверх как придворные финансисты владетельных монархов разного масштаба. Это никак не сказалось на еврейском народе в целом.

После Французской Революции возникли современные государства. Их финансовые потребности придворные еврейские банкиры уже не могли удовлетворить. Тогда денежное еврейство объединило свои средства, доверив их крупнейшим банкирским домам. Одновременно привилегии, дарованные раньше только придворным евреям, распространились на более широкие круги имущих евреев.

Все это было возможно, пока национальная буржуазия не интересовалась политикой вообще и проблемой государственных финансов в частности. С началом эпохи империализма положение изменилось: экспансия национального капитала была невозможна без политической поддержки государства. И тогда в сфере государственных финансов евреям пришлось уступить место империалистически настроенной буржуазии. Лишь отдельные еврейские финансисты сохранили свои позиции, но при этом они окончательно оторвались от еврейской общины. Одновременно сама еврейская община утратила свое финансово-организационное единство.

Так случилось, что в эпоху империализма евреи утратили свое могущество. Проблема баланса национальных сил в Европе и необходимая для этого общеевропейская солидарность перестали быть актуальны. Евреи как общеевропейский элемент в этих условиях стали объектом ненависти, потому что их богатство утратило функцию, а сами они лишились власти.

До того они, как ненациональный элемент, были нужны и во времена войны и во времена мира, поскольку их существование было как бы залогом мира. Но это было лишь до тех пор, пока все, даже находясь в состоянии войны, в принципе искали компромисса и возвращения к уже испытанному модус вивенди. Но с тех пор как руководящим принципом стало "победа или смерть", целью войны сделалось полное уничтожение противника, и в евреях больше надобности не было.

Уже одного этого было достаточно, чтобы обеспечить распад еврейской общины и растворение евреев. Но это еще не

предвещало их физического уничтожения. Иногда говорят, что евреи так же легко стали бы нацистами, как и немцы, если бы немцы им разрешили присоединиться к движению. Это верно лишь наполовину. А именно в том смысле, что индивидуально-психологически евреи ничем не отличались от всех других народов.

Но в историческом плане это абсолютно неверно. Нацизм даже без антисемитизма был бы смертельным ударом по европейскому еврейству. Присоединиться к нему было бы самоубийством если и не для каждого еврея поодиночке, то для еврейского народа в целом.

Совсем не случайно, что катастрофа, постигшая в конце концов европейские народы, в первую очередь постигла евреев — единственных в Европе подлинных европейцев.

Как у народа без государства, у евреев всегда были две важные особенности. Во-первых, они всегда стремились к союзу с правительствами, совершенно независимо от того, что это были за правительства. Во-вторых, они верили, что властители всегда будут им покровительствовать. Опасность же им грозит со стороны мелких чиновников и в особенности со стороны простого люда. Для таких представлений были исторические основания, но в новой обстановке они уже не соответствовали действительности.

В эпоху сотрудничества с европейскими правительствами евреи многому могли бы научиться и многое приобрести, если бы они были обычными буржуа, для которых успех — лучшее мерило успеха. Но евреи не были обычными буржуа. И они не смогли оценить по достоинству потенциальную власть, буквально плывшую к ним в руки. Они даже не подумали организовать тайное общество для закулисного управления миром, в чем их так упрямо и безосновательно обвиняли антисемиты. Они всегда лишь оказывали мягкое давление на власть ради мелких нужд самозащиты.

Историки никогда толком не понимали, насколько евреи были бессильны и безучастны. Между тем, вера евреев в государство была безгранична, а их неведение насчет действительных условий в Европе фантастично. Они совершенно не замечали нарастающих противоречий между государством и обществом. Они последними заметили, что развитие событий затягивает их в самый центр конфликта. Они не заметили, как ан-

тисемитизм перестал быть просто формой общественной дискриминации и превратился в политический аргумент, вокруг которого, как оказалось, могли объединиться все. Процесс этот был вполне естественным: каждый класс общества, вступавший в конфликт с государством как таковым, становился антисемитским, поскольку единственной социальной группой, которая недвусмысленно ассоциировалась в его глазах с государством, были евреи. Единственный класс, которому антисемитизм остался чужд, был рабочий класс. Он был поглощен классовой борьбой и понимал исторический процесс в марксистском духе. Он был в конфликте не с государством, а с другим классом — буржуазией. А евреи никогда не были важной частью буржуазии и тем более не символизировали ее.

Прекрасная иллюстрация отношений между евреями и государством в начале XIX века — возвышение дома Ротшильдов. Ротшильды уже не были связаны с каким-то одним двором (как раньше придворные евреи), а превратились в международных банкиров с отделениями при всех важных дворах Европы. Новый стиль Ротшильдов проистекал из понимания того, что евреи во всех странах эмансипировались и одновременно теряли международный статус.

Превращение Ротшильдов в международных банкиров и их неожиданное возвышение над остальными еврейскими банкирскими домами изменило всю структуру еврейского государственного бизнеса. Прежде отдельные евреи боролись друг с другом за право оказывать финансовые услуги государству. Когда Ротшильд получил монополию на выпуск государственных займов, объединение всех еврейских капиталов оказалось возможным и необходимым делом. Это дало новый стимул для объединения евреев как группы, причем международной группы.

Исключительное положение дома Ротшильдов оказалось объединяющим фактором в тот момент, когда религиозно-духовная традиция перестала объединять евреев. Для неевреев имя Ротшильда стало символом международного характера еврейства в мире наций и национальных государств. Никакая пропаганда не могла бы создать символ, более удобный, чем создала сама действительность. Миф о том, что евреи связаны друг с другом теснее, чем все остальные народы, во многом обязан своим возникновением истории дома Ротшильдов.

Еще одно, и гораздо менее случайное обстоятельство оказалось благоприятным для живучести этого мифа. Это была семья. В сохранении еврейского народа она сыграла огромную роль. Во враждебном мире евреи видели в семье свою последнюю крепость. До некоторой степени они рассматривали весь еврейский народ как единую семью. Иными словами, представление антисемитов о евреях как о группе, тесно связанной семейными узами, имело нечто общее с представлением евреев о самих себе.

Таковы корни антисемитской аргументации. Евреи были тесно связаны с государством, и бунтующие силы общества отождествляли их с властью. Евреи всегда держались в стороне от общества и концентрировались на интересах семьи: поэтому их неизменно подозревали в том, что они стремятся разрушить всякую общественную структуру.

2. Ранний антисемитизм

В Западной и Центральной Европе антисемитизм носил исключительно политический характер и всегда сочетался с какой-либо острой политической проблемой. Напротив, в Польше и Румынии особая классовая структура общества породила постоянные и интенсивные антисемитские чувства у широких народных масс.

В этих двух странах земельная аристократия продолжала господствовать политически, препятствовала эмансипации крестьянства и мешала развитию нормального среднего класса — старого среднего класса. Лавочниками и торговцами стали здесь евреи. На их долю выпала задача обеспечить развитие промышленного капитализма в этих странах, потому что больше никому было это сделать.

Но евреи не справились с этой задачей. Поэтому возникла вражда между евреями и теми слоями общества, из которых в нормальных условиях должен был рекрутироваться средний класс. Ведь евреи заняли их место. Возникло представление, что интересы евреев противоречат интересам общества.

Правительства, со своей стороны, пытались обеспечить развитие капитализма, не угрожая интересам земельной аристократии. Единственное, что они сделали для этого, так это попытались ликвидировать еврейский средний класс, отчасти ус-

тупая общественному мнению, а отчасти потому, что евреи на самом деле были элементом феодальной системы.

Но в данном контексте специфические условия Восточной Европы нам мало интересны. Здесь ненависть к евреям была всеобщей, и для специальных политических целей антисемитизм не годился.

Общеввропейский антисемитизм зародился в Центральной и Западной Европе и поэтому следует вернуться к ней.

В Пруссии антисемитизм расцвел сразу же после поражения, которое она потерпела от Наполеона в 1807 году, когда реформаторы превратили полуфеодальный просвещенный деспотизм в более или менее современное национальное государство.

Новая система немедленно уравнила евреев в правах и ждала их быстрого исчезновения как группы. Правда, Пруссия тотчас же потеряла восточные провинции, где были сосредоточены многочисленные неимущие евреи, и новый порядок коснулся лишь евреев западных провинций, уже и раньше имевших привилегии. Фактически он лишь подтвердил статус кво.

Эмансипация евреев была осуществлена во имя принципа. Но при этом в обществе перестали считать, что они полезны именно как евреи. Эмансипация евреев была последним в серии мероприятий, преобразовавших феодальное общество в национальное государство.

Аристократия, естественно, была против, и ее оппозиция вызвала вспышку антисемитизма. Правда, после Венского конгресса она восстановила свои позиции, и ее антисемитизм ограничился мягкой дискриминацией. Но это был идеологический прецедент.

Тем временем под влиянием романтиков получил полное развитие политический консерватизм, подчеркивавший принципиально христианский характер государства, и это послужило предлогом для дискриминации растущей еврейской интеллигенции. Пострадала еврейская беднота, которая вернулась в Пруссию вместе с восточными провинциями по Венскому конгрессу — ведь интеллигенция рекрутировалась из бедноты. Богатое еврейство — банкиры и бизнесмены — не только не пострадали, но и выиграли от этой стратегии, поскольку подлинная эмансипация масс покончила бы с их привилегированным положением.

Таким образом, установилась полная гармония между государством и денежным еврейством. Богатые евреи получили контроль над своими братьями и желательную для них сегрегацию еврейской общины; государство сочетало политику благоволения к богатым евреям с официальной дискриминацией еврейской интеллигенции.

Вот в этих условиях аристократический антисемитизм политически увял, но либералы и радикалы, настроенные против прусского государства и государства Меттерниха, оказались более последовательны и активны. Борясь со всякого рода привилегиями, они ввели в употребление пресловутое различие между индивидуальными евреями — нашими братьями — и еврейством как группой. Они пустили в оборот клише "нация внутри нации" и "государство внутри государства". Последнее абсолютно не соответствовало никакой действительности. Но первое было наполовину правдой, потому что евреи не как политическая, а как социальная группа, конечно, были отдельным телом внутри нации.

В Пруссии (но не в Австрии и Франции) этот ранний антисемитизм либералов быстро сошел на нет, по мере того как радикалы втягивались все больше в экономический либерализм богатеющего среднего класса. Правда, он оставил заметный след в литературной традиции и оказал влияние, в частности, на молодого Маркса, которого так часто и несправедливо обвиняют в антисемитизме.

Все эти антисемитские движения были, однако, предисторией. Современный антисемитизм зарождается в последней трети XIX века.

3. Первые антисемитские партии

И в Германии, и в Австрии, и во Франции подъему антисемитизма хронологически предшествовали крупные финансовые скандалы (типа знаменитой аферы Ставиского). Больше всего от них пострадали низы среднего класса, то есть мелкая буржуазия. Они потеряли свои скудные сбережения.

Финансовый крах именно этого слоя вовсе не был случайностью. Эволюция общества вела к изживанию мелких собственников как класса. В глазах же мелкого собственника банкир был таким же эксплуататором, как предприниматель для фабричного рабочего.

Между тем, среди банкиров было много евреев. Более того, в силу многих исторических обстоятельств образ банкира вообще по преимуществу наделен еврейскими чертами.

К этому обстоятельству добавилось еще одно. А именно: евреи контролировали выпуск государственных займов. Именно этим определялось их положение в обществе и в финансовой системе, а не тем, что они ссужали деньгами маленьких людей. Они были, таким образом, не просто и не столько "эксплуататорами". Они стояли на пути мелкого буржуа к власти.

Как бы ни были ничтожны первые антисемитские политические партии, они сразу же заняли в политической жизни особое место, объявив себя "не партиями среди партий", а "партиями над партиями". В национальных государствах, где классовая и партийная борьба владели сознанием, только государство и правительство претендовали на то, чтобы быть "выше партий". Партии отражали лишь интересы определенных групп и открыто выступали от их имени.

Не таковы были антисемитские партии. Они настаивали, что представляют интересы всего общества, всей нации. В то же время они хотели сохранить образ партий и прийти к власти в этом качестве, так чтобы голосовавшие за них ощущали себя распорядителями наций. Их революционная активность была направлена против правительств, а не против других партий.

Вера антисемитов, что они, претендуя на власть, всего лишь хотят лишиться власти евреев, позволяла им считать, что их борьба вполне аналогична борьбе рабочих против буржуазии. Нападая на евреев, стоящих будто бы за спиной государства, они как бы нападали на само государство, и в этом было их преимущество.

Другим важным свойством антисемитских партий стало то, что они сразу же оказались международной силой в отличие от националистических партий. Эта сторона дела часто остается незамеченной, потому что антисемитские партии пользовались языком реакционных партий, отчасти в силу некоторых интеллектуально-языковых традиций, отчасти сознательно скрывая свое подлинное лицо.

В отличие от социалистических партий, которые в те времена были безразличны к вопросам внешней политики, антисемитские партии сделали внешнеполитические проблемы ядром

своих программ и даже предлагали решение внутренних проблем средствами внешней политики.

Интернационализм социалистов был внутренним убеждением каждого из них, а содружество народов они представляли себе в виде сотрудничества суверенных государств. С антисемитами дело обстояло прямо противоположным образом. Их целью была наднациональная структура, упраздняющая все национальные структуры в равной мере.

Все это было удобно для пропаганды, но международный успех антисемитизма объяснялся другими обстоятельствами. Уже в конце XIX века стало ясно, что национальное государство как национальная форма не адекватна новым экономическим тенденциям. Социалисты сделали из этого свой вывод: они стали выступать за международный союз социалистов.

Но они были так заняты классово-борьбой, что заметили антисемитизм, лишь когда он появился на политической арене как серьезный соперник. Тогда оказалось, что социалисты не только не готовы к решению еврейского вопроса, но попросту боятся его. В этом вопросе, как и в других международных вопросах, они оставили поле битвы супернационалистам, которые, казалось, имели готовые ответы.

В 80-х и 90-х годах антисемитизм несколько угас, поскольку быстрый экономический рост привел ко всеобщему процветанию.

4. Левацкий антисемитизм

Если бы не жуткий конечный результат немецкого антисемитизма, он не заслуживал бы особого внимания. Как политическое явление XIX века гораздо интереснее антисемитизм французский. А как идеология, конкурирующая с respectable идеологиями, антисемитизм был наиболее разработан в Австрии.

В Австрии враждебной государству была Немецкая Либеральная партия. Это была партия нижних слоев среднего класса, которая развивала решительно левые взгляды. Она пользовалась успехом в университетах, где открыто проповедовала антисемитизм. Лидер этой партии Шёнерер не только использовал антисемитизм как пропагандистское средство, но и создал пан-германистскую идеологию, которая позднее повлия-

ла на нацизм больше, чем любая другая форма антисемитизма.

Одно время партию Шённера потеснила христианско-социальная партия, тоже антисемитская, но куда более двусмысленная. Она была враждебна по отношению к еврейской интеллигенции и вполне дружественна к евреям бизнеса. Одновременно она была лояльна к государству и Католической Церкви.

Открытый империализм австрийских пан-германистов, послуживший причиной их временной слабости, в конце концов привел их к успеху. Это движение оказалось куда более живучим и стоит у истоков событий нашего века больше, чем любая другая разновидность антисемитизма.

Наоборот, французский антисемитизм окостенел в форме, которую ему придал XIX век. Это относится, вообще говоря, ко всей французской общественной жизни. Все французские правительства до Второй Мировой войны идеологически принадлежали еще XIX веку. Когда после 1940 года при Вишистском режиме французскому антисемитизму выпала возможность проявить себя по-настоящему, оказалось, что он безнадежно устарел и совершенно не пригоден для новых условий, на что немецкие нацисты не замедлили обратить внимание.

Все дело было в том, что, как бы ни были кровожадны французские антисемиты, они не ставили перед собой наднациональных задач.

С другой стороны, его во Франции и не надо было связывать с наднациональной проектной риторикой. Государство (Третья Республика) не пользовалось авторитетом, нападки на государство и евреев легко комбинировались, и еврейскую проблему нетрудно было связать с любой другой проблемой, которых было немало.

Еще одной особенностью французского антисемитизма было то, что его поддержала Церковь. Эта позиция Церкви и побудила французских социалистов во время дела Дрейфуса выступить против антисемитизма, но до этого левые движения во Франции питали сильную антипатию к евреям. Сначала его вдохновлял образ эльзасского еврея, дававшего деньги в рост крестьянам, а впоследствии Ротшильд, сперва финансировавший Бурбонов, затем имевший тесные связи с Луи Филиппом и особенно процветавший при Наполеоне III.

Несмотря на столь легковесные поводы, движение отли-

чалось глубиной. В целом оно выражало ненависть низов среднего класса к банкам, в частности к еврейским банкам, которые социальные низы по недоразумению считали ядром капиталистической системы.

Все же и этот социальный антисемитизм к началу нашего века тоже пошел на убыль. Более живучим оказался антисемитизм, связанный с общей ксенофобией. После Первой мировой войны образ пришлого еврея слился с образом иностранца вообще. Но и тут сыграло свою роль то обстоятельство, что Ротшильды не были коренными французскими евреями.

Все же и этот националистический антисемитизм оказался достаточно безобидным. Немцам так и не удалось убедить французских антисемитов признать, что уничтожение евреев необходимо для решения всех мировых проблем.

Все эти виды антисемитизма фактически оборвались в истории. Они не были пригодны для политических целей XX века. В XX веке понадобилось нечто иное.

5. Золотой век безопасности

Так можно назвать два десятилетия, отделяющие антисемитские движения от Первой мировой войны.

В эту эпоху несостоятельные политические движения продолжали существовать по инерции: анахроничный деспотизм в России, коррумпированная бюрократия в Австрии, тупой милитаризм в Германии и полумертвая республика во Франции. Все слои общества были втянуты в экономическое развитие и политикой интересовались мало.

По мере невиданного ранее экономического роста чисто политические факторы отступали на второй план. Международное положение все больше определялось соотношением экономической мощи держав. Одновременно становилось все более популярным убеждение, что сила государства нужна исключительно для того, чтобы покровительствовать бизнесу и охранять национальную собственность.

Евреи больше чем кто-либо были введены в заблуждение временным затишьем. Всякое богатство в высшей степени успокоительно. Чем больше слабели государства, тем меньше внимания неевреи обращали на евреев. Растущее влияние крупного бизнеса привело к упадку ссудного капитала. Евреи стали ме-

нять профессию. Они занялись промышленностью и розничной торговлей. Тут могло бы обнаружиться, что евреи хотят денег или ради денег, или ради власти. В первом случае на свет появились бы еврейские капиталистические династии; во втором евреи укрепили бы свои позиции в государственном секторе и стали бы оспаривать влияние крупного бизнеса.

Но не случилось ни того, ни другого. Дети промышленников и банкиров дезертировали из бизнеса в свободные профессии и чисто интеллектуальные занятия, чего они не могли себе позволить несколько поколений назад.

То, чего национальные государства опасались так сильно, произошло: на глазах росли ряды еврейской интеллигенции. Это означало, что евреи ускользают из-под протекции государства. Одновременно они теряли связи друг с другом. Они нуждались в том, чтобы войти в среду коренных народов. Социальная дискриминация, совершенно не волновавшая их предков, стала для них самой серьезной проблемой.

В поисках путей в общество они быстро отыскивали ключ, способный открыть все двери. Это была "ослепительная власть славы" (Стефан Цвейг). Но не собственная слава стала их фетишем. Жить в лучах чужой славы оказалось практичнее, чем прославиться самому. Поэтому евреи становились обозревателями, критиками, коллекционерами и организаторами чужой славы. И вновь повторилась уже знакомая ситуация: этот инструмент открыл им дорогу не просто в общество, но в интернациональное общество, потому что настоящая слава — интернациональна.

Правда, с другой стороны, лишь это интернациональное общество признало ассимиляцию евреев. Во Франции австрийского еврея легче признавали за австрийца, чем в Австрии.

В этих условиях евреи стали символом Общества и объектом ненависти для всех, кого Общество не допускало в свои гостиные. Антисемитизм, утративший почву, вскормившую его в XIX веке, теперь попал в руки шарлатанов и безумцев и в их руках приобрел ту причудливую форму — смесь полуправды и диких предрассудков, в которой он и был усвоен после 1914 года всеми отчаявшимися и озлобившимися элементами европейских обществ.

ГЛАВА 3. ЕВРЕИ И ОБЩЕСТВО

Когда евреи, выполнив в обществе некую социальную роль, укоренились в сфере государственного бизнеса, их политическое невежество было им самим весьма к стати. Но оно же, то есть предрассудочное недоверие к народу и слепая вера во власть предрержащих, сделали их нечувствительными к опасностям антисемитизма. Евреи не замечали ничего, кроме любых форм социальной дискриминации.

Они не сумели заметить разницу (да это и вправду было нелегко) между политической враждебностью к евреям и простой бытовой антипатией. Оба эти явления развились бок о бок, но на самом деле они выросли из прямо противоположных аспектов эмансипации. Политический антисемитизм развивался, поскольку евреи были обособленной группой, тогда как социальная дискриминация евреев была реакцией на уравнение евреев с остальными группами.

Равенство условий для всех, несомненно, залог справедливости, но вместе с тем это одно из самых рискованных предприятий современного человечества. Чем более равны условия для всех, тем труднее найти объяснение действительным различиям между людьми, и, таким образом, люди и группы становятся еще более глубоко неравными.

Понятие равенства переносится из политического контекста в социальный и становится особенно опасным в обществах, где мало места для обособленных групп и индивидов, потому что их отличия от всех остальных в этом случае особенно поразительны.

В наше опасное время люди, вероятно, впервые в истории оказались лицом к лицу друг с другом, не защищенные друг от друга ни особыми обстоятельствами, ни особыми условиями. Принцип равенства требует, чтобы человек признал в каждом равного самому себе. Вот почему борьба между группами, которые не хотят сделать этого по отношению к другим группам, приобретает такие жестокие формы.

По мере формального уравнения евреев со всеми остальными группами, на их особенности стали обращать все больше внимания. В новых условиях евреи одновременно раздражали и привлекали неевреев. Эта комбинированная реакция и определила историю западного еврейства.

Дискриминация евреев, так же как и заигрывание с ними, были политически стерильны: они не породили ни политического движения против евреев, ни попыток покровительствовать им политически. Но комбинация дискриминации с заигрыванием абсолютно отравила атмосферу отношений между евреями и неевреями и повлияла на поведение самих евреев. Она-то и породила специфический тип "социального еврея".

Социальная антипатия к евреям и сопутствующие ей разные формы дискриминации оказались сравнительно безвредными в Европе, потому что общество там так и не стало по-настоящему обществом равных.

Совершенно иначе дело обстоит бы, если бы здесь, как и в США, равенство было бы чем-то таким, что разумеется само собой. В таком обществе дискриминация становится единственным средством развлечения, единственной возможностью ускользнуть от равенства, если оно нежеланно, а конституция его требует. Тогда при определенном стечении обстоятельств эта неконституционная дискриминация может породить очень опасное политическое движение. Это может произойти в один прекрасный день на почве социального антисемитизма в американском обществе. Но в Европе социальный антисемитизм не имел большого влияния на зарождавшийся политический антисемитизм.

1. Между парией и парвеню

Отношения евреев с обществом регулировались хрупким равновесием между обществом и национальным государством. В течение 150 лет евреи платили политическим бессилием за социальный успех и социальными унижениями за успех политический. Когда обществу было навязано политическое, экономическое и юридическое равноправие евреев, оказалось, что ни один класс не готов признать их равенства, делая лишь отдельные "исключения" для "необычных евреев".

Те евреи, которым давали понять, что они "исключение", "необычные евреи", прекрасно понимали двусмысленность этого комплимента, а также то, что именно двусмысленность их положения открывает им двери в общество. И они старались "не быть евреями, оставаясь евреями". Чтобы быть "неорди-

нарными евреями", в самом деле нужно было оставаться прежде всего "евреем".

Главной формой неординарности стала образованность. В XVIII веке спрос на образованность возник в атмосфере "нового гуманизма". В просвещенном Берлине Мендельсона образованный еврей воспринимался как живое свидетельство равного достоинства всех людей. Появление евреев в обществе бурно приветствовали Мирабо, Гердер, Гете и многие другие. На образование смотрели как на естественный выход для евреев из национально ограниченного иудаизма.

Трудно переоценить губительные последствия этого ажиотажа для социального положения и психологического состояния евреев. Напоминания о том, что они не похожи на еврейскую массу, деморализовали образованных евреев. Они привыкли к тому, что от них ждут исключительности, и изо всех сил старались ее продемонстрировать.

Образованные евреи, попавшие в нееврейское общество, наслаждались своим успехом и сохраняли совершенно невинное безразличие к проблеме политических и гражданских прав.

Но когда в 1806 году после победы Наполеона евреи получили формальное равноправие в Пруссии, это безразличие сменилось паническим страхом. Образованные евреи понимали, что выход их собратьев из гетто подорвет основу, на которой базировался их статус. Совершенно не случайно, что массовое обращение образованных евреев в христианство началось после того, как им в Пруссии было даровано формальное гражданское равноправие. До этого они считали свое еврейство приемлемым и безопасным. После этого — нет.

Практика социальной дискриминации вызвала к жизни жуткий образ "Еврея", который впоследствии использовался пропагандой политического антисемитизма. Первым, кто провел разницу между индивидуальным евреем и "Евреем вообще, Евреем везде и нигде", был забытый публицист, написавший в 1802 году едкую сатиру на еврейское общество с его алчной тягой к образованию — волшебному ключу к дверям в общество. Евреи в его памфлете — филистеры и выскочки.

Следует иметь в виду, что идея групповой ассимиляции существовала только среди еврейских интеллектуалов. Придворные евреи и банкиры не были приняты в Обществе и никогда не пытались пересечь невидимую границу своего гетто.

Бедность и бесправие еврейской массы были в интересах придворных евреев. Они управляли еврейской общиной, не принадлежа к ней социально и географически. Но они не принадлежали и к нееврейской общине. Презируемые придворным обществом, не имея связей ни с миром бизнеса, ни с нееврейским средним классом, они находились тем более вне Общества, что их экономическое процветание не зависело от господствовавших в XIX веке общих экономических условий. Эта изоляция и независимость укрепляли в них ощущение силы и гордости.

Такая гордыня не имела ничего общего с классовым высокомерием. Правя собственным народом как принцы, они тем не менее воспринимали себя как "первые среди равных".

Классовое высокомерие пришло позднее, когда еврейский банковский капитал стал международным, объединился посредством перекрестных браков, и возникла настоящая международная каста. Возникновение этой касты, разумеется, не ускользнуло от внимания нееврейских наблюдателей. Это наблюдение, как часто бывает, незаметно обобщилось, и всех евреев стали рассматривать как касту.

Все это имело огромное значение для возникновения политического антисемитизма. Социальный антисемитизм развивался в совершенно иных условиях, и к нему это не имело бы никакого отношения, если бы не одно обстоятельство. А именно: еврейские интеллектуалы унаследовали психологические черты и стиль поведения касты.

Точно так же, как и сама каста, они прониклись сознанием собственной исключительности. И ее и их исключительность признавалась противной стороной. Исключительность денежных евреев старого образца признавалась властями; исключительность евреев-интеллектуалов — Обществом.

Ассимиляция, даже в крайней форме обращения в христианство, никогда на самом деле не могла привести к исчезновению евреев как особой группы. Хотя Общество отвергло их, поскольку они были евреями, единственным пропуском в Общество для них было все то же еврейство. И они очень хорошо это понимали. Так, Людвиг Берне говорил: "Некоторые попрекают меня, что я еврей, кое-кто хвалит за это, иные прощают мне это, но все так или иначе помнят об этом".

Когда пир гуманизма и просвещения прошел и благо-

склонное отношение к евреям уступило место социальной дискриминации, еврейские интеллектуалы стали главными бунтовщиками в Европе. Они выступили против государства и против богатых евреев, пользовавшихся благосклонностью государства. В этом контексте становятся понятны антиеврейские разоблачения Маркса и Берне.

Однако та же ситуация, сперва сделавшая бунтовщиками первое поколение образованных евреев, в дальнейшем породила особый род конформизма. Приспособившись к Обществу, которое отвергало "простых евреев", но которое в то же время охотнее принимало "образованного еврея", чем "нееврея", образованные евреи отмежевались от евреев в целом, продолжая, однако, подчеркивать, что они — евреи, именно евреи.

Стиль поведения ассимилированных евреев, с постоянной концентрацией усилий на стремление выделиться во что бы то ни стало, создал еврейский тип, легко распознаваемый с первого же взгляда. Перестав идентифицировать себя по национальности и религии, евреи трансформировались в социальную группу с характерными психологическими свойствами и реакциями. Иудаизм выродился в еврейство, мировоззрение — в набор психологических черт, а еврейский вопрос стал личной проблемой каждого отдельного еврея.

Новый тип еврея был еще очень далек от устрашающего "Еврея вообще" — центральной фигуры антисемитской мифологии, равно как и еврейской апологетики ("наследник пророков и вечный борец за справедливость"). Но уже видно, как еврей, находящийся на краю общества, приобретает и сам охотно демонстрирует черты, приписываемые этому мифическому типу.

Эти черты приходилось приобретать всякому парвеню, если он хотел подняться наверх: бесчеловечность, жадность, наглость, сервильность. Легко заметить, что эти свойства вовсе не были ничьей национальной чертой, не были они и специфически еврейскими.

Но в XIX веке каждому еврею приходилось решать для себя: или он останется парией, или он пожелает войти в Общество на тех деморализующих условиях, которые Общество ему навязывало.

Так называемая сложная психология среднего еврея складывалась в двусмысленной ситуации. Оставшись париями,

евреи раскаивались в том, что не стали парвеню. А став парвеню, они страдали от того, что предали свой народ и поменяли равные права на личные привилегии. Большинство ассимилированных евреев продолжали жить в полусвете-полутьме, зная, что и их личный успех, и их личная неудача связаны с их еврейством. Еврейский вопрос потерял для них политическое значение, но он отягощал их личную жизнь и влиял на их жизненные решения все более тиранически.

Старое присловье "человек на людях и еврей у себя дома" реализовалось самым прискорбным образом: политические проблемы стали злокачественной опухолью в сознании еврея, пытавшегося решить их внутри собственной души чистым переживанием; частная жизнь была отравлена и дегуманизирована.

Было нелегко оставаться евреем и не стать похожим на пресловутого "Еврея вообще".

Пока в Обществе как-то поддерживался мир, все это не было так катастрофично и, воспроизводясь из поколения в поколение, уже почти превращалось в рутинный образ жизни. И даже приобрело инструментальную пользу. Концентрация на искусственно усложненной внутренней жизни развила у евреев своеобразные способности. А они помогали евреям отвечать на самые причудливые запросы общества: евреи умели быть таинственно-чужеродными и возбуждать, умели демонстрировать спонтанное самовыражение и эффектно преподносить себя в свете. Все это были способности, изначально свойственные актерам и виртуозам, людям, которых общество отчасти презирало, но отчасти восхищалось ими. Ассимилированные евреи, наполовину гордые собой и наполовину стыдившиеся своего еврейства, несомненно относились к той же категории.

Буржуазное общество, развившееся на руинах своей революционной традиции, жило под сенью черной скуки в условиях экономического довольства и общего безразличия к политическим вопросам. Евреи стали людьми, которые могли украсит досуг. Чем меньше о них думали как о равных, тем более привлекательными и развлекательными они казались.

В поисках развлечений буржуазное общество рано выказало страстный интерес к индивидуальности, которую оно понимало как отклонение от нормы. И на этом пути быстро обнаружилось привлекательность всего, что имело оттенок тайной

греховности. Именно эта болезненная склонность открыла те двери, через которые евреи могли проникнуть в Общество. Потому что в глазах Общества “еврейство”, извратившееся в психологическое свойство, легко приобрело вид греха. Первоначальная терпимость и интерес эпохи Просвещения обернулись патологическим вожделением экзотического, ненормального, самоцельно различного.

Носителями этих свойств в разные исторические эпохи были разные “нестандартные” группы, но ни с одной из них не были связаны политические проблемы. Иная судьба выпала на долю евреев.

2. Всесильный колдун

Яркий тип “исключительного еврея” представлял Бенджамин Дизраэли. Дизраэли в жизни интересовало только одно — карьера. Он был отмечен, так сказать, двумя печатями: печатью Фортуны и печатью беззаботной невинности ума и воображения. Благодаря этому никто даже не заметил, что он карьерист, хотя он ни о чем, кроме карьеры, всерьез не думал.

В простоте душевной он стихийно сообразил, что было бы глупо чувствовать себя деклассированным и что гораздо увлекательнее (для себя и для других) подчеркивать свое еврейство, причисляясь и разговаривая особым образом.

Он домогался доступа в высшее Общество гораздо более страстно и бесстыдно, чем любой другой еврейский интеллигент. Он разыгрывал политическую игру, как актер в театральном представлении. Он выступал в роли романтического принца, положившего к ногам принцессы — английской королевы — Британскую Империю.

Дизраэли происходил из глубоко ассимилированной семьи и почувствовал инстинктивно, что вся его жизнь зависит от его особых свойств среди прочих смертных и от того, как он сумеет это подчеркнуть и использовать.

Дизраэли продемонстрировал уникальное понимание Общества и правил его игры. Ему принадлежали слова: “То, что преступление в глазах массы, в глазах немногих избранных — всего лишь грех”. Зная это правило, он должен был понимать, что наибольшего успеха еврей может достигнуть там, куда ему труднее всего попасть — в Обществе. Именно там еврейство из

преступлений трансформируется в соблазнительный грех. Он напустил на себя вид экзотического, таинственного мага, играя на чувствительной струне общественного вкуса.

Один из секретов его успеха был в том, что он играл открыто. На современников его поведение производило впечатление странной смеси игры и абсолютной искренности. Такой эффект оказывался возможен благодаря абсолютной невинной наивности его натуры и благодаря тому, что ему повезло родиться и получить воспитание в Англии и быть англичанином.

Англия не знала еврейской бедноты. Изгнанные из Португалии евреи были образованы и богаты. Во времена Дизраэли Англия не знала еврейского вопроса в тех формах, которые он приобрел на континенте. Благодаря этому английские "особые евреи" не были такими же "особыми", как на континенте и не рефлектировали так сильно по поводу своей исключительности.

Дизраэли не имел ни малейшего представления об условиях, в которых жили еврейские массы. Он был убежден в благотворном влиянии еврейства на общественную жизнь и считал, что евреи заслужили почет и любовь: ведь они "ублажают общественный вкус и развивают возвышенные чувства публики". Он гордился ролью английских Ротшильдов в сокрушении Наполеона. Он гордился тем, что он еврей, и полагал, что осуществляет политическое представительство еврейства, хотя, будучи крещеным, никакой еврейской общины не представлял.

Дизраэли всерьез думал о себе, как об избранном представителе избранной расы, и демонстрировал это открыто. Образ Дизраэли оказался, безусловно, питательной пищей для воображения антисемита.

Между тем, политической карьеры Бенджамину Дизраэли было мало. Он хотел завоевать светское Общество. Стремление выделиться среди прочих смертных и попасть в аристократическое общество было типичным для среднего класса Англии той поры. Но большими успехами буржуазия похвастаться не могла: она неизменно терпела поражение в попытках сломить кастовое высокомерие аристократии. Дело в том, что буржуазия делала упор на достоинство индивида, тогда как аристократия не желала этого видеть, считаясь только с фактом происхождения. Дизраэли противопоставил кастовому высокомерию расовую гордость, поскольку почувствовал, что каков бы ни

был социальный статус еврея, личный статус еврея определялся происхождением.

Но Дизраэли пошел даже несколько дальше. Он знал, что аристократия уже не так уверена в себе, как раньше. Он знал, что, наблюдая, как богатые буржуа покупают титулы, аристократия начинает сомневаться в себе и собственной ценности. И он добил аристократию, не побоявшись сказать ей в лицо, что "англичане — выскочки и гибриды, тогда как он принадлежит к одной из чистейших рас Европы". Он без смущения говорил, что евреи и сейчас "сидят по правую руку Бога". Он сокрушил аристократические расовые теории, ударив в их самое слабое место, и заложил основы буржуазных расовых взглядов.

Только у ассимилированных евреев иудаизм и принадлежность к еврейскому народу вырождается в признание простого факта происхождения. Секуляризация и ассимиляция приводят к тому, что связь с иудейской религией и культурой, специфическим наследием и видением собственного будущего прерывается, и от первоначальной идеи избранности остается только одно — претензия на принадлежность к избранному народу.

Дизраэли был далеко не единственный ассимилянт, продолжавший верить в свою избранность, не веря уже в Бога, избравшего избранный народ. Но он, пожалуй, был единственным, кто из выхолощенной концепции исторической избранности извлек расовую доктрину. Он был готов утверждать, что семитское начало — "воплощение всего духовного в нашей природе", что "раса" (независимо от языка и религии) — решающая сила в истории, что "раса это кровь" и что существует только одна подлинная аристократия и это — чистая раса.

Связь всего этого с современными расовыми теориями очевидна, и то, что Дизраэли набрел на эти идеи, лишний раз указывает на то, как велика роль расизма в компенсации комплекса социальной неполноценности.

К расовой доктрине Дизраэли пришел благодаря своему глубокому проникновению в правила игры Общества и потому, что он тонко почувствовал специфику секуляризации ассимилированных евреев. Евреи не только оказались втянуты в общий процесс секуляризации, который в XIX веке уже утратил гуманистический пафос эпохи Просвещения. Еврейская интеллигенция попала также под влияние еврейских реформаторов,

хотевших превратить национальную религию в номинальную религиозную конфессию. Для этого им пришлось изъять из иудаизма мессианизм и видение Сиона.

Главной особенностью секуляризации евреев оказалось отделение концепции избранности от мессианской идеи. Без мессианской идеи представление об избранности евреев превратилось в фантастическую иллюзию особой интеллигентности, достоинств, здоровья, выживаемости еврейской расы, в представлении, что евреи будто бы соль земли.

Именно в процессе секуляризации родился вполне реальный еврейский шовинизм, если под шовинизмом понимать извращенный национализм, где "субъект — сам объект своего поклонения, единственный свой идеал и идол" (Г.К.Честертон). С этого момента старая религиозная концепция избранности перестает быть сущностью иудаизма и становится сущностью еврейства.

Этот парадокс нашел себе наиболее полное воплощение в Дизраэли. Он был английским империалистом и еврейским шовинистом.

Представления о роли евреев в политике сложились у Дизраэли в молодости и оставались неизменными. В романе "Конигсби" (1844 г.) он рисует фантастическую картину, где еврейские деньги возводят на престол и свергают монархов, создают и разрушают империи, управляют международной дипломатией. Конечно, это была чистая фантазия. Дизраэли даже не подозревал, что еврейские банкиры интересуются политикой еще меньше, чем их нееврейские коллеги.

Основанием для этих фантазий было существование хорошо налаженной еврейской банковской сети. Она и послужила Дизраэли прообразом тайного еврейского общества, правящего миром. Хорошо известно, что вера в еврейский заговор была одним из главных сюжетов антисемитской публицистики. Весьма многозначительно выглядит то, что Дизраэли, руководимый прямо противоположными мотивами, и в те времена, когда никто еще и не помышлял о тайных обществах, нарисовал в своем воображении такую же картину.

Впрочем, многие известные шарлатаны того времени были убеждены, что всю политику делают секретные общества. Это наивное представление вообще было популярно. Не только евреи, но и многие другие группы представлялись тайными си-

лами, действующими за сценой, хотя на самом деле влияние их вовсе не было политически организовано.

Дизраэли любил высказываться в этом духе. В 1863 году он думал, что наблюдает "борьбу между тайными обществами и европейскими миллионерами". Затем он уверяет, что "за установление равенства и уничтожение собственности выступают тайные общества". И в 1870 году он все еще серьезно думал, что "тайные общества с их международной активностью, Римская Церковь с ее претензиями и методами, конфликтующие друг с другом наука и религия" трудятся не покладая рук, чтобы преопределить ход человеческой истории.

Вот еще характерный пассаж из Дизраэли: "Первыми иезуитами были евреи; таинственная русская дипломатия, доставляющая так много хлопот Западной Европе, организована и осуществляется главным образом евреями; страшная революция, на пороге которой стоит Германия... готовится под покровительством евреев; во главе коммунистов и социалистов стоят евреи. Народ Бога ведет дела с атеистами; самые искусные накопители богатства вступают в союз с коммунистами; особая и избранная раса обменивается рукопожатиями с самым низменным плебсом Европы. И все потому, что они хотят разрушить неблагодарный христианский мир, который обязан евреям всем, включая его имя, и чью тиранию евреи не намерены больше терпеть". В воображении Дизраэли мир превращался в еврейский мир.

Все, что говорил позднее о евреях Гитлер, содержится в этих фантазиях.

Маниакальная склонность Дизраэли толковать всю мировую политику в терминах тайных обществ коренилась в его собственном жизненном опыте, типичном для многих других менее заметных интеллектуалов. Опыт показал, что попасть в английское Общество было значительно труднее, чем стать членом парламента.

Английское Общество его времени было организовано в клубы, совершенно не зависящие от партий. Клубы влияли на формирование политической элиты, но сами не находились под общественным контролем. Для человека со стороны они выглядели в самом деле весьма таинственно. Никакой политический успех не мог сравняться с триумфом того, кто оказывался допущенным в эту святая святых, закрытую для простых

смертных на основании каких-то таинственных запретов.

В своей наивной вере во всемогущество тайных обществ Дизраэли был предтечей всех тех новых общественных слоев, которые, по рождению находясь за пределами Общества, никогда не в состоянии понять, что там, собственно, происходит. Когда трудно увидеть границу, отделяющую жизнь Общества от политики, им кажется, что, несмотря на весь хаос происходящего, все совершается к вышней выгоде одной и той же группы интересов. И аутсайдеры приходят к выводу, что какой-то особый институт поставил себе конкретные цели и с блеском их осуществляет. И надо признать, что в этом есть доля правды: чтобы превратить полусознательную игру интересов и бесцельную механику в целенаправленную политику, нужна лишь решительная воля.

Расовые убеждения и вера в тайные общества Дизраэли в конечном счете происходили от желания объяснить самому себе нечто совершенно мистическое и химерическое — воображаемое влияние на все человечество еврейской общины. Химера от этого не стала реальностью. Но химерический герой — “Особый Еврей” не без помощи Дизраэли стал пугалом и в то же время щекотал нервы Общества, как и всякая злоецащая сказка.

3. Между грехом и преступлением

Антисемитизм XIX века достиг своей высшей точки во Франции и остался в ней чисто домашним делом, потому что не был связан с империалистическими тенденциями. Тем не менее ему следует уделить специальное внимание, потому что он хорошо документирует проблемы, с которыми сталкивались евреи в обществе, особенно в Обществе — ведь речь идет об антисемитизме аристократического Сен-Жерменского предместья.

Документалистом в данном случае оказывается Марсель Пруст с его сознательной установкой изобразить внешний мир как часть внутреннего опыта человека. Лучшего свидетеля трудно придумать. Пруст находился на краю Общества, принадлежа к нему, но в качестве аутсайдера, и ушел из него совсем, когда начал писать свою книгу.

Как обнаружил уже Дизраэли, порок — это то, чем стано-

вится преступление в трактовке Общества. Порочность при этом из волевого явления превращается в психологическое свойство. Трансформируя преступление в порок, Общество по-рывает с идеей ответственности. Таким образом, возникает мир фатализма, в котором человек зажат как в тисках. В этих условиях каждый находится под подозрением. По словам Пруста, "Наказание — право преступника, и он лишается этого права, когда судьи склонны простить евреям их предполагаемую извращенность и склонность к предательству на том основании, что они евреи и это их расовое свойство".

Эта "терпимость" в любой момент может быть отброшена и обернуться решением ликвидировать не только всех реальных преступников, но и всех, кто "расово" предрасположен к тому же преступлению. Это может произойти, когда судебная машина не отделена от общества и общественные нормы становятся политическими и судебными правилами. Иллюзорная широта взглядов, уравнивающая порок и преступление, оказывается намного более жестокой и бесчеловечной, чем законы, признающие личную ответственность преступника.

Сен-Жерменское Общество, в изображении Пруста, принимает барона Шарлюса, несмотря на его порок, благодаря его личному обаянию и родовитости. Затем он поднимается наверх, и ему уже не нужно скрывать свой порок.

Нечто подобное происходит и с евреями. Отдельные евреи допускались в Общество еще и до Второй Империи, но теперь они становятся популярны. Перемена вкусов не означает исчезновения предрассудков. Гомосексуалист в глазах Общества остался преступником, а еврей — предателем. Изменилось лишь отношение к преступлению и предательству.

Пруст подробно описывает, как Общество в постоянной погоне за странным, экзотическим и опасным в конце концов отождествляет утонченное с ужасным и готово принять любую ненормальность — действительную или воображаемую. Героем становится человек "гениальный", "сверхъестественный", вокруг которого Общество собирается, как вокруг вертящегося стола, в надежде проникнуть в тайну "Бесконечного". В этой атмосфере еврейский джентльмен или турецкая леди действительно могут показаться существами, вызванными медиумом.

Уже добившиеся известности "исключительные евреи" для этой роли подходят мало. Гораздо удобнее безвестные ев-

реи. Евреи на первой стадии эмансипации, не отождествляемые с еврейской общиной: отождествление их с чем бы то ни было конкретным лишило бы их ореола таинственности. У Пруста первый тип представляет Сван, второй — Блок.

Хотя Бенджамин Дизраэли принадлежал к тем евреям, которых допустили в Общество за персональную исключительность, его секуляризованное представление о себе как об "избранном представителе избранной расы" — прообраз будущего представления о себе всех евреев. Это наивное и фантастическое представление евреи культивировали в себе, идя навстречу пожеланиям Общества. Без него евреи никогда не смогли бы войти в свою двойную роль. Нельзя, конечно, утверждать, что они заимствовали руководящую идею у Дизраэли. Они, как и он, просто набрали на нее в тех же условиях.

Чтобы проникнуть в Общество, евреям, таким образом, пришлось признать за собой те свойства, которые Общество им приписывало, с той лишь разницей, что сами евреи оценивали эти свойства как добродетели и хвастались ими. Иначе не могло и быть, потому что в противном случае у евреев не нашлось бы моральных сил манипулировать собственным еврейством. Евреи же стали буквально одержимы своим еврейством. Склонность Пруста считать себя евреем (он был им наполовину) — проявление этой одержимости. Он чувствовал себя принадлежащим к особому клану, и это ощущение было ему навязано Обществом.

Когда Общество распадается на клики, поведение человека уже не определяется им самим и его способностями-свойствами. Он выступает как в пьесе, где ему отведена уже написанная роль. Салоны Сен-Жерменского предместья представляли собой такие клики. Каждая из них была носителем определенного типа поведения. В этих салонах извращенцы должны были играть роль извращенцев, а евреи свою роль, роль некромантов.

Евреи ни в коем случае не стремились создать собственную клику, так как в клике, состоящей из одних евреев, каждый из них утратил бы свою исключительность. Но то же самое относилось и к хозяевам салонов. Они не могли объединяться в собственный салон аристократов. Они нуждались в таких салонах, где они были аристократами среди неаристократов.

Интересно отметить, что во времена Пруста, как и во времена первых берлинских салонов начала XIX века, в центре салонов была аристократия. Она не утратила своей страсти к обладанию культурой, любопытства к людям "особой породы". При этом она сохранила презрение к буржуа. Погоня за знаками общественного отличия была реакцией аристократии на потерю политического влияния и привилегий в условиях Третьей Республики.

Важным элементом этой реакции был презрительный протест против стандартов буржуазной культуры. Он и выразился в том, что в аристократические салоны были допущены те, кто еще совсем недавно был абсолютно неприемлем и продолжал шокировать буржуазные вкусы.

В то же время средние классы, обретя власть и состояние, не получили достаточных оснований для самоуважения. Политическая иерархия разрушилась и сгладилась, восторжествовала идея равенства, но под поверхностной демократичностью произросла еще более жесткая иерархия, чем раньше. В частности, аристократическое общество не умерло и осталось на вершине новой иерархии: оно осталось законодателем модной социальной жизни. Поэтому, изображая современное ему аристократическое Общество, Пруст изобразил фактически общество вообще.

Решающим моментом в конце XIX века было то, что вспышка антисемитизма в связи с делом Дрейфуса открыла евреям двери в Общество. А когда Дрейфус оказался невиновным и все дело кончилось, кончились слава и популярность евреев. Евреи играли в Обществе роль лишь до тех пор, пока Общество было убеждено, что они раса предателей. Что евреи думали о Дрейфусе и о самих себе, не имело никакого значения.

Примерно так же в лучи общественной славы попали немецкие и австрийские евреи сразу после I мировой войны. Тогда их подозревали в том, что война разразилась по их вине, и это обеспечило им привлекательность в глазах Общества. Если есть какая-то психологическая правда в "теории козла отпущения", то она в том, что вчерашние юдофилы считают себя как бы очистившимися от тайного греха, когда антисемитское законодательство изгоняет евреев из общества. Это объясняет их поразительную нелояльность по отношению к евреям в трудную для евреев минуту.

Что же касается самих евреев, то для них трансформация "преступности" иудаизма в модный светский порок "еврейства" крайне опасна. Из иудаизма можно ускользнуть, обратившись в другую веру; из еврейства бежать некуда. Более того, преступнику грозит всего лишь наказание, а порок должен быть искоренен. Что и сделали нацисты.

Евреи оказались втянуты в центр бури по политическим причинам, но реакция общества на антисемитизм и психологическая реакция индивидуума на еврейский вопрос в какой-то мере предопределили особую жестокость и организованный характер охоты на каждого отдельного еврея. Это было заметно уже во время дела Дрейфуса. Эту сторону дела нельзя объяснить, если мы будем смотреть на антисемитизм как на нечто самодостаточное и исторически неизменное, или как на чисто политическое явление. Социальные факторы свели антисемитизм с пути, на который встал бы чисто политический антисемитизм, будь он предоставлен сам себе. Если бы политический антисемитизм остался политическим по сути, дело кончилось бы, вероятнее всего, простым антисемитским законодательством или изгнанием, но не массовым уничтожением.

Перевод А.К.



Л. Седов

ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР ПО КРИТЕРИЮ ОТНОШЕНИЯ К СМЕРТИ

"Мы все нигилисты. И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанка прошла..."

Достоевский. *Дневник.*

Основным предметом социологического знания, каким бы способом оно ни добывалось и в каких бы терминах и концептуальных схемах ни выражалось, являются отношения, в которые прямо или опосредованно вступают люди. Любое описание исторического события, любое объяснение социального явления, любая сколь угодно абстрактная модель социального в конечном счете имеет в виду выявление специфических или общих черт отношений и взаимодействий людей, вовлеченных в описываемый сюжет. Даже когда мы пользуемся языком, казалась бы, прямо не отражающим реальность людских связей и контактов, скажем, говорим: "эта система демократична, а та — тоталитарна", мы самым обобщенным образом высказываем суждения на тему о том, как устанавливаются, поддерживаются и рвутся связи между людьми в той или иной конкретной или типовой ситуации. Связи — это первичная материя общественной жизни, и для описания их требуется строгий формальный аппарат.

Отношения, то есть устойчивый, продолжительный и обоюдный контакт, имеют различный характер в зависимости от

значения, которое имеет для участников отношения его конец или разрыв. Чисто формально (комбинаторно) можно представить четыре типа отношений по критерию разрыва для его участников. 1) От разрыва выигрывают оба или все участники. 2) Разрыв означает выигрыш для уходящего и проигрыш для остающихся. 3) От разрыва проигрывают и те и другие. 4) От разрыва выигрывают остающиеся и проигрывает уходящий.

Представленная таким образом типология может быть использована по крайней мере двояким способом. Во-первых, сами по себе различные отношения могут быть классифицированы в соответствии с указанными типами. Скажем, отношения взаимной любви, дружбы и т.д. принадлежат третьему типу; отношения азартной игры, банды, доходного дела — четвертому; отношения случайно сбившихся в тесном подвале бомбоубежища людей — первому, и т.д. Во-вторых, можно утверждать, что с помощью данной типологии открывается возможность характеристики вообще всего строя отношений, в которые вступает тот или иной индивид. Для обоснования этого положения нам необходимо обратиться к явлению смерти.

Смерть имеет тройкий смысл: это завершение телесной жизни, это обрыв сознательной жизни, это разрыв всех (внешних) контактов. Будучи разрывом всех контактов субъекта, смерть оказывается уникальным по значению событием, определяя жизнь субъекта в целом одним из указанных выше четырех способов, то есть как "игру"* (если от его смерти окружающие выигрывают, он же проигрывает), "сосуществование" (проигрывают все), "недоразумение" (выигрывают все) или же "приключение" (остающиеся проигрывают, он выигрывает). Смерть является как бы экспериментальной реализацией разрыва, который выявляет характер отношений индивида в целом, придает определенную окраску, задает тон каждому его отношению в отдельности; его мироощущение и значение его смерти — это одна и та же сущность.

Человеческие отношения, таким образом, являются в известном смысле функцией своего конца, то есть настоящее поведение определяется будущим событием, что специфично

* Указанные наименования условны, указывая на отдельные из главных признаков данного типа отношений. Данная типология отношений и их названия разработаны автором совместно с социологом А. Головым.

для человеческой реальности и требует специального методологического рассмотрения.

Можно предположить, что у человека существует или в какой-то момент возникает отношение к смерти как таковой, то есть он окончательно определяет для себя, что она значит для умирающего, независимо от того, кто умирает, и что она значит для остающихся. В таком случае можно считать, что отношение к смерти завершает и суммирует весь отрицательный опыт разрыва контактов, который уже приобрел до этого человек. В этот момент, строго говоря, и рождается субъект как существо, все отношения которого и все формы прекращения, разрыва отношений подчиняются его неосознанному отношению к смерти как к предельному случаю разрыва. Смерть преломляет жизнь, и представляемое значение смерти внушает понятие о жизни. От значения смерти в индивидуальной судьбе естественным образом можно совершить переход к значению отношения к смерти для формирования общественных отношений и связей. Ориентация людей в проблемах смертности и смерти приобретает для нас значение узлового пункта в общей системе ориентации людей, характеризующих ту или иную культурную общность.

Сразу же следует оговорить, что под культурой автор понимает не совокупность продуктов духовного производства, не вершины человеческого духа и процесс их созидания, а, следуя современному социологическому словоупотреблению этого понятия, — наиболее общий способ ориентации, присущий типичным (модальным) представителям данного народа или, лучше сказать, данной культурной общности, некое мироощущение, окрашивающее всю национальную жизнь на всех ее уровнях. Когда-то эту неуловимую субстанцию нестрого называли национальным характером. Понятие культуры представляется нам предпочтительным, во-первых, потому, что оно не столь жестко связано с представлением о биологическом (генетическом) способе передачи черт, во-вторых, потому, что оно не столь антропоморфно и позволяет рассуждать в более строгих терминах, нежели характерологические эпитеты вроде "злой", "жадный", "энергичный" и т.д., в третьих, потому, что на языке культурных ценностных ориентаций и т.п. уже осуществлены наиболее плодотворные на наш взгляд и на сегодняшний день типологические раскладки культур, наподобие парсонсовских (Т.Парсонс) классификаций.

Между культурой в указанном смысле и духовным производством нет однозначного соответствия. Присущее данной культурной общности мироощущение лишь косвенным образом может вылавливаться из литературных, философских и т.п. произведений. Особенно ценными здесь могут оказаться не столько писатели-мыслители, сколько литераторы-бытописатели, наблюдатели народной жизни (Бунин для понимания русской "толщи" предпочтительнее Достоевского с его проекцией на реальность бурь и потрясений своего внутреннего мира). Точно так же официальные религиозные доктрины не совпадают с массовой религиозной практикой и сознанием. Разумеется, производитель духовных ценностей несет в себе особенности мироощущения среды, из которой он вышел, и религиозно-философские доктрины формируются в климате этого мироощущения, однако здесь столько привнесений, заимствований, критических переосмыслений, столько творчески индивидуального, что работа с такого рода текстами как с эмпирическим материалом для выявления особенностей национального мироощущения крайне сложна. Во всяком случае индуктивному вылавливанию фактов должна предшествовать серьезная дедуктивная работа.

Возвращаясь к значению смерти, отметим, что оправдание наш подход находит хотя бы в том важном месте, которое занимает смерть во всех религиозных системах, в культурно-обобщенном опыте людей. Культивируемое значение смерти является неприкосновенной святыней национальной культуры. В мифах и сказках, в обрядах и притчах, в символике кладбищ и курганов фиксируется и передается от поколения к поколению обобщенное в культуре отношение к явлению человеческой смертности и смерти как к чему-то, требующему не переменного осмысления, оправдания, объяснения. Уже в трехлетнем возрасте рассудок ребенка упирается в загадку рождения и смерти, и от небрежно брошенных нами замечаний вроде того, что "Нигде" на вопрос "А где ты будешь, когда умрешь?", от нашего наглядного поведения по отношению к покинувшим нас, мертвым, от того, как мы их вспоминаем, как навещаем их могилы, как населяют они наши жилища, зависит самый фундаментальный компонент формируемого мироощущения ребенка — его отношение к смерти. А наши ответы и наше наглядное поведение в свою очередь заданы культурным стереотипом, стандартами, в которых воплощен опыт нации

или культурной общности. Ведь наша индивидуальная жизнь в подавляющем большинстве случаев есть не что иное, как вариация на культурную тему.

Здесь уместно сказать несколько слов о важнейшем, по-видимому, канале культурной трансляции — детском воспитании. Сколь бы ни была значительна роль, которую играют в формировании базисного мироощущения фиксированные символические тексты (литература и т.д.), наиболее стойкие, неосознанные и потому с трудом улавливаемые и почти не поддающиеся направленному воздействию стереотипы ориентации в мире воспроизводятся в раннем детстве через непосредственно наблюдаемое и переживаемое ребенком поведение членов семьи. Однако, несмотря на гигантский вклад Фрейда и его последователей, связанные с этим процессом проблемы остаются еще почти не осмысленными теоретически и не исследованными эмпирически, особенно в культурно-сопоставительном плане.

Итак, мы постулируем узловое значение отношения к смертности и смерти в системе ориентаций индивида и кардинальность решения этой проблемы в культурно-обобщенном, в том числе религиозном опыте, для формирования типа общественных связей*. Выдвигая эту проблему во главу угла, мы

* Характерно, что большинство сколь-нибудь существенных расхождений между религиозными и философскими доктринами в конечном счете сводится к различию в оценке смерти и смертности. Вспомним, как В. Соловьев, сокрушая толстовство, вскрыл именно это кардинальное несходство между толстовством и истинным христианством ("Три разговора"), показав, что проповедуемая Толстым евангельская мораль без воскресения не имеет ничего общего с христианством и ведет к утверждению царства "смерти и греха и творца их дьявола". Насколько и в этом нежелании верить в воскресение и жизнь после смерти Толстой оставался "зеркалом русской революции", мы постараемся показать в ходе дальнейшего изложения. Приведем, однако, для иллюстрации небольшую выдержку из "Трех разговоров":

"ПОЛИТИК: А вы-то на что опираетесь против отчаяния?

Г.: (выразитель точки зрения В. Соловьева): Наша опора одна: действительное воскресение. Мы знаем, что борьба со злом ведется не в душе только и в обществе, а глубже, в мире физическом. И здесь мы уже знаем в прошедшем одну победу доброго начала жизни — в личном воскресении Одного и ждем — будущих побед в собирательном воскресении всех... Без веры в совершившееся воскресение Одного и без чаяния будущего воскресения всех можно только на словах говорить о каком-то Царствии Божием, а на деле выходит одно царство смерти.

КНЯЗЬ (толстовец): Как так?

Г.: Да ведь вы же не только признаете вместе со всеми факты смерти, то есть, что люди вообще умирали, умирают и еще будут уми-

не только не порываем с веберовской традицией в социологии, но, напротив, полагаем, что отношение человека к смерти есть составная и наиболее важная часть отношений человека к абсолюту, а это последнее, по Веберу, решающим образом определяет этику людских отношений и через это — весь строй человеческой жизни*. Оставаясь в этих рамках, мы вместе с тем стремимся к более строгой формализации наших рассуждений, полагая, что проигрыш в богатстве и красочности описаний вполне компенсируется логической последовательностью и стройностью предлагаемой системы.

рать, но вы сверх того возводите этот факт в безусловный закон, из которого, по-вашему, нет ни одного исключения, а тот мир, в котором смерть навсегда имеет силу безусловного закона, как же его назвать, как не царством смерти? И что такое ваше Царство Божие на земле, как не произвольный и напрасный эвфемизм для царства смерти?

КНЯЗЬ: Я не понимаю, о чем тут разговор? Смерть есть явление, конечно, очень интересное, можно, пожалуй, назвать ее законом как явление постоянное среди земных существ, неизбежное для каждого из них, можно говорить и о безусловности этого "закона", так как до сих пор не было констатировано ни одного исключения. Но какую же все это может иметь существенную жизненную важность для истинного христианского учения, которое говорит нам через нашу совесть только об одном: что мы должны и чего не должны делать здесь и теперь? И ясно, что голос совести может относиться только к тому, что в нашей власти делать или не делать. Поэтому совесть не только ничего не говорит нам о смерти, но и не может говорить...

Г.: Действительная победа над злом в действительном воскресении. Только этим, повторяю, открывается и действительное Царство Божие, а без этого есть лишь царство смерти и греха и творца их дьявола. Воскресение — только не в переносном смысле, а в настоящем — вот документ истинного Бога".

* "Разное понимание абсолюта не могло не привести к расхождению в системах мышления антично-христианского и буддийского мира. Представление об абсолюте как надприродной сущности развело пределы того и этого мира, мира небесного и земного, потустороннего и посюстороннего.

По мнению М. Вебера, именно эта "разведенность" и послужила импульсом интенсивного развития европейской цивилизации; конфуцианской этике недоставало опоры на переживание "трансцендентного". Не было разрыва между "посюсторонним" и "потусторонним", разрыва, который вел европейца к неудовлетворенности существующими на земле порядками и при благоприятных обстоятельствах толкал его к социальным сдвигам... Конфуцианству же совершенно чуждо было поведение, вытекающее из "активной" аскезы в миру. Со своим стремлением приспособиться к дао, к всеохватывающему потоку бытия оно расценивало порядок, господствующий в мире, как "лучший из возможных".

Так пишет советский китаевед Г. Григорьева ("Махаяна и китайские учения", сб. Изучение китайской литературы в СССР, М., 1973), чрезвычайно близко к нашей точке зрения, хотя независимо от нас излагающая различия китайского, индийского и европейского мироощущений.

ГЛАВА I

ПОСТРОЕНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ. КИТАЙСКАЯ, ИНДИЙСКАЯ, ИУДЕО-ХРИСТИАНСКАЯ КУЛЬТУРЫ

Воспользуемся для получения дедуктивной классификационной рамки сеткой исходных понятий "уходящий" — "остающийся", "проигрыш" — "выигрыш", о которых говорилось выше. Перекрестное сочетание этих понятий дает четырехчленное деление или типологическое поле, разделенное на четыре субквадрата.



Попробуем, однако, отыскать эмпирические референты полученным аналитическим способом субквадратам. Для этого бросим беглый взгляд на мировые религии, взяв в рассмотрение (простоты ради) лишь китайскую, индийскую, европейско-христианскую и русскую культуры. Что внушают они смертному человеку?

Китайская культура решает проблему ухода оптимистически спокойным образом, присущим и другим менее развитым культурам, основанным на культе предков (мальгашской, например). Собственно, ухода здесь нет. Человек с китайским мироощущением живет во вселенной, населенной "живыми мертвыми", продолжающими находиться с ним в тесной связи и помогающими ему жить в этом мире. Точнее говоря, весь мир, в том числе и мир мертвых, есть этот мир, и китаец, как никто другой, чтит старость и улыбается на похоронах. Как пишет Т. Григорьева: "Для (китайского мудреца) "смерти" в абсолютном смысле не существует (как односторонности, все появляется из небытия и возвращается в небытие, смерть переходит в жизнь, жизнь переходит в смерть)". Но то, что на уровне философской мудрости выглядит как *дао*, вечный покой, абсолютное ничто, на уровне народного мироощущения проявляется как культ предков, вера в существование "воплощенных", то есть умерших, живущих среди живых в другом обличьи, и в целом ряде обрядов и обычаев. Едва ли в какой-либо иной культуре, по-иному относящейся к смерти, возможно

было бы, чтобы за главой государства — богдыханом повсюду возили гроб, чтобы гроб был естественной частью домашней обстановки, чтобы дарение гроба опасно больному рассматривалось как знак расположения и внимания, чтобы покупка гроба престарелым родителям считалась проявлением сыновней любви. Китайцы без боязни, с удовлетворением смотрят на смерть. Уходящий относится к смерти как к предстоящему далекому путешествию к людям, которых давно не видел, а остающиеся нередко продают все, чтобы только устроить пышные похороны родственнику. Китайское мироощущение в этом пункте выражено словами Конфуция: "Воздай мертвому все, как если бы он был жив"...

Итак, китайскую формулу отношения к смерти можно записать формулой $\frac{+}{+}$, или "от ухода выигрывают все".

Не умирает и человек индийского мироощущения. Ему уготована бесконечная цепь рождений в разных обликах и телесных воплощениях. Но в отличие от китайского отношения к жизни и смерти индийское окрашено пессимизмом во всем, что касается жизни. Цепь рождений превращается в тяжелую цепь, в бремя, от которого необходимо освободиться. Жизнь в любом ее проявлении есть страдание, освобождение от жизни, абсолютная и окончательная смерть есть благо, и если умирать, так умирать, превращаясь в ничто, сливаясь с великой пустотой — атманом, а это — удел святых, просветленных, будд. Взгляд индийцев на скорбность и тяжесть жизни особенно резко выражен в Пуранах. Уже существование плода в утробе матери рисуется как невысшимое мучение: "Несчастное создание неподвижно. Тело его согнуто: он ничего не может сделать против червей, обсасывающих его. Он покрыт грязью, нечистотой. Он страдает от горьких и кислых веществ..." (Падма-Пурана). Народный взгляд на смерть выражен в индийской пословице: "Лучше сидеть, чем ходить, лучше спать, чем бодрствовать, а смерть — лучше всего".

Соответственно этому мироощущению жизнь всегда была дешева в Индии, и презрение к земному, стремление к добровольному уходу из жизни, к повальному самоубийству сдерживалось только лишь за счет представлений о невозможности порвать цепь рождений без предварительного достижения соответствующего уровня святости. Остающиеся при этом обездоливаются уходом святых, тех, кто смог остановить колесо са-

мсары (перевоплощений). Отсюда идея бодхисатвы или пребывания святых, даже по обретении ими способности уйти в вечное блаженство, в великое Ничто, в Нирвану, среди живших для того, чтобы помочь им сбросить с себя тяжкий груз бытия.

Можно констатировать, что в трактовке ухода, в описании абсолюта китайское и индийское мироощущения обнаруживают много сходных черт, на что обращает внимание Григорьева в уже цитированной работе. Что различает их, так это абсолютно различное отношение к посюстороннему: оптимистическое в случае Китая и пессимистическое в Индии. "Уходящий выигрывает, остающийся проигрывает", — запечатлено в культуре Индии и может быть выражено формулой $\frac{+}{-}$.

Рассмотрим далее две оставшиеся типологические возможности. Формула $\frac{-}{-}$, по всей очевидности, более всего пригодна для описания иудео-христианской культуры. Строго говоря, в ее чистом виде она скорее относится к чисто еврейской культуре с ее "глобальным пессимизмом" — неверием в потустороннее и чрезвычайно обостренно отрицательным отношением к настоящему, данному. "Глобальный пессимизм" еврейской культуры делает весьма проблематичным и существование еврейского социума, чему свидетельством вся напряженно мятежная история еврейского народа. В христианской культуре этот глобальный пессимизм смягчается идеей воскресения. Христианин получает надежду на спасение, но надежда эта не столь безусловна и беспроблемна, как в рассмотренных выше вариантах индийского и китайского мироощущения. По сути дела, европеец, умирая, уходит в неизвестное. Он не знает наверняка, что ждет его по ту сторону гроба, как будет оценена его жизнь на весах высшего суда, да и сам высший суд есть дело неопределенного будущего. И если жизнь есть приготовление к смерти и существование после смерти, то и сам тот свет есть лишь предуготовление к царству небесному, которое наступит после второго пришествия. Все существование человека европейской культуры есть поэтому напряженное ожидание, полное острого ощущения временной перспективы и зависимости будущего от настоящего. При всем том, что жизнь ощущается как "юдоль страданий" и "царство греха", а смерть как проблема, а не избавление, человеку европейской культуры представляется, что устройство настоящего может быть залогом и основой будущего. Уход человека из этой жизни воспринимается поэтому как

горестное событие, как потеря. Устроение этого мира во имя будущего — сугубо европейская установка, в которой связан весь “прогрессизм” европейской культуры, сочетающий в себе бросающийся в глаза индивидуализм с менее заметной поверхностному наблюдателю, но составляющей едва ли не более важный элемент европейской культуры человеческой солидарностью “остающихся”, полных решимости “добиться освобождения своею собственной рукой” (у заимствовавших этот лозунг он наполнился иными смысловыми оттенками).

ГЛАВА 2.

РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ТИП. ПРАВОСЛАВИЕ. ИСЛАМ

Совершив это маленькое обозрение трех мировых культур и заполнив тем самым три субквадрата нашего типологического поля, вернемся к себе домой и сразу на поминки, переходящие в веселье и пьянку. Что говорят они покойнику? Что жаль его — много потерял несвоевременно ушедший, да, что греха таить, остающиеся в конце концов от этого только выигрывают. Вот — сослуживцы, подумывающие о вакансии, вот — соседи по коммуналке, на время почтительно забывшие о мелочных склоках (“нам-то хорошо, а ему каково!”), вот какие-то отдаленные знакомые, едва знавшие покойного, но довольные поводу выпить... В сочувственном отщеплении, как бы вне остающихся — те, “ближние”, для которых смерть этого человека — удар и ущерб*.

* Да для всех ли ближних? Вот как описывает Бунин, исключительно чуткий в вопросах смерти писатель, крестьянские похороны:

“Егор, глядя в гроб, крестился размашисто и часто. Он играл ту роль, что полагалась ему у гроба матери. Он моргал, будто готовый заплакать, кланялся низко, наклоняя капающую свечку, крепко зажатую в его культишке. Но далеко были его мысли, и, как всегда, в два ряда шли они. Смутно думал он о том, что вот жизнь переломилась — началась какая-то иная, теперь уже совсем свободная. Думал и о том, как будет он обедать на могиле — не спеша и с толком.

Так и сделал он, засыпав мать землю: ел и пил до отвалу. А под вечер тут же, у могилы, плясал, всем на потеху, — нелепо вывертывал лапти, бросал картуз наземь и хихикал: напился так жестоко, что чуть не скончался... Пил он и на другой день, и на третий... Потом снова наступили в жизни его будни” (“Веселый двор”).

Пожалуй, ничто не дало бы такого богатого и доказательного материала об отношении русских к смерти, как эмпирическое исследование судьбы кладбища в России в сопоставлении с судьбой мест захоро-

Откуда у "христианнейшего" из народов такое удивительное ощущение преимущества всякой жизни перед всякой смертью? Разве не внушало православие те же представления о рае и аде, о воскресении Христа и Страшном суде, которые внушались его религиями западному человеку. Внушало-то внушало, да внушило ли? Мы берем на себя смелость утверждать, что русской культуре присуща высшая степень отсутствия чувства вечного, даже в самой примитивной его форме культа предков. Для анимистического по сути своей большинства русской нации христианская вера оставалась на протяжении веков внешним покровом над плотью языческих верований в домовых и водяных, который было красиво носить, но легко и сбросить. Опыт революции почти без остатка развеял иллюзию русских интеллигентов-идеалистов относительно христианскости русского народа-бгоносца. Идея Христа не могла найти прочного места в лишенном четвертого, временного измерения сознания язычника, и картина распятия без труда заменилась другими картинками в обрядах и шествиях новой эпохи.

Итак, мы делаем, на первый взгляд, смелое допущение, что правый верхний субквадрат нашего типологического поля довольно точно совпадает с реальностью русской культуры, русского мироощущения, достаточно метко охватываемого формулой "Живи, пока живется", что в принятом в нашей работе формальном изображении имеет вид $\frac{+}{+}$. Утверждение это сразу переносит нас в область давних споров о религиозности или безрелигиозности русского народа и о свойствах русского православия, споров, начатых, пожалуй, еще полемикой Гоголя и Белинского, продолжавшихся вплоть до Великой Октябрьской революции, явившейся, казалось бы, вполне определенным эмпирическим подтверждением правоты тех,

нения в других культурных регионах. Можно предполагать, что нигде не найдется столько забытых, разрушенных и перепаханных кладбищ, сколько в России. Едва ли встретится и отношение к кладбищу как к месту, где гуляют и веселятся. Для России же это вполне характерно. Заслушаем по этому поводу П.В.Сытина:

"В 1750-е годы на месте убогого дома было открыто обыкновенное кладбище... Однако обычай населения собираться в "семики" для поминовения покойников не исчез, и принял лишь другую форму. Родственники похороненных на кладбище приходили в рощу на целый день, после еды и выпивки пели песни, играли на народных музыкальных инструментах, плясали, водили хороводы. В начале XIX века здесь было в "семики" уже обычное народное гулянье". (П.В.Сытин. Из истории московских улиц. М., 1958, с. 748).

кто не особенно уповал на религиозные приверженности русских, и с новой силой вспыхнувших на страницах "Вестника русского студенческого христианско-демократического движения" в 70-е гг. Естественно, что в рамках данной работы мы не можем не только исчерпать, но и сколько-нибудь полно поставить все вопросы, связанные с проблемой русской религиозности, однако нам кажется, что наш подход содержит известный ключ к решению многих из содержащихся здесь загадок. Предлагаемое нами построение, бесспорно, ведет нас в один лагерь с Белинским и Чаадаевым, подчеркивавшими отсутствие у русского народа религиозного чувства. Не разделяя некоторых выводов, делавшихся "неистовым Виссарионом" из отмечаемых им национальных черт (его исторический оптимизм был опровергнут еще более неистовым "Виссарионовичем"), мы вместе с тем не можем не согласиться с его словами, обращенными к Гоголю:

"По-вашему, русский народ — самый религиозный в мире. Ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится — молиться, не годится — горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что по натуре своей это глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности". И далее: "Мистическая экзальтация вовсе не в его натуре: у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме; и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем".

Ясно, что сколько бы ни ломались копыя в красноречивой полемике, положительный ответ на мучительные вопросы такого типа может быть получен лишь в результате детальнейшего рассмотрения судьбы христианской идеи на русской почве. И исходной позицией для такого рассмотрения должно быть стремление заглянуть "далее вывески", не дать себя смутить внешними атрибутами и названиями. Разумеется, многим покажется неверной или даже кощунственной мысль о том, что атеистически мыслящий европеец более находится в рамках религиозного христианского мироощущения, нежели православный русский, остающийся язычником (как писал Мережковский: "Язычество, притворившееся христианством, как у Толстого, или христианство, притворившееся язычеством, как у

Ницше") *. Наша методология, однако, призывает нас не обольщаться буквой религиозных доктрин, а пытаться разглядеть воздействие более изначальных, более "базисных" ориентаций культуры на родившиеся на иной почве и в ином культурном климате идеи и представления. Христианская идея воскресения и искупления, возникшая как луч спасения во мраке глобального иудейского пессимизма и возросшая на почве в целом пессимистического по отношению к земному настрою европейского психического типа, оказалась перевернутой наизнанку, когда она соединилась с оптимистически-здешним, земным, "веселым", языческим сознаниям славян (а ранее греко-византийцев). И плодом этого соединения явилось православие, в котором Христос столь же мало напоминает Христа иудео-европейского, сколь мало похож жизнерадостный, толстый, со складками на животе Будда китайских изображений на свой индийский прототип. (Не такие ли же трансформации на наших глазах претерпевает марксизм, попадая в Россию, в Китай и т.д. Пройдет еще несколько десятков лет, и в марксизме китайского образца будет больше сходства с конфуцианством, даосизмом и т.п., чем с европейским оригиналом. А для того, чтобы понять, насколько советские чиновники-марксисты воспроизводят стереотип мышления своих царских собратьев, достаточно почитать Салтыкова-Щедрина или самого барона Дубельта, шефа жандармов) **.

* Д.С. Мережковский. Полное собрание сочинений. т. IX, с. 168. Вообще в работе Мережковского "Л. Толстой и Достоевский" читатель найдет великолепный глубинный анализ религиозного сознания этих гигантов русского духа.

** "...Меня не будет, но из лучшей жизни я буду видеть, такие ли вы русские, какими быть должны. — Не заражайтесь бессмыслием Запада — это гадкая помойная яма, от которой, кроме смрада, ничего не услышите. Не верьте западным мудрствованиям, они ни вас и никого к добру не приведут... Не лучше ли красивая молодость России дряхлой, гнилой старости Европы? Она пятьдесят лет ищет совершенства и нашла ли его? Тогда как мы спокойны и счастливы под управлением наших добрых государей, которые могут иногда ошибаться и ошибаются" и т.д. и т.п. Короче говоря, слегка обновите стиль и терминологию, поставьте подпись Модрижская и смело несите в "Правду". Дубельт цитирован по журналу "Голос минувшего", 1913, март. "Апология Л.В. Дубельта в защиту отечественных устоев".

Чрезвычайно интересно в этом смысле сопоставить место и роль идеи православия в системе взглядов русского общества XIX века и идеи марксизма в том виде, в каком она укоренилась в современном русском обществе. Мы увидели бы, что, как это ни парадоксально, "пра-

Мироощущение людей культуры языческого типа безрелигиозно в смысле отсутствия перспективы вечности и воскресения, но, разумеется, не в самом смысле отрицания существования бога или богов. Поскольку жизнь на этой земле воспринимается как величайшее из благ, потусторонняя либо вообще отрицается, либо принимает вид некоей не зависящей от людей произвольной силы, распорядителя судеб и подателя благ в эту жизнь, либо, как в исламе, рисуется в виде более или менее точной проекции земных благ на небо (это наиболее оптимистический вариант культуры данного типа в смысле отношения к потустороннему). Соответственно Христос переосмысливается в плане полного слияния его с этим верховным распорядителем, утрачивая свои богочеловеческие черты, и между небом и человеком воздвигается непреодолимая стена.

Собственно, непрерывная генерация ересей в Византии

вославие" и "марксизм" в смысле их функциональной роли в этой системе окажутся почти синонимами. Главное сходство здесь — это утверждение правоты учения, настояние на том, что русский (советский) народ как таковой является носителем единственно правильной доктрины. При этом нравственно-религиозное ли, научное ли содержание доктрины забывается, и она становится, как говорил Соловьев о славянофильской идее, "номинальным основанием исключительных привилегий в пользу одного народа и в ущерб всем прочим. Из утверждения, что народ есть истинно христианский, не выводят того необходимого, казалось бы, следствия, что он во всех делах и отношениях своих, внешних и внутренних, должен действовать по-христиански и никого не обижать, а выводят, наоборот, что ему все позволено для поддержания и защиты своих собственных интересов". Правда, Соловьев отрицал за славянофилами право говорить от лица национального народного самосознания, полагая, что народ думает и чувствует иначе. Однако горькая истина состоит в том, что к самосознанию русских как нельзя лучше относится следующая характеристика самого Соловьева и как раз, если ее освободить от ее сослагательных наклонений.

"Если бы мы поверили славянофилам и их слово о русском народе приняли бы за слово его самосознания, то нам пришлось бы представить себе этот народ в виде какого-то фарисея, праведного в своих собственных глазах, превозносящего во имя смирения свои добродетели, презиращего и осуждающего своих ближних во имя братской любви и готового стереть их с лица земли для полного торжества своей кроткой и миролюбивой натуры. Если бы далее в катковском культе народной силы действительно выражалась сущность русского национального духа, тогда наше отечество явилось бы нам в образе глупого атлета, который вместо всяких разговоров только показывает нам свои мускулы и плечи". Это самосознание в наши дни наиболее ярко проявилось всенародно поддержанными танками в Праге, и сейчас едва ли кто-нибудь станет обольщаться на тот предмет, что идея вселенской правоты есть удел лишь газетных писак, а народ с большой буквы полагает иначе. На каждом шагу и от людей всех слоев и положений мы слышим

имела под собой одну и ту же основу. Христос-спаситель, сын и посланец Бога, оказывался лишним в мире, где любая эта жизнь лучше для человека, чем любая та, ему недоступная. В. Соловьев отмечает, что все византийские ереси представляли лишь многообразные вариации одной единственной темы: "Иисус Христос не есть истинный Сын Божий, единосущный отцу: бог не воплотился; природа и человечество пребывают отдельно от божества, не объединены с ним, а следовательно, человеческое государство с полным правом может сохранить свою безусловную независимость и безусловное верховенство". Посюсторонний оптимизм, данный язычнику в ощущении, толкает его к отрицанию таких вещей, как искупление, единение с богом, освящение мира материального и чувственного. В языческом мире человек — конечная форма, без всякой свободы, а бог — бесконечная свобода, без всякой формы. Бог и человек

составление "у нас" — "у них", делаемое с единственной лишь целью — показать себе и другим, что "у нас" лучше всего, что "мы" всех кормим и освобождаем, что мы — жертвы чужих хитростей и козней и т.д. И каждый русский, и в первую очередь тот, кто с удовольствием бежит с партийных собраний и из кружков политграмоты, как некогда его не столь отдаленный предок манкировал церковными службами и презирал попов, втайне уверен, что самое передовое учение, о котором он весьма поверхностно наслышан, — это его учение, и власти, им руководствующие и его блюдушие, позаботятся о величии "всегда правой" России. Как "для славянофильства православие есть атрибут русской народности; оно есть истинная религия, в конце концов, лишь потому, что его исповедует русский народ" (Соловьев), так для современного русского патриота марксизм есть сугубо русский марксизм, а все остальные марксизмы — китайские, французские, самого К. Маркса — несут в себе нечто ущербное.

Поразительно и психологическое сходство между теми критически мыслящими и честными душой славянофилами, которые, видя нравственное и экономическое отставание русского общества, сохраняли в то же время свою "мечтательную веру в Россию как в единственную христианскую нацию, как в избранный народ Божий", и современными марксистами-идеалистами, глубоко убежденными в том, что кризис советского общества происходит из "искажений ленинизма". Разве не похож Твардовский на К. Аксакова, самого восторженного и прямолинейного из славянофилов, объявлявшего, что русский народ, как он есть, не только лучше всех других народов, но даже есть единственно хороший, единственно христианский народ, но имевшего в то же время мужество заявить, что Россия может погибнуть, если не вернется на истинный путь, а останется чуждой духу русского народа восточной деспотией.

Оба этих великих гражданина своей страны, сами того не понимая, одной рукой укрепляли ствол национальной гордыни и спеси, а другой рукой пытались обрубить корявые ветви, на этом стволе с неизбежностью произрастающие.

закреплены в двух противоположных полосах бытия без всякой связи между собой*. В итоге в Византии закрепилась в середине IX века ситуация, при которой "императоры приняли раз навсегда православие как отвлеченный догмат, а православные иерархи благословили во веки веков язычество общественной жизни". "Мнимое православие Византии на самом деле было лишь вогнанной внутрь ересью".

Интересным следствием такого рода разведения земного и божественного является преувеличенный аскетизм по крайней мере части языческого социума. Это как бы обратная сторона представления о том, что этот мир — лучший из миров, реакция части людей этого мира, религиозно чувствующей части, на безудержное буйство плоти и необузданность земных утех. Человек с "религиозным слухом" особенно остро начинает ненавидеть все земное, греховное, телесное, если его окружают люди, для которых это земное и телесное есть единственно значимое. В этих условиях на месте христианства с его смягченным отношением к греховности человека (человек — падший ангел, но все же ангел) возникает монофизитство с его "окаменелым нечувствием" к божественности человека. Монофизитский аскетизм видит в человеке только "дурное, нечистое, животное, которое надо истребить или измучить, чтобы оно превратилось в ангела". "Он считает мир западней для человека, от которой надо спастись всеми силами"* . Именно это отталкивает от мира сего, отрицание его соблазнов лежит в основе языческой святости — от столпников и скопцов до Л.Н.Толстого включительно. Этот бунт против земных "оптимистических" страстей своих соплеменников чем-то сродни противоположно направленному бунту европейских безбожников (Ренессанс, Ницше) против исходного пессимизма и органического аскетизма их культурной среды**. Важно заметить, однако, что сколь ни выглядела бы внешне христианской такая "языческая святость", на деле она "ведет к порабощению этим миром и к служению всем его господам, к покорному согласию предоставить мир во владение князю мира сего"***.

* В. Соловьев. Россия и вселенская церковь. М., 1911.

** См. А. Руднев. Условие диалога. ВРСХД № 106, IV, 1972.

*** Ср. сопоставительный анализ взглядов Ницше и Толстого в цит. произведении Мережковского.

**** А. Руднев, цит. соч.

Языческое же окружение относится к своим святым и монахам со смешанным чувством почтения (как к заступникам перед богом — подателем благ) и сожаления — монастырь и тюрьма легко совмещают здесь свои функции, поскольку и монахи, и заключенный в глазах язычника — часто просто "проигравшие ушедшие или выбывшие из игры".

Одним из наиболее чистых вариантов культуры оптимистически земного типа можно считать исламскую культуру. "Ислам — это последовательное и искреннее византийство, освобожденное от всех внутренних противоречий. Он представляет собой открытую и полную реакцию восточного духа против христианства, систему, в которой догма тесно связана с законами жизни, в которой индивидуальное верование находится в совершенном согласии с политическим и общественным строем"* . В исламе получило наиболее четкое воплощение ощущение пропасти между земным и божественным, отношение к земному как к единственному данному для человека, а к богу как к силе, управляющей этим данным и требующей от человека слепого повиновения. Мир представляется человеку ислама незыблемой твердыней, по отношению к которой нельзя ставить вопрос о каком-либо прогрессе, моральном совершенствовании и т.п. "Идеал упрощен в мере, обеспечивающей ему немедленную реализацию. Мусульманское общество не могло иметь иной цели, кроме расширения своих материальных сил и наслаждения земными благами. Распространять ислам силою оружия и править правоверными с неограниченной властью и согласно правилам элементарной справедливости, установленными в Коране, — вот к чему сводилась вся задача мусульманского Государства"***.

Русь получила свое православие в наследство от Византии в уже сложившемся мертво-догматическом виде***. Пропо-

* В. Соловьев, цит. соч., стр. 49.

** В. Соловьев, там же.

*** Прямая преемственность и "внутреннее сродство между византийской сущностью и славянским духом" были подробно проанализированы немецким историком Рюкертотом в соч. H. Rückert, Lehrbuch der Weltgeschichte in organischer Darstellung, II Band (Leipzig, 1857). Он же писал, что для натурализации западноевропейской культуры в России "никогда и ни при каких условиях не было никакой возможности", что привлечение достижений западной культуры (Петром I) "как средства для определенных целей, как орудия государственной власти" и тот способ, каким это делалось, "служат свидетельством, что западная культура никогда не найдет здесь истинной родины".

ведники христианства, первые монахи и церковники были, естественно, представителями "языческой святости", описанной выше. Приход их в веселую землю киевских пиров и народных "глумотворцев"-скоморохов, кулачных боев и повального пьянства не мог обойтись без суровых конфликтов, однако с самого начала здесь в зародыше содержалась вся дальнейшая перспектива вырождения русской церкви в полугосударственный институт в услужении у князя мира сего. Перерождение христианства в климате славянской "посюсторонности" уже было подготовлено его византийской историей. Здесь же и начало будущего раскола нации на сторонников оптимистически патриотической идеи России, как Третьего Рима или второго Израиля (или освободителя трудящихся всего мира), и носителей "православного аскетизма", отказывающихся видеть в существующем разгуле лучший порядок вещей. Казенный оптимизм, представление о том, что "синтез единства и свободы в любви" уже дан и достигнут в существующей русской церкви, а не есть идеал, к которому надо идти через бесчисленные препятствия и трудности, стали едва ли не главной отличительной чертой русского православия. Православная церковь стала в России государственным учреждением, "царством от мира сего" и тем самым "отреклась от самой себя, от собственной причины бытия, осудила себя на жертвенность и бесплодие"*.

Иначе едва ли и могло случиться в культуре, лишенной чувства потустороннего и всеми своими инстинктами утверждающей здешнее, земное.

"Как же так? — воскликнет читатель, — разве не утверждали лучшие проникновеннейшие умы России, Достоевский, например, что русский народ — народ-богоносец?" Признаемся, что и мы краем уха слышали о таковых утверждениях и смущались в тайне души своей. Однако более внимательное прочтение Достоевского уничтожило наши сомнения. Более того, укрепило нас в уверенности в том, что русский народ — богоносец, но не христонсец, что главная идея русского православия есть вера в своего национального бога, освящающего русскую национальную особенность и обособленность. Это — вера в Бога — знаменосца побед и в Церковь — организатора и вдохновителя этих побед. "Русский народ весь в православии, — записал Достоевский в своем предсмертном дневнике. — Православие есть

* И.С. Аксаков. Полное собрание сочинений, т. IV.

церковь, а церковь — увенчание здания, и уже навеки". Эта в высшей степени туманная формула гораздо яснее выглядит в устах героя "Бесов" Шатова — главного выразителя идеи Достоевского о народе-богоносце. "Всякий народ, — говорит он, — до тех пор только и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает без всякого примирения, пока верует, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов". Трудно не согласиться с тем, что в смысле этого оптимистического, жизнеутверждающего осознания своего превосходства русский народ всегда был народом-богоносцем. Но нельзя не согласиться и с Мережковским, который не усматривает в этой идее ничего христианского и даже подозревает скрытое безбожие, ибо не бог здесь творит человека, а человек бога (как у Ницше: "В боге чтит народ свои собственные добродетели. Благодарит себя за себя — вот для чего народу нужен Бог"). В итоге, как совершенно правильно подчеркивает Мережковский, не православие становится главной чертой русских, а сама по себе русскость и есть необходимое и достаточное условие православия. Русский — значит православен, то есть прав. Из тумана формулы Достоевского явно выступают очертания незыблемого утеса русской национальной спеси, и если заменить термины на более современные, то, подставив их в формулу, мы получим:

"Советский народ — носитель самого передового в мире учения, это передовое учение обеспечивается партией, а партия — авангард, ведущий к сияющим вершинам".

Итак, кардинальным различием между европейским и русским мироощущением мы считаем пессимистическое в одном случае и оптимистическое в другом отношении к посястственному существованию. Это базисное различие, гораздо более глубокое и неискоренимое, чем любые догматы и оттенки вероучения, решающим образом отражается на судьбе оригинальных и заимствованных символов веры, институтов идей и идеалов, преобразуя их в нечто, отвечающее истинному духу культуры-должника. Воздействие это можно проследить буквально в любых проявлениях национального духа, но это — задача, выходящая за рамки настоящего сочинения. Поэтому ограничимся примером из области церковной архитектуры, красочным образом иллюстрирующим наши положения относительно основного различия европейской и русской культур.

“Входя под мощные своды западных соборов, христианин сознает, что он принадлежит к грешному, падшему миру, но в то же время он слышит призыв к неустанной борьбе за свое освобождение, и ему дается видение рая в прорези окон с их чудесными, манящими ввысь цветными стеклами.

Русская церковная архитектура с ее яркими красками, с ее золотыми и зелеными куполами, увенчанными победоносными крестами, вдохновлена противоположной богословской идеей.

Православный христианин не стремится покорить природу, заставить ее преодолеть свои границы, наоборот, он с любовью призывает Святой Дух сойти на материнскую плоть земли, освятить и преобразить ее. Там, где совершается евхаристия, там, где верующие собираются вместе, как единая семья, с детьми и младенцами, там земля загорается красками небесного царствия, все внутри храма наполнено светом и радостью, и небо сходит на землю”*.

ГЛАВА 3

ПОРОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ

Проделанная типологизация культур позволяет, двигаясь формальным способом, получить ряд дополнительных характеристик описываемых культур, опять-таки достаточно фундаментальных, чтобы решающим образом сказываться во множестве производных явлений и отношений.

Теорема 1. Пессимистическое отношение к “здешнему” обуславливает интерес к “нездешнему”, “потустороннему”, “неизвестному”, “чужому” и наоборот. Это утверждение опирается не только на логику здравого смысла, но и на гораздо более глубокие философские обобщения, давно уловившие теснейшую связь между стремлением к истине и пессимистическим отношением к жизни. Сократ был “первым из декадентов”, поскольку он первый почувствовал не просто трагизм существования, но отчаяние перед лицом жизни. Он же был пер-

* Н.Зернов. Англиканство и православие. ВРСХД, 106, IV, 1972, с.58.

вый, кто изобрел понятие истины**». Платон указывал Сократу в начале Федона, что тот, кто стремится к истине, втайне желает смерти, что истина губительна для жизни. Но, пожалуй, наиболее убедительно вскрыл эту связь поиска истины и отрицания жизни Ницше, который писал о науке как о подчинении жизни истине, как о "чудовищном деянии", о "фанатизме потустороннего". Стремление к истине он справедливо считал отказом от жажды временного в пользу вечного, от существующего в пользу несуществующего, подрывом "свободной радости жизни". Наука, по его мнению, воздвигла на руинах разрушенной ею религии все тот же самый культ вечного, то есть все ту же самую ненависть к жизни.

Характерна враждебность "абстракциям" русских писателей консервативного толка — Григорьева, Леонтьева, Самарина, И. Аксакова, Каткова. Все они превозносят жизнь, противопоставляя ее мертвым, по их понятиям, научным схемам. Герой одного из романов Григорьева нарочито назван "Виталием" — живым, живущим. Леонтьев подчеркивал главенство произвольного, характерного, яркого в противоположность абстрактным теориям.

Языческо-исламское мироощущение, купающееся в земном и видящее в потустороннем лишь абстрактную силу, обращенную на землю, "естественно преклоняется и на земле только перед проявлением внешней силы, перед грубым фактом, не спрашивая у него никакого внутреннего идеального оправдания. Отсюда то равнодушие к истине, то уважение ко всякой искусной и успешной лжи, которым всегда отличалась восточная половина человечества, за исключением евреев" (Соловьев). На этом мироощущении основываются религиозные системы исламского типа, и Соловьев неоднократно показывал, что русское псевдохристианство сродни исламу, только место бога в нем часто занимает государство или царь.

Итак, согласно данной теореме, культуры подразделяются на открытые неизвестному, чужому и осознающие ценность истины (индийская и европейская) и закрытые неизвестному, чужому и не осознающие ценность истины (русская, китайская).

***"Идея истины была ничем иным, как примиряющей иллюзией, с помощью которой Сократ стремился преодолеть нашу растерянность перед трагедией конечности бытия" (N. Grimaldi, *Aliénation et liberté*, P.: 1972, p. 83).

Теорема 2. Пессимистическое отношение к смерти обуславливает "посюстороннюю" активность. Эта теорема едва ли нуждается в подробном обосновании ввиду своей очевидности. Вряд ли можно ожидать большой заботы о мироустроении от людей, ожидающих безусловного перехода в иной, лучший мир и рассматривающих свое земное существование как более или менее случайный эпизод перед лицом вечности. Отсюда активность европейской и русской культур и пассивность культур индийской и китайской.

Перекрестное сочетание полученных черт уточняет способ ориентации культуры к чужому и неизвестному. Так, в случае европейской культуры активный интерес обнаруживается как "познавательльно-научная" ориентация, пассивный интерес индийцев может быть охарактеризован как "созерцательная" ориентация; активное отсутствие интереса у русских приобретает вид "враждебности", активной "ксенофобии"*; китайской же культуре присущи пассивное отсутствие интереса или "высокомерие".

* Писателям подчас лучше, чем ученым, удается уловить общность культурных ориентаций, проявляющуюся и на бытовом уровне, и в политике, и в социальных институтах, "изучить политику на бабах", по меткому выражению Г.Владимова. Поэтому проиллюстрирует особенности русской ксенофобии выдержка из "Верного Руслана":

(Бывший зэк Потертый): "Тот человек неумный, кто хочет, чтобы все жили, как он живет. И тот народ неумный. И счастья ему не видеть никогда, хоть он с утра до вечера песни пой, как ему счастливо живется".

(Простая русская женщина Стюра): "Счастья злым не бывает. А нам-то за что? Мы кто, по-твоему, злые?"

— И этого хватает, Стюра. Мы недаром народ "суровый" считаемся. Но то еще полбеды. Есть и другие суровые, а хорошо живут. А ты вот себя возьми: и добрая вроде, но представь, какая-нибудь финтифля юбку задерет повыше твоего понимания или же грудь выкатит на огневую позицию, — ведь ты же мимо не пройдешь. Твоя б сила — ты б ее со свету сжила.

— Господи, да пускай хоть голая ходит! А только я на это смотреть не обязана.

— А вот ей так нравится!

— Мало, что ей нравится. Еще другим должно нравится. Люди ж не дураки, думали все-таки — как прилично.

— Вот! Хоть всю политику на вас изучай, на бабах.

...Вот помню, два года у меня с немецким товарищем общая вагонка была. Много он стран повидал и мне рассказывал. Он, конечно, коммунист-раскоммунист, но нацию-то не переделаешь, и вот что заметил я. Обращает он внимание, что люди где-то не так живут, а по-особенному, что вот такие-то у них обычаи, так-то вот они дом украшают, так-то вот песни поют, свадьбы играют. А поди-ка наш заведет — где побывал, да что видел, то главное у него выходит, что вот там-то комсомол

Рассматривая дальше наше типологическое поле, мы можем отметить наличие диаметрально или "диагонально" противоположных культур. Такое положение занимает китайская культура по отношению к европейской и индийская культура по отношению к русской. В качестве не поддающегося объяснению курьеза обращает на себя внимание совпадение положения культур в аналитическом квадрате с их реальным географическим местоположением. Более серьезного внимания требует, однако, другая чисто формальная, на первый взгляд, особенность, делающая сходными диаметрально расположенные культуры, а именно — однозначность или разнозначность описывающих их формул. Мы условно называем этот параметр разностью потенциалов, получая таким образом две культуры, в которых разность потенциалов наличествует (русская — $\frac{+}{+}$ и индийская $\frac{+}{+}$), и две, где она отсутствует (европейская — $\frac{-}{-}$ и китайская $\frac{+}{+}$). Попытка придать этой формальной характеристике содержательный смысл привела нас к убеждению, что этот наш пример сложным образом связан с тем, что Т. Парсонс называет "достижительной ориентацией" второй пары и "аскриптивной ориентацией" первой*.

Третья теорема. Культуры, в которых наличествует разность потенциалов, характеризуются аскриптивной ориентаци-

→ организовали, а там-то вот революция без пяти минут на носу, а вот в другом месте — дела не важнец: марксистская учеба в самом зачатке, только лишь профсоюзная борьба ведется. И не то ему по душе, что революция и комсомол, а то дело, что все кругом по-нашему, ну как в родном Саратове".

* Для читателей, не знакомых с терминологией Парсонса, поясним, что, вводя свою знаменитую пару ориентаций, американский ученый стремился самым общим образом охарактеризовать специфику фиксируемого в разных культурах по-разному отношения человека к миру объектов. Объект может интересовать человека в первую очередь как нечто, производящее некие действия, дающие какой-то результат. В этом случае мы говорим о достижительной ориентации. Но объект может интересовать человека и прежде с точки зрения того, как он называется, то есть, к какой категории объектов он принадлежит, и уж в соответствии с этим человек ожидает от него определенных действий. Такая ориентация называется аскриптивной. Утверждение типа "дурак (то есть человек, действующий неумно) не может быть кандидатом наук" принадлежит первому виду ориентации. Утверждение же "кандидат наук (то есть человек, принадлежащий к такой-то категории) не может быть дураком" характерно для второго вида ориентации. Собственно, в культурах, где доминирует второй вид, большое распространение получают застылые социальные образования типа каст; в противоположных культурах акцент делается на выявление достижений (система экзаменов, свободная конкуренция).

ей; в тех культурах, где разность потенциалов отсутствует, господствует достижительная ориентация. Эта теорема представляет пока наибольшую трудность в плане рационального ее обоснования. Попытаемся подкрепить ее, однако, эвристической метафорой, а затем некоторыми эмпирическими иллюстрациями. Метафорически можно представить себе культуру, где отсутствует "разность потенциалов", незаряженным полем, в котором соответственно нет однонаправленного движения частиц, то есть тока. Напротив, культура, характеризуемая разностью потенциалов, выглядит как заряженное поле, в котором частицы движутся в определенном направлении. Если наделять частицы свойством ориентироваться друг на друга, то в первом случае каждая из частиц, не зная заранее вектора движения соседних частиц, будет оценивать их прежде всего с точки зрения того, куда они движутся, то есть действия или достижения. Во втором случае, коль скоро направление движения задано, решающее значение для ориентации приобретает место частицы в строю, то есть относительное местоположение частиц в иерархии, кастовом порядке или иной классификационной системе.

Представление о разности потенциалов также наводит на мысль о возможности применения измерительных процедур, то есть рассмотрения наших формул не как только лишь качественных оценок, но и как действительно формул, в которых плюс и минус могут иметь различное количественное значение. А соответственно этим значениям будут меняться и производные характеристики, о которых речь шла выше.

Рассмотрим, например, культуру иудео-европейского типа. Значение минуса в "числителе" дроби колеблется здесь в диапазоне от максимального в случае иудаизма до минимального в католическом варианте христианства (при этом минус остается минусом, то есть даже католическое мироощущение характеризуется как пессимистическое). Если полагать "знаменатель" постоянным (отрицательным), то увеличение значения числителя должно вести в этом случае к снижению разности потенциалов и увеличению активности. Эмпирически это подтверждается сравнением протестантизма и католицизма. Более пессимистическая протестантская культура показала себя и более активной, достижительной и менее кастовой, чем католичество. Материализм в условиях европейской культуры означает дальнейшую проблематизацию вплоть до полного отрицания спасения

по ту сторону жизни, что ведет к гиперактивности и гипердостижительности еврейского образца (со всеми асоциальными следствиями этой ситуации) или отчасти компенсируется повышением оптимизма в нижней части дроби (сциентистский оптимизм, прогрессизм).

В русской культуре снижение разности потенциалов происходит либо за счет увеличения религиозности, в смысле веры в загробную жизнь, либо за счет пессимизации оценки настоящего. В первом случае одновременно с увеличением достижительности снижается активность (движение в сторону исламского мироощущения и далее к китайскому, хотя принципиально русская и китайская культуры не "конвергентны", ибо как бы ни изменялось значение минуса в числителе русской дроби, он не переходит в плюс, как в Китае). Во втором случае рост достижительности сопровождается большей открытостью чужому и незнакомому. Русское старообрядчество и сектанство может быть рассмотрено в свете этих двух возможностей. Во всяком случае наш анализ не противоречит русской исторической реальности, где представители раскола и многих из милленаристских сект всегда представляли собой наиболее трезвую, работающую, промысловую и грамотную часть крестьянства, были "представителями ума и гражданственности в русской престонародной среде"* Напротив, материализм до предела обостряет, максимизирует черты, соответствующие экстремальным значениям обоих компонентов формулы — активность, ксенофобию и аскриптивность**.

ГЛАВА 4.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЧЕРТ РУССКОГО ТИПА

Отмеченные выше особенности русской культуры дают формальное основание для систематического ее описания, хотя, разумеется, сугубо идеал-типическая схема, которой мы поль-

* В. Андреев. Раскол и его значение в народной русской истории, СПб, 1870.

** Аскриптивность приобретает здесь своеобразную форму, замаскированную внешней мобильностью. Под прикрытием же этой мобильности господствуют ориентации на принадлежность (партийность, звания, дипломы, анкеты играют гораздо более важную роль, чем реальные достижения и действия, при определении положения людей в обществе).

зуюсь, никогда не может претендовать на всесторонний охват эмпирической реальности во всем ее богатстве и противоречивости. Она дает лишь "угол зрения", способ построения некоторой "геометрии отношений", позволяющей если не объяснить всю историю русской нации и предсказать все будущее русской культуры, то во всяком случае понять кое-что из исторической судьбы России и особенностей ее общественного устройства. Для более детального вхождения в предмет необходимы, естественно, и более детализированные разработки выведенных формул, и изучение механизмов влияния одних культур на другие вплоть до измерения формулы культуры (наиболее интересны с этой точки зрения, по-видимому, Япония и переход античной Европы от язычества к христианству) *, и попытки нащупать источники исходного оптимизма или пессимизма культур в особенностях раннего воспитания и отношений в семье. Все это направления движения, подсказываемые избранной нами методологией.

Пока же мы попытаемся наметить еще несколько следствий, вытекающих из основной формулы русского мироощущения. Первая черта русского национального характера, кореня-

* Вот как образно описывает этот процесс Мережковский:

"Иудейство в конце своей жизни, именно в то время, когда в борьбе с многообразием и многоязычием "эллинского рассеяния" отточило, обострило идеи своего религиозного отъединения, уединения до последней ужасающей изуверской крайности, столкнулось с поздним эллинизмом в школе александрийских неоплатоников, в этом горниле, где образовался, как коринфская медь из множества металлов, тот сплав, который называется христианской мудростью. Здесь впервые дух Семитства, дух пустыни и опустошения дохнул на великолепно и дико разросшийся, многообразный, многолиственный, баснословный лес индо-европейского мира, и хотя отравил своим ядом лишь одну, и без того уже засыхавшую ветвь все еще свежего, зеленого Арийского дерева, но яд был так силен, что одной капли было достаточно, чтобы заразить новые, только что хлынувшие из Азии в Европу арийские племена, вследствие крайней юности своей беззащитные перед всеми культурными ядами. Старик заразил ребенка.

Северные полудикари, едва покинувшие лесные тущобы, приняли уточненнейший и опаснейший плод двух соединенных и уже истощенных многовековых культур с детской простотой, с варварской грубостью. В христианстве поражала их, пленяла, как пленяет ужас, притягивала, как притягивает бездна, именно та сторона его, которая была наиболее чуждою и противоположною их собственной природе, — сторона исключительно семитская: добродетель как умерщвление плоти, как отречение от мира, как уединение в страшной духовной пустыне, на вершине тех столбов, на которых коченели столпники; взгляд на собственное тело как на нечто неискупимо-грешное, зверское, скотское; взгляд на

щаяся в сиюминутности и посюсторонности русского мироощущения, может быть названа отзывчивостью*. Поясним примером.

Некое лицо было справедливо наказано по судебной линии. Но, указывается в свежей газете, несправедливо, что наказание не последовало также по административной, партийной и товарищеской линиям. По логике вещей, справедливое наказание, повторенное трижды, — это уже не справедливое, а чрезмерное наказание. Но есть логика вещей, а есть логика людей.

Логика русских людей — это высокая отзывчивость, несоизмеримая реакция на сиюминутное, данное, зримое. Это вещь общеизвестная. Как всякая душевная особенность, высокая отзывчивость — это не добро и не зло, а становится таковым лишь по обстоятельствам. Она проявляется и в слепой ярости, и повышенной агрессивности в ответ на малое ущемление (несдержанность, хамство)**, и в знаменитом хлебосольстве, гостеприимстве, стремлении нравиться здесь и сейчас. "Пестрая душа! То чистая собака человек, то грустит, жалкует, нежничает, сам над собой плачет..." (И.А. Бунин).

Достоевский в своем "Дневнике писателя" приводит ха-

всю животную стихийную природу, из которой сами они только что вышли и которую все еще слишком любили, как на порождение дьявола.

Этот дух воскресшего иудейства, дух пустыни, в которой скитался Израиль, все более и более усиливаясь в Средние Века, пронесся, как огненный вихрь, над всею европейскою культурою, иссушая последние цветы и плоды греко-римской древности, до самого Возрождения, где, по-видимому, он изнемог.

Но изнемог ли он окончательно даже и в наше время? Не сохраняется ли и в современном европейском человечестве старая семитическая религиозная закваска..."

Пространность цитаты оправдана, как нам кажется, ее "звучанием в резонанс" с нашими типологическими построениями. Отметим особо идеи, связанные с "пессимизацией" языческого Запада, с ренессансным бунтом против "посюстороннего аскетизма", с конечной победой "иудейского духа" в современной европейской культуре. Заметим также попутно, что "направление бунта" в России всегда было прямо противоположным; в христианской Европе — бунт против аскетизма (Ренессанс, Ницше, хиппи), в России — бунт против плоти (скопцы, староверы, толстовцы).

* Соображения об отзывчивости и следующие за ними рассуждения об эстетике лжи во многом подсказаны автору А. Головым.

** Рассказывают, что американские социологи поставили эксперимент в ряде стран, поручив специально проинструктированным туристам фиксировать реакцию прохожих на толчки, нечаянные столкновения и т.д. Русская толпа оказалась по результатам эксперимента наиболее агрессивной.

рактёрный пример засечения мужиком своей лошади, которая не тянула (пример всемирной и очень высокой отзывчивости). В конце дела мужик совершенно растерялся от успешности своего предприятия: оно *должно было* оборваться. В самом деле, высокая отзывчивость зачастую разрушительна, а обрывы приобретают тогда спасительный, охранительный, стабилизирующий смысл. Поэтому щедрая душа — нуждается в обрывах; справедливость у нас — это дитя щедрости и обрыва. (И обрывы, со своей стороны, нуждаются в щедрости, которая их покрывает).

Никто у нас, таким образом, не заинтересован на самом деле в каком-либо "прогессе" справедливости. Дело же обстоит следующим образом: справедливо обрывать (останавливать, пресекать) несправедливость, но несправедливо бороться за справедливость.

"Самое что ни на есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово — одно, а дело — другое!" (И.А.Бунин). Но если ты ко мне несправедлив (а это так, щедрая душа!), то я с тобой, обратным ходом, нечестен — в этом нет ничего ни удивительного, ни погибельного. Неравенство слова делу — это определенное и неутилитарное отношение, то есть эстетика, эстетика лжи. При эстетичном же, то есть незаинтересованном восприятии не возникает и никаких недоразумений: ложь не перерастает в обман. Обман — это всегда дело двух: недостаточно одному соврать, необходимо еще другому поверить. Поэтому эстетика лжи развивается в условиях, когда "никто никому не верит". (Заметим, что тогда уже возможен совсем иной обман: когда один говорит правду, а другой ему не верит). (Заметим также, что эстетика эта не зиждется на каком-либо особом искусстве: "лгать можно и искренно" (Достоевский). Искусства лжи нет, ложь безыскусственна; есть искусство обмана).

Учитывая эту особенность нашей национальной культуры, можно даже утверждать, что в каком-то отношении русское общество свободно и гуманно, более чем какое-либо иное общество в мире. Здесь процветает невиданная свобода от обязанностей — нигде нет таких широких возможностей отлынивать от работы, красть казенное, подменять дело словами, а слова не считать делом, как в России. Общество нетребовательно к человеку, человек не требователен к себе (свобода от совести). Все знают, что друг друга обманывают, и ни в ком это не вызывает

чувства возмущения*, ибо правда, понятая по-русски, не имеет ничего общего с абстрактной истиной. Это — правда сиюминутной пользы, прагматическая правда момента. В такой атмосфере человеку, если он не заражен инокультурными предрассудками, действительно вольно дышится, и модальный русский человек не поменяет эту свою особую свободу ни на какие свободы слова (которые для него не имеют ценности), ни на какие правовые гарантии (в которые он не верит)**.

В силу (в меру) эстетического отношения к слову сознание наше мало сказать — открытое, оно — как проходной двор. Любые идеи — гости, которых принимают и отпускают с миром или с пинком. Но постояльцы — не собственники, и наше сознание всегда по существу *свободно*, когда и не пусто. Без юмора, с пафосом Достоевский воображает всех гостей на едином пиру: "Высшая русская мысль есть всепримирение идей" ("Подросток"). Он же, однако, тонко замечает: "Мы чрезвычайно легковверная нация, и все это у нас от нашего добродушия. Сидим мы, например, все без дела, и вдруг нам покажется, что кто-то что-то сказал, что-то сделал, что у нас собственным духом запахло, что дело нашлось, вот мы так все и накинемся и непременно уверены, что сейчас начинается. Муха пролетит, а мы уж думаем, что самого слона провели. Неопытность юности, ну и голодуха к тому же... Увизжаться и провраться от восторга — это у нас самое первое дело; смотришь, года через два и расходимся врозь, повесив носы".

Из этой же сиюминутности проистекает веселая беспечность, нерасчетливость русского характера, которая так привлекательна в непосредственном живом общении и часто приводится в контраст сухости европейцев, но которая в то же время оборачивается неумением планировать, предвидеть на-

* "Начальство делает вид, что платит нам зарплату, а мы делаем вид, что работаем".

** Эту особенность русского национального характера гениально схватил Л. Толстой в образе Лаврушки, лакея в услужении у Наполеона. Анализируя этот образ, Мережковский пишет: "Лаврушка был одним из тех грубых, наглых лакеев, выдавших всякие виды, которые считают своим долгом все делать с подлостью и хитростью.

...Бессознательный русский нигилист Лаврушка чувствует даже благодаря своей внутренней свободе (от совести — Л.С.) и презрению к людям некоторое нравственное и умственное превосходство над Наполеоном: в разговоре с ним о войне и политике он вышучивает, водит за нос и, прикидываясь дурачком, дурачит того, кем все европейские умники одурочены".

перед и думать о завтрашнем дне. Едва ли в какой-либо европейской стране возможно встретить пьяниц, укравших дорожную (1000 рублей) шубу и продающих ее тут же у магазина за 10 рублей, чтобы немедленно купить бутылку водки.

Далее из рассматриваемой формулы вытекает такое качество русской натуры, как ощущение безвыходности. "Данное дано". "Податься некуда". "Живем одна". "Здесь и сейчас лучше, чем там и потом". Все это формулировки, различно схватывающие инстинктивную уверенность русских в том, что "по ту сторону" ничего нет. Эта безвыходность сродни безвыходности отношений, связывающих участников азартной игры. Присмотримся к этим отношениям. Тут либо обстоятельства игры таковы и обставляются все такими санкциями, что никто не имеет возможности покинуть стол или бесконечную последовательность столов до завершения игры, либо сама психология игрока не позволяет ему оставить игру, даже если он баснословно выиграл, тем паче если проиграл и стремится отыграться. Короче, любые азартные игровые отношения, если это сколь-нибудь длительные отношения, имеют в своей основе формулу "уходящий проигрывает, остающийся выигрывает". Эта же формула лежит и в основе безрелигиозности безвыходной реальности отношений русского общества, где никто не позволит тебе покинуть игру до ее окончания и ничто так не осуждается, как уход, эмиграция, самоубийство, развод, да и сам ты не уйдешь от страха, что будет еще хуже, а обратно "за стол" не пустят. А смерть? А смерть недобровольная — так уж это тотальный проигрыш для тебя, как говорится, уходишь, проигравшись дотла и все оставив другим.

Так на основе безвыходности мироощущения меняется отношение первого типа, превращая русских в игроков со всеми присущими этой разновидности психического склада чертами. Не случайно и не только потому, что сам был игроком, Достоевский решил взглянуть на русскую действительность со стороны карлсбадского игорного дома. Вспомним, что говорит по этому поводу герой романа "Игрок".

— А по моему мнению, рулетка только и создана для русских...

— На чем же вы основываете ваше мнение? — спросил француз.

— На том, что в катехизис добродетелей и достоинств ци-

вилизованного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее нам, русским, деньги тоже нужны, а следственно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как, например, рулетка, где можно разбогатеть вдруг, в два часа, не трудясь. Это нас очень прельщает, а так как мы и играем зря, без труда, то и проигрываемся!"

Упование на удачу, случай, стечение обстоятельств; умение рисковать и неумение работать — все это типичные черты азартной природы, неоднократно отмечавшиеся Достоевским. "Трудов мы не любим, по одному шагу шагать непривычны, а лучше прямо одним шагом перелететь до цели или же попасть в Регулы..."* Вера в фортуна, в "фарта", в везение приучает наших соотечественников к поразительной несамостоятельности, безответственности, привычному ожиданию, что кто-то — бог ли, власти ли или иной кто о тебе обеспокоится, позаботится, за тебя решит и тебе укажет. "Ах, как скучно праздно в вагоне сидеть, ну вот точь-в-точь так же скучно у нас на Руси без своего дела жить. Хоть и везут тебя, хоть и заботятся о тебе, хоть подчас даже так убаюкают, что, кажется бы, и желать больше нечего, а все-таки тоска, тоска и именно потому, что сам ничего не делаешь, потому что уж слишком о тебе заботятся, а ты сиди да жди, когда еще довезут..."* Многомиллионная громада, стеснившись у колеса исторической рулетки, выигрывая и тут же опять спуская выигранное, ждет, что вот-вот свалится на ее головы манна небесная и можно будет уж вовсе не работать, а только подставлять рты. А его величество случай, "госпожа-удача" чаще всего олицетворяется в образе всеильного начальства, которому до поры до времени передоверяется вся ответственность и вся инициатива, но с которого затем и спрашивается бунтарским спросом за ненаступление рая на земле, за поражения, голодовки, отставание от "немца". А бед-

* Ф.М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 5, с. 62. У американцев есть поговорка, обобщающая их наблюдения относительно поведения прибывающих в страну эмигрантов. Согласно этой поговорке, немец, приезжая в страну, начинает копить деньги, француз стремится что-то быстро изобрести и разбогатеть, а русский ищет кошелек на мостовой.

* Там же, с. 52.

ное начальство — само плоть от плоти этой массы — и считать наперед не умеет, и транжирить да по ветру пускать гораздо, а работать да копить — нет. Так что тяжко ему обеспечить все то, на что уповают доверившиеся ему иждивенцы, и, утомившись от забот о сырых сих, оно столь же безответственно, как и подопечные, начинает ловить шансы и заботиться прежде всего о своем животе, предоставляя события их "историческому ходу". Не в силу ли этой всеобщей безответственности и безынициативности так идеально приспособлен русский человек к существованию в армии и в лагере? Добровольное холопство столь же естественное состояние для рядового русского человека, сколь естественно самодовольное бездеятельное барство для русского вельможи.

Русское общество всегда делилось на благодетельствующих "отцов" и благодетельствуемых "детей". Отцы — это те, в ком воплощены народные представления об источниках всеобщего благополучия, кто знает секрет достижения побед, величия, изобилия и т.д. Царь, барин, генерал; вождь, секретарь обкома — все это разные обличья "уполномоченных благодетельствовать". Им позволено все. Они — судьба. На судьбу можно роптать, но глупо ее критиковать или противопоставлять ей свою волю, учить ее или подсказывать ей. Против судьбы можно восстать, наконец, чтобы затем вновь довериться иной судьбе в ином наряде. Но ничто так не претит русскому человеку, как видеть рядом с собой своего собрата, активно делающего свою жизнь, да еще с видами на будущее. Тут русский дух восстает, даже если это гениальный дух Достоевского, и начинается травля буржуа ли, кулака ли, жида ли, любого, кто проявляет осмотрительность, расчет, индивидуализм. Причем противопоставляется всему этому не что-нибудь, а *братство*, которого "в природе французской, да и вообще западной, в наличности не оказалось", а у нас вроде как бы хоть отбавляй.

По поводу братства, правда, у русских мыслителей единогодушного мнения никогда не было. В целом добродушно настроенный по отношению к своей нации В.Соловьев замечал, однако, что "добровольно делать добро для наших сограждан — что-то вроде квадратуры круга..." (В.Соловьев. Письма. М., 1923, с. 54, из письма М.Стасюлевичу). Что же, однако, в характере русского социального сцепления всегда было такого, что могло породить идеал братства, заложенного в природе на-

ции, "несмотря на вековые страдания нации, несмотря на варварскую грубость и невежество, укоренившиеся в нации, несмотря на вековое рабство, на нашествия иноплеменников?" (Достоевский).

Во-первых, это — отзывчивость и щедрость души, о которых шла речь выше и которые коренятся опять-таки в сиюминутности и посюсторонности русского мироощущения. Затем это — страх остаться вне игры. Одиночество для "характерного" русского непереносимо. Он стремится жить кучно, стадно, "сборно", поминутно оглядываясь на своих соседей ("как люди, так и я") *, при этом подозревая, что каждый из них только и заинтересован, что обчистить его догола и вытолкнуть вон. Жизнь сограждан В.Соловьева и Ф.Достоевского протекает в повседневной борьбе локтями за место в автобусе, у конфорки, у прилавка и т.д. В критические периоды истории (Грозный, Сталин) эта толча приобретает чрезвычайно братоубийственный вид, в остальное же время составляет привычную атмосферу "игры с вылетами". Безвыходность в описанном выше смысле обеспечивает такому, казалось бы, обреченному на скорый распад социуму ту устойчивость, которая так паразитична для всякого, кто, наблюдая изнутри маленькую, но изнурительную "войну всех против всех", ждет, что вот-вот наступит конец и общество прекратит существование. Центростремительная затягивающая сила колеса рулетки оказывается не таким уж слабым источником интеграции. Цепляйся, жди случая, терпи, не доверяй ближнему своему, а, главное, не думай, что где-то лучше: по ту сторону жизни ли, границы ли еще хуже, ироническое "хорошо там, где нас нет"...

В безвыходности и оптимистической оценке посюсторонней ситуации заключается и тайна русского фатализма, хотя на первый взгляд неверие в существование за гробом должно порождать лишь страх смерти и цепляние за жизнь. Эту особенность атеистического сознания отмечает, например, Бонхеффер, который пишет: "Там, где смерть — конец, страх смерти сочетается с презрением к ней. Там, где смерть — конец, земная жизнь — либо все, либо ничего. Хвастливое упование на непреходящесть земного другой своей стороной имеет фривольное обращение с жизнью. Судорожное хватание за жизнь и погру-

* "Хоть на заде да в стаде, отстал — сиротой стал".

женность в нее идет рука об руку с безразличием и презрением к жизни". Это безразличие и презрение, играющие такую немалую роль в природе русской военной доблести, лучше всего отобразил И. Бунин в рассказе "Птицы небесные", тонко подметив, как фаталистическая русская формула "двум смертям не бывать, а одной не миновать" опирается не на веру в бога, рай т.д., а на полностью языческую, почти растительную привязанность к жизни. ("Птицы-звери всякие, они, брат, об раях не думают, замерзнуть не боятся").

На этом автор "обрывает" дальнейшее "характерологическое" описание особенностей русского национального склада, чувствуя, что имеющийся в его распоряжении формальный аппарат еще недостаточно уточнен, чтобы уберечь его от спекуляций и чересчур иллюстративного подхода к материалу. Он полагает, однако, что ему удалось продемонстрировать плодотворность метода формально-логического выявления базисных ориентаций различных культурных типов с последующим наложением конструируемых схем на эмпирическую реальность. Совмещение этих двух задач в одной сравнительно краткой работе в какой-то мере объясняет и оправдывает присутствующий в ней стилистический разнобой, за который автору хотелось бы принести читателю свои извинения.

Москва

От редакции: Л. Седов – давний автор "Синтаксиса": в № 2 он публиковался под псевдонимом "Л. Ладов", а в № 17 – под псевдонимом "Леон Ржевский".



СКОРЕЕ В РУБРИКУ "ЗОВ ШАФАРА"!!!



Бахыт Кенжеев

**АКАДЕМИКУ ШАФАРЕВИЧУ
ПО ПРОЧТЕНИИ
ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ О РУСОФОБИИ**

**Князь Игорь! Новый наш Мессия!
Спустился на манер орла,
и благодарная Россия
свои расправила крыла.**

**У ней особенное знамя
и уникальная стезя,
ей с вероломными жидами
водить компанию нельзя.**

**Спасибо, мудрый академик,
теперь мне ясно, наконец,
что у евреев много денег
и нет ни чести, ни сердец.**

**Долой трактирного Иуду,
пусть катит в свой чесночный рай,
а наша Родина повсюду
развесит надпись ЮДЕН-ФРАЙ!**

* Шафар – ритуальный рог, в который евреи, как древние, так и современные, трубят в Судный день.

И. Голомшток

"МАЛЫЙ НАРОД" О. КОШЕНА И БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ И. ШАФАРЕВИЧА

Издатели работы И.Р. Шафаревича "Русофобия"* предлагают ее читателю как серьезное исследование автора с безупречной научной репутацией. Действительно, книга эта нашпигована эрудицией как пирог у Собакевича: на 100 с небольшим страниц текста приходится 11 страниц научной библиографии. Здесь Платон и Аристотель, Гоббс и Спиноза, Вольтер и Монтескье; нас отсылают к солидным источникам, скажем, по вопросам влияния протестантского церковного управления на устройство русской церкви, о заговоре Тистельвуда, о грамотности на Московской Руси, об ирландской кампании Кромвеля... Но уже с 4-й главы, где Шафаревич начинает излагать свою концепцию главного зла, разъедающего здоровое тело России, энциклопедизм автора иссякает. Вместо обширной литературы, которую следовало бы привести в этом разделе, Шафаревич ссылается только на один источник: книгу Огюстена Кошена "Les sociétés de pensée et la démocratie", изданную в Париже в 1921 году, и расширенный вариант той же книги "Les sociétés de pensée et la Revolution en Bretagne (1778-89)" (Париж, 1975). "Огюстен Кошен, — пишет Шафаревич, — в своих работах обра-

* И.Р. Шафаревич. Русофобия. Российское Национальное Объединение (РНО), ФРГ, Мюнхен, 1989. Все цитаты даются по этому изданию.

И.Р. Шафаревич. Русофобия. В журнале "Наш современник", 1989 г., №№ 5, 11. (Дожили!)

тил особое внимание на некий социальный и духовный слой, который он назвал "Малым Народом". По его мнению, решающую роль во Французской революции играл круг людей, сложившийся в философских обществах и академиях, масонских ложах, клубах и секциях. Специфика этого круга заключалась в том, что он жил в своем собственном интеллектуальном и духовном мире: "Малый Народ" среди "Большого Народа". Можно было бы сказать — АНТИНАРОД среди народа, так как мировоззрение первого строилось по принципу ОБРАЩЕНИЯ второго (стр. 46). Эту концепцию Кошена И. Шафаревич применяет к современной России, разрабатывая ее с математической логикой решения алгебраической теоремы. Что же это за Малый Народ?

Из многочисленных цитат, вырванных из контекста статей "самиздата" и "тамиздата" 60-70-х годов, Шафаревич конструирует единое и цельное мировоззрение, которое он называет русофобией. В основе его лежит ненависть к России и ее народу, страх перед чреватым тоталитаризмом "русским мессианством", ощущение себя духовной элитой и "избранным народом", а отсюда, естественно, стремление и тайная цель — взять в свои руки судьбы страны и повести ее путем, чуждым ее истории и губительным для ее будущего (стр. 12, 27, 31, 43-46 и т.д.). Шафаревича отнюдь не смущает, что авторы этих цитат — бывшие диссиденты, придерживавшиеся самых разных политических и культурных ориентаций, что в те глухие годы писали они вовсе не о национальном самосознании, а о глумлении над человеком в условиях советской России, что некоторые прошли через тюрьмы и психушки вовсе не за русофобию (хотя в качестве обвинения им предъявлялось и это), а за то, что задолго до гласности и перестройки они пытались расшатать основы советской тоталитарной идеологии. Главное "открытие" книги Шафаревича состоит в том, что подавляющее большинство их — евреи. Как от докучной нелепости отмахивается автор от обычного представления, что причастность человека к тому или иному народу определяется прежде всего его принадлежностью к культуре или религии этого народа (стр. 91-92). Он копает глубже, проникая в скрытые пласты метафизики крови и расового детерминизма. Так, ни один из бывших диссидентов, из которых Шафаревич сколачивает ядро "Малого Народа", не исповедует иудаизм и ни в коей мере не является еврейским

националистом. Тем не менее: "Именно из националистически настроенных евреев состоит то центральное ядро, вокруг которого кристаллизуется этот слой. Их роль можно сравнить с ролью фермента, ускоряющего и направляющего процесс формирования "Малого Народа"" (стр. 75). Он с легкостью ставит в один ряд имена вдовы поэта Надежды Яковлевны Мандельштам, принявшей христианство и похороненной в Москве по православному обряду, и атеиста Л.Троцкого, потому что в их писаниях "одно и то же настроение" — ненависть к русскому народу (стр. 57). Таким образом, еврей по крови всегда несет на себе печать своего рождения.

Идеал этого "антинарода" — "ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ ЖИЗНИ (выделения всюду Шафаревича — И.Г.). И в то же время при первой возможности — безоглядно-решительное манипулирование народной судьбой. А в результате — новая и последняя катастрофа, после которой от нашего народа, вероятно, уже ничего не останется" (стр. 108). "Зловещий силуэт Малого Народа", по Шафаревичу, просматривается на протяжении всей человеческой истории, но особенно опасные черты он приобретает в России сейчас — в один из ее судьбоносных моментов. "Поэтому создание оружия духовной защиты от него — вопрос национального самосохранения. Такая задача посильна лишь всему народу" (стр. 113). Это одна из заключительных фраз "Русофобии" Шафаревича; ради нее она, очевидно, и написана. Шафаревич становится в героическую позу человека, нарушающего табу, снимающего запрет на постановку "больного вопроса" и готового умереть ради морального императива "СКАЗАТЬ ПРАВДУ, произнести, наконец, боязливо умалчиваемые слова" (стр. 113). И он эти слова произносит.

Я воспользуюсь этой риторической фигурой и тоже нарушу один запрет. Шафаревич справедливо сетует, когда на совокупность подобных взглядов наклеивается этикетка — "фашизм". Справедливо потому, что в пылу полемического задора это не означает ничего кроме брани, последнего оскорбления, ибо фашизм в первоначальном — итальянском — значении этого термина имеет к подобным идеям лишь косвенное отношение. В основе идеологии, исповедуемой автором "Русофобии", лежит куда более четкая и разработанная концепция.

...

Едва ли эрудит Шафаревич не знает или забыл, что примерно в тот же период между 1921 и 25-м годами, когда в Париже публиковал свои книги извлеченный им теперь на свет божий Огюстен Кошен, другой крупный теоретик, сидя в тюрьме Ландсберг под Мюнхеном, создавал свой основополагающий труд, насыщенный аналогичными "удивительными по свежести" идеями. Изложенная выше концепция "Русофобии", собственно, и является несколько смягченным вариантом того, что составляет ядро и лейтмотив книги Адольфа Гитлера "Майн Кампф". Скучно доказывать очевидное и опровергать давно опровергнутое, и все же, чтобы не быть голословным, придется прибегнуть к "сравнительному анализу".

Шафаревич лишь повторяет (сознательно или бессознательно — неважно) главную идею фюрера — о еврействе как о воплощении мирового зла. За главой восьмой "Русофобии", где описывается зловещая роль евреев в революции, в "ритуальном" (эпитет Шафаревича) убийстве царской семьи, в кровавых расправах сталинского ЧК, следует глава девятая, где вскрываются метафизические основы еврейских преступлений. Основы эти, поясняет Шафаревич, "религиозные, связанные с верой в "Избранный народ" и в предназначенную ему власть над миром" (стр. 96). Религиозными текстами он манипулирует таким же образом как и работами своих оппонентов, т.е. вырывает из Ветхого Завета и Талмуда цитаты, доказывающие извечную жестокость евреев, их хитрость, лживость, враждебность ко всем другим народам и стремление взять власть над ними (стр. 96-97). Идеолог нацизма А. Розенберг, пользуясь теми же цитатами и выводами из них те же расовые особенности, называл этот джентльменский набор "еврейским моральным кодексом"*.

"Какой другой народ воспитывался из поколения в поколение на таких заветах?" — ставит вопрос Шафаревич (стр. 96). "Где еще есть народ, который за последние две тысячи лет претерпел столь незначительные изменения в своей внутренней структуре, характере и т.д., как еврейский народ?"** — вопрошает в "Майн Кампф" Гитлер.

Тема духовной неполноценности евреев и их стремления

* Race and History and Other Essays by Alfred Rosenberg, New York, Evanston, San Francisco, pp. 179-191.

** Adolf Hitler, Mein Kampf, Boston, 1971, p. 300. Ссылки на это издание даются в тексте с обозначением МК.

осуществить власть над миром проходит сквозь всю книгу Фюрера; она подробно разработана в знаменитой одиннадцатой главе ее первой части — "Нация и раса". Гитлер здесь, в частности, делит все человечество на три расовые группы: творцы культуры (арийцы), носители культуры (другие народы) и разрушители культуры (евреи). Последние генетически лишены творческого начала и никогда не были способны создать оригинальную культуру. "Все что они достигли в области искусства, есть мешанина и интеллектуальное воровство... Степень, в которой еврей перенимает чужую культуру, имитируя или скорее разрушая ее, можно вывести из факта, что он наиболее проявляет себя в искусстве, которое требует наименьшей творческой изобретательности, — в искусстве действия. Но даже здесь он на самом деле только "жонглер", или скорее обезьяна; даже здесь он является не творческим гением, а поверхностным имитатором, и все трюки и ужимки, которые он употребляет, не могут скрыть внутренней безжизненности его творческого духа" (МК, стр. 303).

Полным отсутствием творческого духа наделяет своего типологического представителя "Малого Народа" и Шафаревич, только описывает он его не словами такого авторитета, как Гитлер, а вкладывает в уста малоизвестного О.Кошена: "Это человек, обладающий материальными аксессуарами и формальными знаниями, предоставляемыми цивилизацией, но абсолютно лишенный понимания духа, который все это оживляет... Он видит все и не понимает ничего, а именно по глубине непонимания и измеряется способность этих "дикарей" (стр. 47). Беспочвенность, чуждость и враждебность евреев к духовным ценностям других народов становится у Шафаревича главным критерием его подхода к явлениям современной культуры. Отсюда и идет его пророчество: "...поколению наших потомков будет недоступно влияние Фрейда как ученого, слава композитора Шенберга, художника Пикассо*, писателя Кафки, поэта Бродского" (110). Достается от Шафаревича и Генриху Гейне за его германофобию, ибо: "Предметом его постоянных злобных, часто грязных, а от этого уже и неостроумных нападок

* В серьезных научных трудах высказывались предположения о еврейском (со стороны матери) происхождении Пикассо; нацистская идеология использовала этот аргумент для доказательства "дегенеративности" его искусства.

было, во-первых, христианство... А во-вторых, немецкий характер, культура, история" (стр. 52)*. К отечественным русофобам он причисляет И.Бабея, Ильфа и Петрова, Н.Мандельштам, А.Синявского... Его единомышленники из "Памяти" предлагают отлучить от русской культуры и Мандельштама, и Пастернака...

Однако культура, согласно этой общей концепции, в руках представителей "Малого Народа", "антинарода", или, попросту говоря, евреев, является лишь инструментом, средством для разрушения преград, стоящих на пути захвата власти. Писатели, поэты, ученые, политики, идеологи, часто не подозревающие о существовании друг друга, оказываются лишь ячейками в гигантской сети мирового заговора, имеющего целью "окончательное разрушение национальных и религиозных основ жизни" (по Шафаревичу) или "сломать хребет национальному и патриотическому сознанию народа и дать ему созреть для рабского ярма международного капитала и его хозяев — евреев"*** (по Гитлеру; МК, 243). Культура тут отбрасывается, и на первый план выступают идеология и политика.

Шафаревич идет в русле этой традиции, когда приписывает иудаизму учение о Мессии, "который установит власть "Избранного народа" над миром", и продолжает на той же странице: "Марксистское учение об особенной роли пролетариата принадлежит к традиции "революционного мессианства", развившейся в Европе в XIX веке" (стр. 20). Проницательному читателю, которому адресована эта книга, не трудно догадаться, о чем идет речь. Он уже слышал и читал (в том числе в других публикациях Шафаревича), что марксизм глубоко чужд русскому самосознанию, что он привнесен в Россию извне — с Запада — представителями того же "Малого Народа", к которому принадлежал по крови и Карл Маркс. Гитлер завязывал

* Гейне был запрещен в Третьем Рейхе, однако его "Лорелея" печаталась без имени автора как произведение народного немецкого фольклора.

** Интересно, что в качестве представителей международного еврейского капитала, участвовавших еще в начале нашего века в заговоре против России, Шафаревич выдвигает Я.Шиффа и Г.Леба — представителей американского банка Кун, Леб и Ко. (стр. 95). А.Розенберг в своих пропагандистских статьях в *Völkischer Beobachter* 20-х годов неоднократно пользуется этими же персонажами для доказательства подрывной деятельности евреев против немецкого народа.

марксизм и еврейство в один узел с иной целью (об этом ниже), но говорил то же самое: "Марксизм, чья цель — разрушение всех нееврейских национальных государств (МК, 168) ... представляет собой разработанный план передачи власти над миром в руки евреев (МК, 382)... Истинное внутреннее ядро философии марксизма... разрушить категории расы и индивидуальности и устранить это существенное препятствие на пути к господству низшего существа — все тех же евреев (МК, 320)... и если не поставить преграду этому процессу, еврейское господство осуществится: еврей пожрет все народы земли и станет их хозяином (МК, 452)".

Вождь немецкого народа тоже искал оружие защиты от этого зла с целью национального самосохранения. Более того: он выковал это оружие и первый с такой прямолинейной откровенностью описал методiku его применения. В третьей главе "Майн Кампф" он писал: "В целом искусство всех великих национальных вождей всех времен включало в себя, помимо прочего, одну главную вещь: не дробить внимание народа, а сосредотачивать его на едином враге... Это свойство гения великого вождя — даже самых отдаленных друг от друга противников сводить в одну простую категорию, потому что слабые, неустойчивые человеческие существа, познавая наличие разных врагов, могут очень скоро начать сомневаться в собственной правоте" (МК, 118).

По сути Гитлер сформулировал здесь основной закон всякой тоталитарной пропаганды. Ему следовал Ленин, аранжируя в один букет философов-идеалистов, меньшевиков, бундовцев, черносотенцев и белогвардейцев; так поступал Сталин, когда объявил немецкую социал-демократию разновидностью фашизма, а потом объединил критиков-космополитов с акулами Уолл-стрита. Не той ли методе следует и Шафаревич, когда сваливает в одну кучу Малого Народа всех, кто ему не нравится — диссидентов, интеллигентов, космополитов, евреев, материалистов, плюралистов, лепя на спину каждому бубнового туза русофобии? В русофобах у Шафаревича оказывается и сам Иосиф Виссарионович за его выпады против великорусского шовинизма (стр. 57, 90, 91). Кажется, это единственный упрек автора в адрес вождя. Произнесенный Сталиным 24 мая 1945 г. в Кремле тост "За великий русский народ" и последующая затем антисемитская кампания борьбы с космополитизмом, очевид-

но, не вызывает никаких негативных эмоций у автора. Скорее наоборот: ведь "оружие духовной защиты" того же самого великого русского народа поднимает сейчас Шафаревич против тех же самых космополитов.

"Сегодня битвы за власть есть выражение внутреннего краха... Социальные, религиозные и идеологические ценности и концепции лежат в развалинах. Никакой руководящий принцип, никакая высокая идея не владеют безраздельно жизнью людей. Группа борется против группы, партия против партии, национальные ценности против интернационалистской доктрины, загнивающий империализм против агрессивного пацифизма. Капитал оковывает золотой цепью страны и народы, в то время как экономика разваливается и жизнь лишается корней... События истории и будущего не определяются больше классовыми битвами и войнами между церковными догмами, но в большей степени столкновением крови с кровью, расы с расой, народа с народом. А это означает битву между духовными ценностями"*.

Так Альфред Розенберг в "Мифах XX века" не столько описывал ситуацию, сколько выражал умонастроение определенной группы людей в последние годы Веймарской республики.

Подобные ситуации и умонастроения во многом определяют сейчас политический климат в России. Разница состоит лишь в том, что в Германии зияющий идеологический вакуум образовался вследствие слабости и последующего крушения ее демократической системы, а в России он возник как следствие краха могучего тоталитарного государства. Но, как немцы тогда, так русские сейчас стоят перед дилеммой: куда идти? Дорога западной демократии, по которой, кстати сказать, страна стремительно продвигалась в начале нашего века, не устраивает людей вышеописанного умонастроения: "Все больше западная демократия, — пишет Шафаревич, — уступает и уступает своему антагонисту... По всем признакам, многопартийная западная система — УХОДЯЩИЙ общественный строй" (стр. 36). У России свой путь, ей предопределенный (кем?).

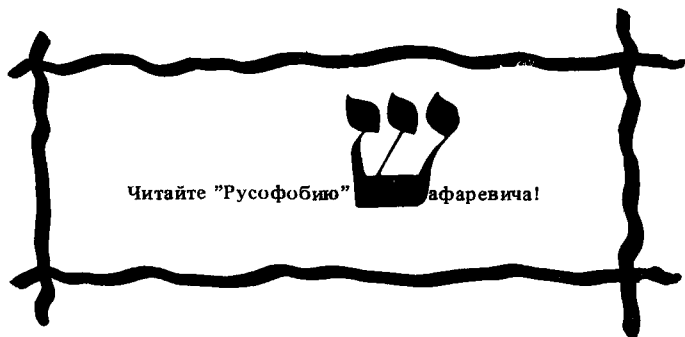
Шафаревича не пугает призрак сильного национального

* Race and History..., p. 33-34.

централизованного государства с единой идеологией (неважно какой), с однопартийной системой и с мощным духовным оружием национальной самозащиты. Контур такого государства в книге Шафаревича намечен лишь пунктирно, но, очевидно, должен обрести плоть и кровь в конце предназначенного России пути. Он отмахивается от понятия "тоталитаризм" как от хитроумной выдумки все тех же "русофобов" — как будто не было Третьего Рейха, как будто не только сейчас Россия начинает выкарабкиваться из каменных объятий сталинского тоталитарного режима. Все беды России не в этом, а в "Малом Народe", который "неустанно трудится над разрушением всего того, что поддерживает существование "Большого Народа"" (стр. 133).

То, что сейчас в СССР антисемиты и расисты не прячутся больше за лозунг "дружба народов", а выступают с открытым забралом, это хорошо, это шаг к расширению политического спектра жизни страны и, следовательно, шаг к демократии. Но если уж снимать забрало, то до конца.

В общественном обращении любая идея приобретает ту или иную окраску в зависимости от исторического контекста, в который она вставляется. Поэтому в ученых трудах принято ссылаться на первоисточники, относить свою концепцию к определенной традиции, а не выдавать ее за первооткрытие. В "Русофобии" открыто расистские и антисемитские идеи Гитлера и Розенберга вуалируются более обтекаемой теорией "Малого Народа" О.Кошена, и в этом состоит большая и главная ложь автора книги — И.Шафаревича.



Наталья Иванова

ПОЖИЛАЯ ГВАРДИЯ

Честно говоря, трудно нас сейчас удивить чем-нибудь антисемитским. Еще два года тому назад мы удивлялись: неужто в нашей стране, испытавшей нашествие фашизма, такое бывает (я имею в виду сборища "Памяти" в Румянцевском саду в Ленинграде, провокационные записки на литературных вечерах, книги записных юдофобов типа Романенко. Я воспринимала это все как индивидуальное извращение мозгов — ну, бывают больные, что делать, приходится пока терпеть. Два года тому назад я была в Ленинграде у Лидии Яковлевны Гинзбург, и она сказала мне, что чувствует себя порой как в Германии начала 30-х годов. И я весело смеялась и корила ее за явное преувеличение.

Но сейчас ясно — эта социальная и национальная болезнь не унимается. Более того, ее вирус распространяется все шире и шире. Вот уже и по дороге в международный аэропорт Шереметьево отмечаю — на двери кооперативного кафе намалевана свастика. А дочь из своей гимназии (есть у нас теперь и такое) принесла известие: на стенах уборной для девочек написано: "Привет вырождакам еврейской школы-синагоги". Да-да, именно так, с грубой грамматической ошибкой.

Кстати, это страшно раздражает "Память" — если указываешь ее членам на их элементарные ошибки в великом и мо-

гучем русском языке (они, то бишь, члены, часто появляются на моих выступлениях — по трое, по пятеро; пишут безграмотные записки с "коварными", как они полагают, вопросами о "жидомасонском заговоре"). "Мы рабочие! — кричат они из зала. — Нам это ни к чему! Нам учиться грамоте некогда!" Однако время ходить по моим, в частности, выступлениям, у них есть. "Идея"-то в высшей степени удобная для того, у кого все "достоинство" — в его национальной принадлежности. И "идея" эта прокламируется на разных уровнях: от угрюмого безграмотного "рабочего" до члена СП СССР.

Брезгливые, чистенькие друзья-литературоведы, как на родине, так и за рубежом, порой упрекают меня — надо ли тратить столько энергии на борьбу с этой "идеей"? Нам ли им отвечать? Не лучше ли продолжать занятия классикой, серьезными исследованиями? Конечно, оно лучше, не спорю; но возникает у меня вопрос — в каком обществе мы завтра проснемся? В каком обществе наши дети жить будут? Как мы им в глаза смотреть станем?

Приятель, член редколлегии уважаемого журнала, и, главное, поэт замечательный, — с тоской в глазах говорит мне о том, что ему нынче страшно становится от разворота национал-радикалистских публикаций и показывает мне очередной номер "Нашего современника" со статьей заместителя главного редактора — А.Казинцева — под названием "Четыре процента и наш народ" (четыре процента — это ясно кто). Возмущение поэта понятно, но... разговор происходит на его, поэта, кухне, в его, поэта, доме. На кухне возмущается! Почему он не выступит у себя в журнале, открыто? Не дают? Почему тогда не выйдет из редколлегии? Почему не выступит по телевидению, в газете? Почему продолжает молчать? И — не позор ли это для тончайшей нашей интеллигенции?

А ведь сегодня печатается и такое:

Тихо у нас, на задворках страны,
словно вовек не знавали войны.
Но длится она и дондесь,
и фронт ее — вот он, здесь.

(Ю. Лошиц)

В стране, где 40 миллионов живут за чертой бедности,

где выстраиваются очереди бедняков-стариков за бесплатным супом, где до сих пор люди маются по баракам, появляются строки не об этом, а опять-таки о... "безродных":

Сейчас никто не бедный,
не голодный,
но всяк второй — беспамятный,
безродный.

Вернемся на два десятилетия назад. Я училась на филфаке МГУ в семинаре у В. Турбина, а Ю. Лоциц тоже вышел из этого семинара, только был постарше на несколько курсов. Каждый год мы ездили на Лермонтовские конференции, на автобусе, преодолевали сотни километров — то в Пензу, то в Пятигорск... Видя из окна разрушенные храмы, я чуть не плакала, а тот же Ю. Лоциц дразнил меня — смотри, опять твоя безглавая церковь стоит!.. Мое отношение к восстановлению памятников культуры, национальных духовных святынь не изменилось. А вот что случилось с моими тогдашними оппонентами? Неужели нынешняя агрессивность их позиции объясняется тем, что в наши молодые годы моя позиция была небезопасна?

Почему литературное и философское наследие (Булгакова, Платонова, Ахматову, Твардовского, Шмелева, Ходасевича, Бердяева, Лосского, В. Соловьева, Г. Федотова...) печатают так называемые "либералы": от "Знамени" до "Дружбы народов", от "Юности" до "Огонька"? Ведь, скажем, "Молодая гвардия", из шестого номера которой (1989 г.) я выписала — из рецензии — эти "поэтические" строчки, призывающие не забывать о перманентной "войне" и "конфронтации", вполне могла бы печатать не сочинения И. Стаднюка, а сочинения В. Набокова? Нет, она, как и "Наш современник", игнорирует настоящую русскую литературу, разжигая ненависть к "четырем процентам", которые русскую культуру якобы уничтожают.

Итак, "длится она (война — Н.И.) доднесь, и фронт ее — вот он, здесь". Н. Кузьмин, автор многословнейшей публикации в последующих номерах "Молодой гвардии", яростно обрушивается на В. Коротича за его реплику о "моей маленькой гражданской войне", называя его редактором "пожелтевшего еженедельника". Каким только оскорблениям, кстати, не подвергал-

ся "Огонек"! Тут и "Огарыш", и "разные коротичи". А ведь в ответ напрашивается само собой — "Пожилая гвардия".

Итак, чем порадовало нас сочинение, продолжающее ра-
ботывать фронтную тему, открытую артиллеристом Ю. Бон-
даревым еще на печальной памяти Секретариате СП РСФСР?
"Высказаться! — вот без чего не могу! Или, как говаривали в
старину, излить душу". Вот Н. Кузьмин, человек пожилой
(шестьдесят стукнуло), и "изливает" — но можно ли то, что из-
ливается, назвать "душой"? Судите сами.

Кузьмин, например, последними словами кроет "беспро-
светность" и "безысходность", "неприкрытую нищету" жизни
доколхозной России ("лошадиная судьба, иного слова не при-
думаешь"), и ругает тех, кто "клянет колхозы и превозносит
нэп". Кузьмин же клянет нэп ("Для кого ж мы революцию со-
вершали?.. Для разной сволочи?") и не может нарадоваться на
организацию колхозов. Оригинальная — когда уже всем, по-мо-
ему, стало ясно, к какому развалу сельского хозяйства стра-
ны привела поголовная коллективизация, сплошная колхоз-
ная система, — точка зрения? Нет, она целиком укладывается в
систему воззрений автора. О чем бы не "вспоминал" и не рас-
суждал Н. Кузьмин — о колхозах или о нэпе, о государственном
устройстве или о национальных языках, о "еврейском" вопро-
се или системе воспитания — взгляды его остаются на диво
стройными и последовательными.

Зачем, возмущается нынче Кузьмин, нас, жителей Казах-
стана, заставляли в школе изучать казахский язык? Явные про-
иски националистов! "Не стану скрывать, отношение к этому
предмету у нас у всех (! — Н.И.) было откровенно наплеватель-
ское". А корень всех нынешних межнациональных конфлик-
тов, по Кузьмину, в том, что мы, русские, "старшие братья",
"вывели их в люди" (казахов, латышей, эстонцев) — а теперь
"убирайтесь, больше не нужны! Не так ли некоторые хамы сда-
ют своих родителей в дом престарелых?" Самое время, счита-
ет Кузьмин, после событий в Алма-Ате и Закавказье "вспом-
нить пословицу о паршивой овце и стаде и употребить имею-
щуюся власть, пока еще не грянул самый страшный гром...
Власть просто обязана противопоставить эгоизму некоторых
групп (в другом месте Кузьмин с гневом пишет о "так назы-
ваемых народных фронтах" — Н.И.) сильную волю и твердую
руку". И вообще "настоящей бедой республики стал не "за-

жим” культуры, а необузданное ее раздувание”. От “раздувания”-то и народились всякие там националисты, возомнившие даже школы пооткрывать на родном языке да и объявить его в республике государственным. Совсем обнаглели...

Дай волю Кузьминым, они бы начали с воспитания по-сталински.

Все лучшее осталось для таких, как он, Шеховцев, Андреева, в сталинском прошлом. “В те годы (незабвенные — Н.И.) это так и называлось: работа с подрастающим поколением. И работали напряженно, целенаправленно, делая упор на обязанности, на исполнение долга. Этому было подчинено буквально все: история, литература, музыка, другие искусства. Даже эстрада тех лет была патриотической!” Вопль души, да и только, — не хватает сегодня исторических постановлений, “ждановской жидкости”, воспитания в лагерном стиле, в стиле эпохи вампир. “Сейчас же, — жалуется Кузьмин, — народ оглох от воплей о правах”. Действительно, какие “права”, когда нужны прежде всего “обязанности”? “Заявляю со всей прямоотой: умели тогда воспитывать!”

Ничего не скажешь — уж Н.Кузьмина-то воспитали. Движение Народного фронта в Латвии он называет “оголтело националистическим”, столицу Казахстана Алма-Ату — “далекой российской окраиной”. А тем, кто думает иначе, приклеивает ярлык: “имперская политика” (?! — Н.И.)

Цитирую дальше: во время войны, например, “у нас среди эвакуированных почему-то не было ни одного русского человека... молодых мужчин-евреев почему-то не призывали в армию, на фронт”. Невоевавшему Кузьмину можно было бы предъявить хотя бы количество евреев — Героев Советского Союза, показать живых литераторов-Героев — Г.Гофмана, М.Галлая, но уж очень противно полемизировать с бытовым антисемитизмом, тиражированным “Молодой гвардией”. Если и появляется еврей в ностальгических кузьминских воспоминаниях, то уж непременно “еврей-парикмахер”, которого избивает вояка-инвалид, или “учительница химии, Ревекка Осиповна, особа с бараньим профилем”, которая “отчего-то люто ненавидела всех нас” (что ж, если уровень понимания химии школьником Кузьминым соответствовал его “взрослому” уровню восприятия им национальных проблем, то вполне можно понять чувства учительницы, — Н.И.). Отметим, кстати, и та-

кую характерную черточку юдофобии — часто люди, не зараженные даже антисемитизмом, в разговоре невольно употребляют такой оборот: "еврей, но хороший"; так и в статьях нынешних теоретиков и глашатаев разделения народов на "чистых" и "нечистых" обязательно присутствует пример "своего" еврея, которого автор знает де, как милого и отличного человека. Авторы "Нашего современника" и "Молодой гвардии" настолько, видимо, девственно невинны в публицистике, что сами не понимают, как — и откровенно — этим выдают свои подлинные чувства.

Бытовой антисемитизм плавно переходит у Кузьмина в идеологический (и наоборот). Речь, естественно, заходит о Сталине: "Сталин имел дело отнюдь не с робкими и невинными овечками... Слетевшись в несчастную Россию со всех материков, они принялись осуществлять в ней свои идеи, ставить эксперименты на ее народе... Именно они изобрели и запустили механизм чудовищных репрессий... Одолей они "кремлевского горца", и мир содрогнулся бы от ужаса террора победителей..." Выраженная не совсем грамотно идея ясна: спасение было в Сталине, и нечего сокрушать образ спасителя нашего — спасителя от тех, что "слетелись в Россию, словно на желанную падаль". И вовсе не Сталин выгнал их из обжитого "Дома на набережной", — продолжает Кузьмин, — а "народ стряхнул их с себя, как стряхивает расплодившихся паразитов всякий выздоравливающий человек..." Ну, а то, что руками розовощеких конвойных миллионы отправлялись в вагон-заках на столь любезное сердцу Кузьмина "воспитание" — это все остается за пределами внимания пожилогвардейца.

Но не только на национальные и общенациональные темы высказывается наш бойкий мемуарист.

Достается от него и роману "Доктор Живаго" ("проза поэта чрезвычайно слаба"), и тем, кто сегодня пытается восстановить справедливость ("вопли", "стон стоит о Пастернаке... где же самая элементарная справедливость?") Кузьмин жалуется: не "стонут", мол, о Ключеве, забыли о Клычкове — но все это откровенная ложь, ибо публикации стихов, писем Ключева, воспоминания и статьи о нем появились одновременно с публикацией "Доктора Живаго" в крупнейших литературных журналах: "Новый мир", "Знамя", "Дружба народов"...

Зачем же предпринимается попытка открытой фальсификации?

А вот зачем: чтобы неопытный, неосведомленный читатель задумался: мол, опять "тянут" своих, курчавеньких, а наших, исконных, не только погубили "слетевшиеся", но сейчас и память замолчать по ним стараются.

Ненавистно Кузьмину то, что происходит в стране сегодня, и гласность нынешнюю он называет не иначе как "вакханалией разоблачительства". Всячески пытается внушить читателю, что быть русским в нашей стране — это иметь "инвалидность пятой группы от рождения"... Не дают ему покоя голоса, зазвучавшие в республиках, и "лагерная тема" — "живописание тюремных и лагерных ужасов".

Ну, да Бог с ним, с Кузьминым. Дело даже не в нем, не в очередном сочинении, опубликованном "Пожилой гвардией". Таких, как Кузьмин, в народе нашем не так уж много. Но не надо обольщаться — не так уж и мало. Он принадлежит к тому воинствующему меньшинству, которое на повороте истории стало пронзительно громогласным. В силу обстоятельств, доставшихся нам из времен застоя и сталинщины, мы являемся свидетелями того, как представители этой части общества топотом и свистом сгоняли на Первом съезде народных депутатов Андрея Дмитриевича Сахарова. Мы слышим их истерику со страниц "Московского литератора", где открыто призывают составлять редсоветы по национальному признаку. Агонизирующая (надеюсь) номенклатурная система цепко толкает своих "наверх", в депутаты, в редактора... И те отплачивают ей благодарным визгом.

И вот поэтому нельзя сейчас молчать. Нельзя тревожиться на кухне. К этому зовет интеллигенцию и сам народ — который быстро и решительно освобождается от страха, все яснее осознавая цену великодержавным козлищам. У Исаака Бабеля есть слова: еврей умному не помеха. Помехой нам — бездарность, ненависть, ложь.



**В КОНГРЕСС США
В СОВЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ США
(донос)**

Статья А.Д.Синявского "Русский национализм" (см. стр. 91 данного номера) передавалась радиостанцией "Свобода". И тут же последовал донос.

Что же это такое, граждане? Не успел пасть железный занавес, еще пыль не осела, а уж бежит, поспешает русский мужик в заморские страны, зычным голосом покрикивает; а слова-то говорит при этом все древние, наши: не пущать! Не смей рассуждать!

Знать, неистребима в русском человеке странная тяга к доносам да челобитным. Царю, псарю, генеральному секретарю. Ньиче вот — в Конгресс США, копия — в совет международного радиовещания. А и правильно: чтобы проследили там друг за дружкой. Барин, батюшка, — кланяются патриоты по телефаксу, — за денежку спасибо, и политика у тебя хорошая, да вот у граждан твоих западных "особенности" странные: что хотят, то и говорят, мнение свое имеют. Накажи их, батюшка!

"Русский народ освободится от рабства в любом случае", — обещают русичи. Да когда еще это будет, а пока пущай в вашем, в свободном мире, накажут радиостанцию "Свобода", чтобы она язык-то попридержала!

Прежде всего мы хотим выразить благодарность Конгрессу США за многолетнее финансирование радиопередач для населения нашей страны. В условиях самоизоляции СССР они были важным источником информации, способствовали становлению независимой общественности.

В нынешний период реформ, когда прекращено глушение западных радиостанций, влияние их передач значительно усиливается. Радиостанция "Свобода" привлекает особое внимание.

Многие наши официальные и неофициальные деятели стали использовать РС для выражения своих взглядов.

Вместе с тем, нам кажется, что в новых условиях еще более наглядно проявились давние недостатки в политике РС (особенно русскоязычного вещания), которые со второй половины 1987 г. приобрели резкую тенденцию к усилению. Это и побуждает нас обратиться к Вам с письмом, ибо нарастание этой тенденции ведет не к "улучшению взаимопонимания между народами" (как РС ежедневно формулирует свою цель в эфире), а к его ухудшению.

Последние годы со всей наглядностью доказали всему миру, что национальные проблемы в СССР являются одними из самых важных и болезненных. К ним приковано сейчас внимание. РС тоже многие свои передачи посвящает вопросам национальных движений крымских татар и евреев, прибалтов и народов Закавказья. Это можно только приветствовать. Но нельзя согласиться с другим: с полным игнорированием проблем многострадающего русского народа. Это не может не отталкивать от программ РС огромного количества радиослушателей в России.

Когда РС анонсировало новую передачу "Русская идея", мы связывали с ней большие надежды. Но вышло обратное тому, на что мы надеялись. Вместо осмысления феномена русского национального самосознания эта передача сосредоточилась на его отрицании и опошлении. Было заявлено, что "мы присутствуем при агонии русской идеи" и даже поставлен вопрос: "Не являются ли русские народом прошлого, которого уже нет?" В первых передачах этого цикла одна была целиком отдана на изложение оскорбительно-руссофобских концепций А. Янова, три — А. Синявского, отношение которого к русскому народу крайне негативно. Еще в двух В. Тольц (ведущий всего цикла), Р. Пайпс и Б. Хазанов подвергли высокомерной и некомпетентной критике статью издателя независимого московского христианского журнала "Выбор" В. Аксютчица. На изложение же позиции А. И. Солженицына, который является современным выразителем русской идеи, в передаче места и вовсе не нашлось. Вообще создается впечатление, что по отношению к идеям Солженицына, наиболее разрушительным для коммунистической идеологии, "заговор молчания" царит не только в советской прессе, но и на западных радиостанциях.

Искусственному обострению национальных отношений в СССР способствует, на наш взгляд, и многочисленные передачи РС об обществе "Память". В любой стране и в любом движении есть свои экстремисты. Все истинные русские патриоты сами осуждают ультрарадикальные тенденции в общественно-политической жизни страны, в частности, антисемитское крыло "Памяти". Но об этой немногочисленной группе у нас мало кто знал бы, если бы ее популяризации не содействовали статьи в советской прессе и передачи западных радиоголосов, прежде всего РС. Бесконечным муссированием вопроса они придали демагогам из "Памяти" статус чуть ли не общероссийского политического движения. Кроме того, постоянное возвращение к теме национального экстремизма скрывает наличие в России широкого спектра здоровых патриотических сил. К чему приводит такая политика? Еврейское население России запугивается, русское — негодует, что его отождествляют с группой фанатиков. В результате возникает взаимное озлобление, а это может привести к реальной конфронтации.

Все сказанное выше в полной мере относится и к тому, как РС освещает взаимоотношения русских с другими народами, входящими в состав СССР. Коммунистическая политика национального нивелирования, т.е. разложения любого национального самосознания, постоянно подается как "русификация" (без уточнения этого понятия). Авторы многих программ (среди них выделяются В.Малинкович и В.Белоцерковский) умалчивают о том, что эта чисто языковая "русификация" всегда проводилась при одновременном подавлении духовной культуры самого русского народа. РС одобрительно рассказывает о патриотических движениях в союзных республиках. Однако о русском патриотизме тот же В.Малинкович в беседе с Л.Ройтманом и В.Матусевичем заявляет: "Половина населения этой страны нерусские, и говорить о патриотизме русском в такой стране просто бессовестно и безнравственно". Подобные заявления могут вызвать лишь негативную реакцию нашего народа.

Мы с болью слышим о том, что некоторые деятели разных национальностей, входящих в СССР, обвиняют в своих бедах "русских оккупантов". Это дезориентирует прежде всего их народы, т.к. реальные оккупанты — коммунистические интернационалисты — подменяются мифическими русскими. Но

безответственность подобных заявлений можно хоть как-то объяснить эмоциональным накалом страстей внутри страны. Когда же профессиональные политологи и журналисты РС, глядя со стороны, дают эти заявления в эфир без всяких комментариев, объяснения найти трудно. Так, например, были переданы слова украинского независимого деятеля Ю. Бадзьо о том, что одной из главных причин сталинского террора была "эгоистическая национальная сила русского великодержавного шовинизма". И совсем недавно антидемократическое поведение на Съезде определенной части депутатов, большинство из которых — работники партаппарата, РС квалифицировало как разгул русского шовинизма.

Мы убеждены, что подобные тенденции в программах РС объективно способствуют разжиганию национальной розни, которая сегодня представляет собой серьезнейшую угрозу процессу эволюционных изменений внутри страны и мирному сосуществованию всех народов земли. Мы считаем это нравственным преступлением. Но есть и прагматическая сторона. Национальная вражда неизбежно приведет к коммунистической фашизации СССР, который так и останется международным агрессором, угнетающим все без исключения народы, входящие в его состав, и постоянно стремящимся к экспансии.

Руководство СССР вынуждено сейчас искать разрешения межнациональных конфликтов, но оно не в состоянии честно назвать причину их возникновения. Граждане всех национальностей тоже ищут это решение, но очень часто идут путем, ведущим в тупик. Армяне винят азербайджанцев, прибалтийцы — русских и т.д. РС часто усугубляет эти губительные заблуждения, сеющие вражду и ненависть, чреватые общей бойней. Нам представляется, что одна из главных задач всех гуманистических сил мира состоит в том, чтобы помочь заблудившимся выйти на истинный путь. Помочь понять, что в данном случае не один народ поработил другой, а все народы СССР и "социалистического лагеря" оказались интернациональным люмпеном, спящим античеловеческой идеологией и шкурными интересами. Если народы СССР освободятся от коммунистического рабства, то мы не сомневаемся, что они смогут по-человечески разобраться, как жить дальше: вместе, порознь или найти какие-то другие формы сосуществования. У русского же народа, на который пришелся основной удар идеологии ненависти и

разрушения, такое количество ран и проблем, что ему не до экспансионизма или удерживания около себя тех народов, которые хотят жить самостоятельно.

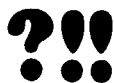
Наш народ в массе своей настроен антикоммунистически, и в этом смысле он потенциальный союзник всех сил свободы и демократии. Но русофобия, слепая борьба с русским народом вынуждает его к сближению с идеологической властью, провоцирует распространение такого уродливого явления, как советский патриотизм. С другой стороны, русофобия, пропагандируемая западными радиостанциями, сеет в русском народе агрессивное отношение к Западу, а значит, закрывает путь к восприятию общечеловеческих гуманистических ценностей. Выгодно ли все это Западу? Мы убеждены, что русский народ освободится от рабства в любом случае. Но отношение одной из самых многочисленных наций мира к Западу будет зависеть от того, какую позицию Запад займет по отношению к борьбе нашего народа за свободу.

Сегодня западные радиостанции могли бы действительно влиять на международную ситуацию в нашей стране и способствовать снятию напряженности во всем мире. Однако, как мы пытались показать, выходит обратное. Мы выражаем надежду, что названные тенденции РС (отчасти они проявляются и в передачах "Голоса Америки") обусловлены не политикой США, а особенностью сотрудников, работающих на этих радиостанциях: отсутствием у многих из них любви или уважения к стране и народам, на которые они вещают.

Мы убеждены, что указанная позиция не служит не только истинным интересам русского народа, народов СССР, но и глобальным интересам Запада.

Виктор Аксютин, Глеб Анищенко, Священник
Дмитрий Дудко, Феликс Светов, Валерий Сендеров,
Виктор Тростников.

Москва, 20 июня 1989 г.



ОКЛЯБОР

ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ!

**КРЫСА
ПОД СОУСОМ**

Уважаемый читатель наверняка помнит очаровательную вещицу Аж. К. Джерома «Трое в одной лодке, не считая собаки». Помнит он, возможно, и то место в повести, где описывается, как верный фокс-терьер, желая угодить своим двуногим олодавшим друзьям, притаился к общему столу дохлую крысу. На мой взгляд, в этом же духе выступил и журнал «Октябрь» на общий стол Абрама Терца

МОСКВА

**ЛУЧШЕ ОСТА
ОТСЕЧЕНО**

В № 4 журнала «Октябрь» фрагмент книги А. Синявского «Прогулки с Пушкиным». Это произведение — безусловно важным

СЛАДОСТРАСТИЕ НЕНАВИСТИ?

Выходит из печати
третьим изданием
самая скандальная книга

Абрама Терца

ПРОГУЛКИ С ПУШКИНЫМ

Гневные возгласы вокруг нее обнаружили родство душ и вкусов Татьяны Глушковой, А. Солженицына, Романа Гуля, С. Куняева, Ювала Шесталова, И. Шафаревича и слесаря Иванова.

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

<i>И. Константиновский.</i> Варшавский сейдер	3
<i>А. Синявский.</i> Русский национализм	91
<i>Т. Кибиров.</i> Послание Л.С.Рубинштейну	111

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

<i>Ханна Арендт.</i> Антисемитизм	122
<i>Л. Седов.</i> Типология культур по критерию отношения к смерти	159

ЗОВ ШАФАРА

<i>Бахыт Кенжеев.</i> Академику Шафаревичу по прочтении его исследования о русофобии	193
<i>И. Голомшток.</i> "Малый народ" О. Кошена и большая ложь И. Шафаревича	194
<i>Н. Иванова.</i> Пожилая гвардия	203
Донос в Конгресс	210



Цена номера 70 фр.фр.

Подписка в редакции на 4 номера — 240 фр.фр.

Пересылка за счет подписчика.

Номер был уже напечатан,
когда пришла горестная весть...

УМЕР САХАРОВ...

Сон разума породил чудовищ. Кликуши, хироманты, толкователи Нострадамуса, воронежские пришельцы, партийные заклинатели и телевизионные целители ("Рабочие! Повышайте!.. Воины! Крепите!.. Больные! Выздоровливайте!.."). И попытки накормить пятью хлебами тысячи голодных. Из плюновения сделать брение, помазать рубль и конвертировать его. Воскресить Лазаря. Заставить Лазаря эмигрировать. Загнать расплодившихся бесов в отощавшее и поредевшее стадо свиней. Похоронить мертвецов. Откопать мертвецов. Загнать в них осиновый кол и снова зарыть. Все памятники снести и поставить совсем другие. А главное — все переименовать.

И вся страна делится на гадов и святых. И Верховный Совет улюлюкает в лучших традициях римского Колизея. И среди пения молитв и притопывания леших плохо слышен голос Человека Разумного.

А умер человек: Андрей Дмитриевич Сахаров. Много лет назад в заповеднике мракобесия раздался его умный и ясный, негромкий, но слышимый всем голос. Все теперь знают, что он говорил. И все знают, что с ним за это сделали.

В гадах он уже ходил. Теперь мы сделаем из него святого. Привычно, приятно, традиционно. Уж такие мы духовные. И это нам в себе нравится.

Да уж конечно он мученик — с нашей помощью. Кто же как не праведник — на нашем-то фоне.

Мы сначала распнем, потом обожествим. Замучаем — причислим к лику святых. Будем пытаться, пока последнее облачко дыхания не замрет на зеркальце, поднесенном к губам. А стоит проясниться зеркальцу, как мы взовемся стотысячной толпой и понесемся, крича: "Прости нас! Мы виноваты!" Конечно, мы. А кто же еще? Больше здесь никого и нет.

Я надеюсь, что он не был святым: скучно со святы-

(См. 3 стр. обложки)

ми. Не был юридичивым: мутно и тревожно с юридичивыми. Он не тыкал пальцем, не обзывал и не проповедовал. Он не вращал глазами, не завывал, не шаманствовал, не поносил Запад и Восток, не указывал сияющим перстом направления, куда мы все обязаны бежать, не размышляя. И получив удар в правую щеку, не стал подставлять левую, а вернул скотине хорошую оплеуху — уже знаменитую теперь, уже воспеваемую сахаровскую пощечину. (И думаешь: "Господи, как хорошо-то он сделал! Как просто и правильно".)

Он не лечил человечество наложением рук и не призывал спасать душу возвратом к печному отоплению. У него была совесть, но он о ней не кричал. У него был разум, но он не опознавал в нем дьявольской помехи. У него был голос, но он не надсаживал его. Он слушал свою совесть, внимал своему разуму и говорил, что думал. Его слышали все, кто хотел слышать. "Вы верите в перемены в стране?" — спросили его давным-давно. — "Нет". — "Тогда зачем же вы все это говорите и делаете?" — "Да я вот иначе не могу".

Он изобрел бомбу, и они его наградили. Он стал говорить, чтобы наши дети не убивали чужих детей на преступной войне — они испугались и заперли его на замок. Чудовищ у нас не боятся. У нас боятся людей.

Он сидел взаперти, и его жизнь уходила как вода сквозь пальцы, а народ все приговаривал: "Вот Сахаров им покажет..." "Ну, Сахаров этого им не позволит..." и рассказывал сказки о том, как Сахаров будто бы пришел в "Березку" с советским рублем и все купил, что хотел, а кровопийцы ничего с ним не могли поделать... Так Иван-царевич добывал жар-птицу, и бубенчики даже не зазвенели.

Как много нужно времени, чтобы убить человека! А мы никуда и не торопимся.

Растет и ширится русский иконостас: для того и перетаптываем людей, чтобы святых больше стало. И работы впереди еще много. Она и сейчас идет.

А потом свечек накупим... Огоньки затеплятся... Преклоним колена... Сладко, виновато, поэтично так заплачем.

Пока не ударит простая мысль во всем ее ледящем ужасе: какое несчастье! Ведь человек умер. Умер навсегда.

Татьяна Толстая

ЕВРЕЙ
УМНОМУ
НЕ ПОМЕХА

Еврей
умному
не
помеха

ЕВРЕИ
УМНОМУ
НЕ ПОМЕХА

Еврей
умному
не помеха

еврей умному не помеха

ЕВРЕЙ
УМНОМУ
НЕ ПОМЕХА



ЕВРЕИ
УМНОМУ
НЕ ПОМЕХА

ЕВРЕЙ
УМНОМУ
НЕ
ПОМЕХА